

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Франц
Верфель



ПЕСНЬ
БЕРНАДЕТТЕ
♦
ЧЕРНАЯ МЕССА

« И Н О С Т Р А Н К А »

Иностранная литература. Большие книги

Франц Верфель

Песнь Бернадетте. Черная месса

«Азбука-Аттикус»

1919–1943

УДК 821.112.2(436)

ББК 84(4Авс)-44

Верфель Ф.

Песнь Бернадетте. Черная месса / Ф. Верфель — «Азбука-Аттикус», 1919–1943 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-23590-8

Франц Верфель – классик австрийской литературы XX века, пражский поэт, писатель и драматург, ученик Густава Майринка, соратник и друг Макса Брода, Райнера Марии Рильке, Роберта Музиля, Мартина Бубера – был звездой. Он считался лицом немецкоязычного экспрессионизма и вместе с Францем Кафкой и Максом Бродом входил в «пражский круг» – группу писателей и поэтов, которые перед началом Первой мировой изобретали невиданный голос новой литературы. Поэзией Верфеля восхищались мэтры; его пьесы ставили по всей Европе. Верфель обладал развитым чутьем к трагическому, страшному и смешному, почти журналистской наблюдательностью, романтическим, порой мистическим взглядом на мир и редким умением улавливать тончайшие движения человеческой души. Поздний роман Верфеля «Песнь Бернадетте», проникновенная и подкупающая своей репортерской точностью история французской святой, которой в Лурде являлась Дева Мария, стал бестселлером в США и был экранизирован в 1943 году; в новеллах и рассказах Верфеля высоковольтный накал соседствует с сочувственной иронией, а религиозный пафос – с глубокой печалью человека, который пережил одну войну, через полмира бежал от другой, никогда не отводил взгляда и яснее ясного понимал, в каком мире ему пришлось родиться. Некоторые новеллы и рассказы в этом сборнике, в том числе «Не убийца, а убитый виноват», «Смерть мещанина» и «Бледно-голубое женское письмо», публикуются на русском языке впервые.

УДК 821.112.2(436)

ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-389-23590-8

© Верфель Ф., 1919–1943
© Азбука-Аттикус, 1919–1943

Содержание

Мадонна с воронами	7
Песнь Бернадетте	8
Предисловие автора	9
Часть первая	10
Глава первая	10
Глава вторая	12
Глава третья	17
Глава четвертая	19
Глава пятая	25
Глава шестая	28
Глава седьмая	33
Глава восьмая	37
Глава девятая	40
Глава десятая	46
Часть вторая	51
Глава одиннадцатая	51
Глава двенадцатая	59
Глава тринадцатая	69
Глава четырнадцатая	79
Глава пятнадцатая	84
Глава шестнадцатая	94
Глава семнадцатая	99
Глава восемнадцатая	104
Глава девятнадцатая	109
Глава двадцатая	115
Часть третья	120
Глава двадцать первая	120
Глава двадцать вторая	124
Глава двадцать третья	130
Конец ознакомительного фрагмента.	135

Франц Верфель

Песнь Бернадетте. Черная месса

© А. Я. Кантор, перевод, 2005, 2023

© Е. Е. Михелевич (наследники), перевод, 1997

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

* * *

Мадонна с воронами

Ноябрь. Вознес калека-бук
Нагую скрюченную ногу.
Столб в скуке пялится вокруг.
Куст, побираясь, никнет к стогу,
И ветер на взбешенный луг
Бродягу-чучело кидает.
Плетется мать через дорогу.
Младенец мерзнет, голодает.

На камне отдыхает мать.
Ноябрь сереет тусклооко.
Ребенок хнычет, хочет спать.
Как никогда ей одиноко.
Уж лучше б снег сокрыл глубоко
Весь мир от края и до края.
Вдруг слышит крыльев ржавый рокот —
Летят вороны черной стаей.

В лицо Марии дробью бьет
Вороний грай. Птиц этих прорва
Ни крошки в клювах не несет,
И колосок в полях не сорван.
Мир сроду не был так обобран.
Вороны безнадежно бродят
По листьям, — ветром лес оборван, —
Марии пищи не находят.

Ноябрь не был ледяным,
А ночь — любовью так бедна,
Как темень, что крадется к ним.
Мрак из канав и ям, со дна
Ползет, а воронье все реет.
Марии страшно, но она
Дитя своим дыханьем греет.

1935

Песнь Бернадетте

Памяти моей падчерицы Манон

Предисловие автора

В конце июня 1940 года, после падения Франции, мы, спасаясь бегством, покинули наше тогдашнее местопребывание на юге страны и добрались до Лурда. Мы, то есть моя жена и я, еще надеялись, что успеем в последний момент перебраться через испанскую границу в Португалию. Но, поскольку все до единого консулы отказали нам в выдаче необходимых для этого виз, нам ничего не оставалось, как в ту же ночь, когда немецкие войска заняли пограничный город Андэ, с величайшими трудностями бежать вглубь Франции. Департаменты Пиренеев превратились в сплошной охваченный хаосом военный лагерь. Миллионы участников нового диковинного переселения народов блуждали по дорогам и до отказа заполняли города и деревни: французы, бельгийцы, голландцы, поляки, чехи, австрийцы, немцы, изгнанные из Германии, среди прочих – солдаты разбитых армий. Лишь с величайшим трудом можно было раздобыть скудную пищу и кое-как утолить голод. Кому удавалось заполучить хотя бы стул с мягкой обивкой, чтобы провести на нем ночь, становился объектом зависти. Бесконечными рядами стояли на дорогах автомобили беженцев, набитые домашней утварью, матрацами, кроватями, так как бензина не было вовсе. В По мы услышали от одной местной семьи, что единственное место, где при большом везении еще можно, вероятно, найти убежище, – это Лурд. Поскольку мы находились всего в тридцати километрах от этого знаменитого города, нам посоветовали рискнуть постучаться в его ворота. Мы последовали совету и наконец обрели кров.

Таким образом Провидение привело меня в Лурд, о чудесной истории которого я имел до той поры лишь самое поверхностное представление. Несколько недель мы скрывались в этом городе в Верхних Пиренеях.

Это было страшное время. Но и очень важное для меня, так как я впервые узнал необыкновенную историю девочки Бернадетты Субиру и познакомился с фактами чудесных лурдских исцелений. Однажды, находясь в крайней опасности, я дал обет. Если мне удастся выбраться из этой отчаянной ситуации и достигнуть спасительных берегов Америки – так поклялся я сам себе, – первая работа, за которую я возьмусь, будет песнь Бернадетте, которую я восславлю, насколько это будет в моих силах.

Эта книга есть исполнение моего обета. Эпическая песнь в нашу эпоху неизбежно должна была воплотиться в форме романа. «Песнь Бернадетте» – роман, но не вымысел. Ввиду характера описанных событий недоверчивый читатель с большим правом, чем при чтении других исторических сочинений, задаст вопрос: «Что здесь правда? Что придумано?»

Я отвечаю: все знаменательные события, которые описаны в этой книге, произошли в действительности. Поскольку нас отделяет от их начала не более восьмидесяти лет, они не теряются во мгле истории и их правдивость подтверждена достоверными свидетельствами как друзей и врагов, так и множества беспристрастных наблюдателей. Мой рассказ ничего к этой правде не прибавляет и ничего в ней не изменяет.

Правом на поэтическую вольность я пользовался только там, где художественное творение требовало некоторого хронологического сжатия и где необходимо было высечь из материала живую искру.

Я осмелился пропеть хвалебную песнь Бернадетте, хотя я не католик; более того, я еврей. Отвагу для этого мне дал гораздо более ранний и куда более неосознанный обет. Уже в ту пору, когда я сочинял свои первые стихи, я поклялся себе всегда и везде прославлять своими творениями божественную тайну и человеческую святость – вопреки нашему времени, которое с насмешкой, злобой и равнодушием отворачивается от этих величайших ценностей нашей жизни.

Лос-Анджелес, май 1941

Франц Верфель

Часть первая Вторичное пробуждение 11 февраля 1858 года

Глава первая В Кашо¹

Франсуа Субиру поднимается в темноте. Ровно шесть. Серебряных часов, свадебного подарка умной свояченицы Бернарды Кастеро, у него давно нет. Залоговая квитанция городского ломбарда на эти часы и на некоторые другие убогие ценности истекла уже прошлой осенью. Но Субиру знает, что сейчас ровно шесть, хотя колокола городской церкви Святого Петра еще не звонили к утренней мессе. У бедняков часы в голове. Они знают время, даже не глядя на циферблат и не слыша боя часов. Бедняки вечно боятся опоздать.

Субиру нащупывает деревянные башмаки, но не надевает их, а берет в руки, чтобы не производить шума. Он стоит босой на ледяном каменном полу и слушает дыхание своей спящей семьи, эту удивительную музыку, от которой у него сжимается сердце. Шесть человек спят в этом помещении. Он и его Луиза еще сохранили свою прекрасную свадебную кровать, свидетельницу их радостного начала. Старшие девочки, Бернадетта и Мария, делят на двоих неудобное жесткое ложе. А младших, Жана Мари и Жюстена, мать укладывает на соломенном тюфяке, который на день убирают.

Франсуа Субиру, все еще не трогаясь с места, бросает взгляд на камин. Это, собственно, даже не камин, просто примитивный очаг, который владелец этой «роскошной квартиры» Андре Сажу сам соорудил для своих жильцов. В очаге под золой еще тлеют и потрескивают несколько веток, слишком сырых и потому не сгоревших дотла. Время от времени вспыхивает слабый огонек. Но у Франсуа недостает энергии подойти и раздуть пламя. Он переводит взгляд на окна, за которыми начинает сереть. Его глубокое недовольство жизнью переходит в гневную горечь. С губ готово слететь проклятие. Субиру – странный человек. Больше, чем убогость комнаты, его раздражают два зарешеченных окна, одно побольше, другое поменьше, два мерзостно косящих глаза, глядящих на узкий, грязный двор кашо, где благоухают отбросы со всей округи. В конце концов, он ведь не какой-нибудь бродяга или старьевщик, он честный мельник, бывший владелец мельницы, в сущности, не хуже, чем господин де Лафит со своей лесопилкой.

Его мельница в Боли под Шато-Фор была просто замечательная. Мельница Эскобе в Арсизак-лез-Англи тоже была недурна. Даже старая мельница в Бандо, хоть она и не стяжала такую славу, как две первые, свое дело делала. Разве он, честный мельник Субиру, виноват в том, что ручей Лапака, на котором стояла мельница, с годами обмелел, что цены на зерно поднялись, а безработица все растет? В этом виноват Господь Бог, император, префект, черт знает кто, только не он, честный Франсуа Субиру, хоть он и позволяет себе иногда пропустить стаканчик или перекинуться в трактире в картишки. Но виноват Субиру в этом или не виноват, – что толку, жить приходится в кашо. Кашо на улице Пти-Фоссе – не жилой дом, это бывшее место заключения, городская тюрьма. Стены здесь сочатся сыростью. Щели затянуты плесенью. Все дерево коробится. Хлеб мгновенно покрывается белым налетом. Летом здесь жара, а зимой мороз. Поэтому несколько лет назад мэр Лакаде распорядился кашо закрыть, а преступников и бродяг перевести в караульное помещение внутри городских ворот Бау, исключительно для того, чтобы создать им более сносные условия. Предполагается, что для семьи

¹ Кашо – тюрьма, застенки (фр.). – Здесь и далее примеч. перев.

Субиру условия в кашо достаточно хороши. Как бы не так, думает бывший мельник. Бернадетта опять хрипела и хлюпала носом. И тут Субиру вдруг становится так себя жалко, что он принимает решение опять забраться в постель и еще поспать.

Но до такой трусливой сдачи позиций дело не доходит, так как просыпается и встает матушка Субиру. Это женщина лет тридцати пяти – тридцати шести, выглядящая на все пятьдесят. Она тотчас наклоняется над огнем, раздувает искры, ворошит дымящуюся солому, подкладывает щепки и несколько сухих веток и наконец вешает над вновь занявшимся пламенем медный чайник с водой. Субиру величественно и мрачно наблюдает за безмолвными хлопотами жены. Он тоже не произносит ни слова. День начинается, обычный день со своими тяготами и разочарованиями. Такой же, как был вчера, такой же, как будет завтра. Наконец-то зазвонили колокола городской церкви. От этого дня уже никуда не деться.

У Франсуа Субиру одно-единственное желание: влить в свой пустой желудок обжигающий глоток водки. Но бутылку забористой настойки «Чертова травка» матушка Субиру держит под замком. Высказать вслух свое желание он не решается, так как «Чертова травка» – вечный предмет споров между супругами. Франсуа еще немного медлит и наконец влезает в башмаки.

– Я уже выхожу, Луиза, – тихонько бормочет он.

– У тебя есть на примете что-нибудь определенное? – спрашивает жена.

– Да, конечно, кое-что есть, – глухо отвечает он.

Этот диалог повторяется ежедневно. Достоинство не позволяет Субиру признаться самому себе и открыть жене всю безрадостную правду их положения. Женщина с надеждой делает шаг от очага.

– Наверное, у Лафита? На лесопилке?

– Как бы не так, у Лафита! – насмехается он. – Кто говорит о Лафите? Но знаешь, я поговорю с Мезонгросом и с Казенавом, почтмейстером...

– Мезонгрос, Казенав... – Женщина разочарованно повторяет эти имена и возвращается к своим делам.

Франсуа нахлобучивает на голову берет. Его движения медленны и неуверенны. Внезапно жена вновь поворачивается к нему.

– Я вот о чем подумала, Субиру. Нам надо отослать из дому Бернадетту, – шепчет она.

– Что значит «отослать из дому»?

Субиру только что отодвинул тяжелый дверной засов. Ведь это же дверь тюрьмы. Каждый раз, когда он отодвигает этот засов, ему вспоминается самое скверное время в его жизни: когда он целый месяц сидел без вины в следственной тюрьме. Его рука бессильно падает. Он слышит шепот жены:

– Я думаю, ее можно отправить к тете Бернарде. Или, еще лучше, в деревню, в Бартрес. Я уверена, Лагесы снова захотят ее взять. Там у нее будет свежий воздух, козье молоко, хлеб с медом, к тому же она так любит деревню, а немножко работы ей не повредит...

Франсуа Субиру чувствует, как его вновь охватывает горечь. Он понимает резоны Луизы, но душа его протестует. У Франсуа слабость к громким словам и гордым жестам. Вероятно, среди предков Субиру были испанцы.

– Значит, я и вправду нищий! – в отчаянии восклицает он. – Мои дети голодают. Я вынужден отсылать их к чужим людям...

– Опомнись, Субиру, – прерывает его жена, так как он говорит слишком громко. Она смотрит на него, стоящего с опущенной головой, такого отчаявшегося, но полного достоинства и такого слабовольного. Затем поворачивается к шкафу, достает бутылку и наливает ему рюмку.

– Неплохая мысль, – говорит он смущенно, глотая обжигающее зелье. Душа его жаждет повторения. Но он пересиливает себя и уходит. На кровати, где спят сестры, лежит Бернадетта, старшая, с широко открытыми спокойными темными глазами.

Глава вторая

Массабель, дурное место

Улица Пти-Фоссе – одна из тех узких улочек, что со всех сторон обегает Лурд, старинную, расположенную на горе крепость. Улица поднимается извивами, пока не выводит на главную городскую площадь Маркадаль. Рассвело. Однако уже в нескольких шагах совсем ничего не видно. Небо низко нависает над головой. Густая пелена дождя и крупного снега – снежинки больно ударяют Субиру в лицо. Мир вокруг пуст и равнодушен. Лишь звуки горнов драгунского эскадрона из крепости и из Немурской казармы звонкими сигналами побудки прерывают безмолвие. Хотя здесь, внизу, в долине Гав-де-По, снег уже тает, ледяная стужа пробирает до костей. Это дыхание Пиренеев, притаившихся за облаками, пронизывающее послание тесно сгрудившихся ледяных вершин, от Пик-дю-Миди до зловещего демона Виньмаля, там, между Францией и Испанией.

Руки у Субиру покраснели и ооченели, небритые щеки мокры от дождя и снега, глаза болят. Однако он долго мнется в нерешительности перед булочной Мезонгроса, прежде чем войти внутрь. Он знает заранее: все напрасно. Правда, в прошлый карнавал Мезонгрос нанял его время от времени и использовал как разносчика. На Масленицу различные братства и корпорации устраивают свои праздники. К примеру, большой бал портновского цеха, почитающего святую Люцию. Бал обычно проходит в гостинице почтовой станции, и фирма Мезонгроса поставяет туда весь свой товар, начиная от хлеба и кончая кремовыми тортами и пышками. Именно тогда Субиру заработал солидную сумму в сто су, да еще принес детям полный кулек всяческих гостинцев.

Он собирается с духом. Входит в лавку. Добрый материнский запах свежего хлеба обволакивает его, одурманивает все его чувства. Толстый булочник, прикрыв живот белым фартуком, стоит посреди лавки и громко командует двумя подмастерьями, которые, обливаясь потом, таскают из печи черные противни с пышными булочками.

– Может, я вам сегодня в чем пособлю, месье Мезонгрос? – спрашивает Субиру, стараясь говорить как можно непринужденнее. При этом его рука привычно залезает в открытый мешок, и опытные пальцы, пальцы мельника, с наслаждением перетирают и пробуют на ощупь муку. Толстяк не удостоивает его даже взглядом. Голос у Мезонгроса сильный, как у всех зобастых.

– Что у нас сегодня за день, старина? – брезгливо сипит булочник.

– С вашего дозволения, четверг, месье...

– Сколько же дней осталось до «Пепельной» среды? – продолжает допытываться Мезонгрос тоном учителя, ставящего ученику ловушку.

– Еще шесть дней, месье, – нерешительно отвечает мельник.

– Именно так! – торжествует Мезонгрос, словно он выиграл пари. – Шесть дней, и конец этому дурацкому карнавалу. А корпорации так и так заказывают теперь не у меня, а у Руи. Старое доброе время накрылось окончательно. Нынче им подавай не булочника, а кондитера. И коли так обстоят дела во время карнавала, можно себе представить, что принесет нам Великий пост. Нынче же вышвырну за дверь одного из этих бездельников...

Франсуа Субиру мучительно размышляет. Не попросить ли ему сейчас у булочника хлеба? Но он не в силах выговорить просьбу. Не хватает храбрости. «Даже в попрошайки и то не гоюсь»... – проносится у него в голове. Словно недовольный покупатель, он поправляет берет и молча покидает лавку.

Чтобы попасть на почтовую станцию, ему нужно пересечь площадь. Казнав собственной персоной уже стоит посреди двора в окружении своих карет и упряжек. Бывший сержант тыловой части в По, он привык вставать спозаранку. Служил он, правда, давным-давно, еще

при жирном Луи-Филиппе. Но Казенав очень любит, когда к нему обращаются по-военному, да еще задним числом повышают его в чине. Во всякое время дня он носит высокие сапоги, начищенные до блеска, и кавалерийский хлыст, которым лихо хлещет по своим голенищам. На багровом лице с сизым отливом выделяются закрученные, густо нафабранные императорские усы. По одному этому можно догадаться, что Казенав – убежденный бонапартист, под каковым понятием он понимает некий партийный символ веры, в котором слова «Франция» и «слава» постоянно сочетаются со словом «прогресс». С тех пор как построили железнодорожную ветку от Тулузы через Тарб и По на Биарриц – причина в том, что император и особенно императрица Евгения регулярно посещают Биарриц, – дела у содержателя почтовой станции в Лурде пошли еще лучше прежнего. Любой путешественник или пациент, желающий посетить один из пиренейских курортов, непременно вынужден останавливаться у Казенава. В его руках сосредоточены все возможности, за большую или меньшую плату, с удобствами или без оных, доставить всех жаждущих отдыха в Аржелес, Котре, Гаварни, Люшон. Сейчас, конечно, до начала сезона еще далеко. Какими приманками его удлинить и как увеличить число приезжих – эти вопросы являются предметом постоянной дискуссии между Казенавом и честолюбивым лурдским мэром Адольфом Лакаде.

Субиру в свои юные годы две недели прослужил в армии, большего от него не требовалось. Сейчас он изображает, насколько это возможно, солдатскую выправку и строевым шагом подходит к Казенаву.

– Доброе утро, господин почтмейстер! Не найдется ли у вас для меня работенки?

Казенав важно надувает щеки и презрительно фыркает:

– А, это опять ты, Субиру? Когда уж, наконец, твои дела наладятся, черт побери? Каждый должен делать свою работу. Никому ничего на блюдечке не подносят...

– Господь немилостив ко мне, месье... Вот уж сколько лет, как счастье меня покинуло...

– Наше счастье, может, и зависит от Господа Бога, мой друг, но в нашем несчастье, это уж точно, всегда виноваты мы сами...

Свист хлыста громко подтверждает эту истину. Субиру опускает глаза.

– Мои дети уж точно в этом несчастье не виноваты.

Казенав отдает громкий приказ конюху Дутрелу. Субиру вытягивается перед ним, делая последнюю попытку.

– Может, все-таки что-нибудь найдется... господин капитан...

Казенав становится благосклоннее.

– Я всегда охотно помогу старому вояке... Но сегодня правда ничего нет...

Тело мельника на глазах тяжелеет. Он медленно поворачивается к воротам. Но тут Казенав его останавливает:

– погоди, любезный! В конце концов, двадцать су ты можешь заработать. Работа, конечно, не слишком чистая. Старшая милосердная сестра из больницы требует, чтобы вывезли за город и сожгли больничный мусор. И использованные бинты, послеоперационную корпию, белье с заразных больных и тому подобное. Если желаешь, запряги гнедого в маленькую тележку... Двадцать су!

– А вы не могли бы заплатить тридцать, господин капитан?

Казенав не удостоивает его ответом.

Субиру действует согласно указаниям. Запрягает дряхлого гнедого, худшего коня в конюшне, в небольшую тележку. И вот уже тележка трясется по камням и ухабам на пути в больницу, в которой трудятся сестры из монастыря Святой Жильдарды Неверской, в то время как другие монахини той же обители преподают в здешней школе для девочек. Больничный привратник уже выставил три ящика с отбросами. Они не тяжелы, но от них, как от чумы, разит нищетой всякой плоти. Мужчины грузят ящики на тележку.

– Будь поосторожнее, Субиру! – предостерегает привратник, крупный авторитет в области медицины. – В этом дерьме бездна всякой заразы. Отвези его подальше, к пещере Массабель, сожги, а золу выбрось в реку!

Дождь и снегопад прекратились. Тележка громыкает по скверной мостовой. Больница Неверских сестер находится у северного въезда в город, там, где пересекаются дороги из По и Тарба. Субиру приходится притормаживать на спуске по крутой улице Басс, чтобы выехать из Лурда через западные ворота Бау. Только переехав Старый мост, еще римской постройки, он может немного разжать онемевшую руку с вожжами. Он дает гнедому самостоятельно брести по дороге. Гав делает здесь крутой поворот. Древний горный поток возмущенно шумит на тысячу голосов, словно этот почти прямоугольный поворот причиняет ему невероятную муку. На пути разгневанной реки повсюду встают гигантские гранитные глыбы. Субиру не прислушивается к шуму Гава. «Почтмейстер не сказал мне „нет“, – размышляет бывший мельник, – он наверняка заплатит мне тридцать. На восемь су куплю четыре хлеба, но не у Мезонгроса, клянусь честью, не у Мезонгроса. Полфунта овечьего сыра, это сытно; вместе с хлебом это будет четырнадцать су. Прибавим два литра вина, уже двадцать четыре су. Еще бы куска два сахара, подсластить вино детям, сахар укрепляет силы... А всего лучше отдам тридцать су Луизе. Тогда мне не надо будет все это распределять. Пусть сама решает. Себе не возьму ни единого су. Клянусь всеми святыми...»

Несмотря на перспективу получить тридцать су – можно сказать, подарок Небес, – на душе у Субиру становится все мрачнее. Голод подступает к нему в виде тошноты, еще усиливающейся от мерзкого запаха поклажи. Дорога огибает владения господина де Лафита, известного лурдского богача, который, прежде чем счастье вознесло его на недостижимую высоту, начинал, как и Субиру, простым мельником. Его обширное имение расположено на так называемом острове Шале, образуемом изгибом Гава и ручьем Сави, который впадает в реку за скалой Массабель. Владения Лафита включают в себя господский дом в стиле короля Генриха IV, со множеством башенок и эркеров, парк, просторные лужайки и весьма внушительную лесопилку. В Лурде ее с почтением называют «фабрикой». Лесопилка построена с размахом, великолепная плотина собирает всю силу ленивого мельничного ручья и дает неожиданно много энергии. На этом ручье стоит и маленькая старая мельница. Сидя на козлах, Субиру уже отчетливо ее видит. Мельница принадлежит Антуану Николо и его матери. Субиру отчаянно завидует Николо, в сто раз больше, чем богачу Лафиту с его замком, фабрикой и роскошными каретами. Слишком большое богатство зависти не вызывает. Но с Николо он бы мог потягаться. Разве он хуже этого Николо? Он определенно лучше: старше, опытнее, это уж точно. Но непостижимые Небеса распорядились по-своему: тот, кто лучше, сидит на мели, а кто хуже, спокойно посиживает на пороге мельницы Сави и следит за равномерным вращением мельничного колеса. Субиру с такой силой хлестнул гнедого по костлявому крупу, что тот невольно подпрыгнул и перешел на рысь. Дорога теряется в бурых вересковых зарослях. Серебристые тополя господина де Лафита остались позади. Остров Шале становится все пустынее. На этой его стороне растут только дикий самшит и несколько кустов орешника. Полосы ольшаника, окаймляющие Гав справа, а ручей Сави – слева, бегут друг другу навстречу.

На левом берегу как реки, так и ручья вздымается скалистый склон. Это не слишком высокая гора с приземистым каменным гребнем, в просторечье ее называют Трущобной или Трухлявой. Дело в том, что в ее скалистой толще природа выдолбила несколько пещер, или, выражаясь полагороднее, гротов. Самый большой из них, грот Массабель, находится сейчас прямо перед глазами Субиру. Это углубление в известковом обрыве, шириной примерно в двадцать шагов и глубиной в двенадцать, формой оно напоминает жерло хлебопекарной печи. Пустая сырая дыра, засыпанная галькой и речным мусором – весной ее регулярно заливают воды Гава, – зрелище безотрадное. Среди галечника кое-где пробиваются чахлые побеги папоротника и мать-и-мачехи. На половине высоты грота, на скалистой стене чудом прицепился и

растет единственный тощий куст дикой розы, как бы обрамляющий отверстие в форме вытянутого овала или остроконечной готической арки, словно это вход в соседнюю каменную пещеру. Можно вообразить, что этот узкий овальный вход, или это готическое окно, высекла в незапамятные времена рука древнего строителя. Пещера Массабьель пользуется дурной славой у жителей Лурда и у крестьян окрестных деревень долины Батсюгер. Это определенно дурное место: старухи рассказывают немало ужасающих историй, якобы произошедших в этой пещере, и уверяют, что там «нечисто». Когда рыбаков, пастухов или тех, кто собирает хворост в общинном лесу Сайе, находящемся поблизости, застигает гроза и им приходится искать здесь убежища, они всякий раз осеняют себя крестом.

Франсуа Субиру – не старая баба, он мужчина, закаленный жизнью, и его не слишком пугают страшные истории о духах и привидениях. Он останавливает повозку на узком перевалке между Гавом и ручьем Сави. Слезает с козел и размышляет, как бы ему побыстрее управиться со своей работой. Может, имеет смысл перетащить повозку через мелкий ручей и сжечь больничные отбросы внутри грота, где огонь разгорится легче, чем на воздухе. Субиру медлит. Перетаскивая ветхую повозку по острым камням на дне ручья, ее легко повредить, а то и сломать.

Франсуа никогда ничего не решает быстро. Он стоит и чешет в затылке, покуда до его слуха не доносится глухое хрюканье и заглушающие его грубые возгласы. Это свинопас Лерис со своим стадом. Свинопас выбегает на противоположный берег ручья, а его черные свиньи блаженно возятся в небольшом болотце между общинным лесом и гротом Массабьель. Лерис – тоже человек, немилосердно побитый жизнью. Субиру в какой-то мере презирает его и смотрит на него свысока. Во-первых, Лерис – кретин; во-вторых, у него так называемая волчья пасть и он лает и воет, когда пытается говорить; в-третьих, он пасет свиней, что прошедший обучение мельник считает едва ли не самым презренным делом на свете. Лерис – низкорослый приземистый детина с непомерно большой рыжей головой и раздутым зобом. С головы до ног он закутан в овечьи шкуры – это делает его похожим на туго перевязанный пакет. (Директор школы Кларан считает, что древний житель Пиренеев внешне был в точности подобен Лерису.) Лерис подает взволнованные знаки Субиру. Свинопас всегда взволнован, как все горемыки, которые из-за расстройства речи лишь с трудом добиваются понимания. Мельник жестом подзывает его к себе. Лерис быстрыми шагами переходит ручей, как бы не замечая под ногами воды. Мохнатая собака бежит за ним, не менее взволнованная, чем ее хозяин.

– Эй, Лерис! – окликает его Субиру. – Можешь мне помочь?

Лерис – добродушное существо, предел его честолюбия – всюду, где только возможно, доказывать свою полезность. Мощными руками он снимает с тележки один ящик за другим и, по приказу Субиру, несет их на самый узкий конец перевалки, где вываливает содержимое на землю. Образуется зловонная пирамида из окровавленной ваты, гнойных бинтов и грязных тряпок. Мельник, привыкший к чистой работе и подверженный тошноте, зажигает трубку, чтобы запахом табака заглушить зловоние. Ему кажется, что он различает среди отбросов невероятные вещи, например отрезанный человеческий палец. Он быстро сует Лерису коробок с серными спичками, чтобы тот поскорее поджег кучу. Тем временем страшно похолодало. Не чувствуется ни малейшего дуновения ветра. Зловонный мусор воспламеняется мгновенно. Пастух и собака радостно пляшут вокруг диковинного жертвенного костра, дым от которого, благосклонно принимаемый Небом, поднимается вертикально вверх.

Субиру между тем присел на камень и молча наблюдает за происходящим. Вскоре добродушный свинопас подсаживается к нему. Лерис достает из своей сумки ржаной хлеб и кусок сала. Отрезает от того и другого равные порции. Издавая нечленораздельные звуки, сует Субиру его долю. Голодный мельник жадно вонзает зубы в пряную еду, первую за сегодняшний день. Но он быстро приходит в чувство и начинает жевать медленно и задумчиво, как и полагается почтенному мельнику, сознающему свое неизмеримое превосходство над деревен-

ским кретином и свинопасом. Не отводя глаз от огня, молниеносно пожирающего свою пищу, мельник бормочет:

– Была бы здесь еще и лопата...

Услышав эти слова, услужливый Лерис срывается с места, мчится через ручей и приносит из грота две лопаты. Их, видно, оставили там рабочие, строившие дамбу для защиты от весенних разливов Гава. Тем временем огонь превратил мерзостные остатки страданий плоти в кучку золы. Мужчинам не составляет особого труда поднять на лопаты золу и обугленные останки невесты чего и сбросить все в Гав, который с присущим ему холерическим темпераментом повлечет этот дар в реку Адур и дальше, в океан.

Еще нет и одиннадцати, когда Франсуа Субиру, уже не с таким пустым желудком и не с такой безнадежностью в душе, предстает перед Казенавом.

После длительной торговли и многократного обращения «господин капитан» он наконец держит в руке двадцать пять су. На углу улицы Пти-Фоссе он еще полон решимости отдать весь заработок Луизе. Но уже перед кабачком папаши Бабу его начинает одолевает искуситель, которому, учитывая все тяготы сегодняшнего утра, он способен оказать лишь слабое сопротивление. Двадцать су, кругленькая серебряная монетка, – вот уговорная плата за его работу. Пять медных монеток покрупнее составляют выторгованную надбавку. Где сказано, что честный отец семейства, который, как никто, настрадался в эту холодину, трудясь для своей семьи, не может истратить пять су, эти «бешеные деньги», на себя самого? За стаканчик своего крепчайшего самогона «Чертова травка» папаша Бабу больше двух су и не возьмет. Мельник находит, что это сходная цена. У папаши Бабу он задерживается не дольше, чем требуется, чтобы осушить один-единственный стаканчик.

В кашу ему в нос ударяют приятные испарения, вырывающиеся из кастрюли. Хвала Богу, это не «миллок», их обычная похлебка, и не кукурузная каша! Мамаша Субиру готовит луковый суп. «Этих женщин не так-то легко одолеть, – думает он. – Всегда они как-то выкручиваются. Кто знает, возможно, им помогают четки, которые они постоянно таскают в кармане передника». Субиру сначала долго слоняется по комнате и занимается разными пустяками, прежде чем вытаскивает и отдает жене серебряную монету, небрежно, будто это всего лишь жалкий аванс, за которым завтра должны последовать луидоры.

– Ты молодчина, Субиру, – говорит она с признательностью, за которой скрывается сострадание, и Субиру тоже убежден, что он именно таков, что сегодня он и впрямь молодец. Затем жена ставит перед ним тарелку лукового супа. Он, как всегда, хлебает его серьезно и задумчиво.

– Где дети? – спрашивает он, закончив еду.

– Девочки скоро придут из школы, а Жюстен и Жан Мари играют на улице...

– Малышам не следует играть на улице, – неодобрительно замечает бывший мельник с чувством сословной гордости. Поскольку Луиза не склонна сейчас затевать спор, Субиру поднимается из-за стола и громко зевает. – Я здорово промерз сегодня, пожалуй, мне лучше прилечь, – говорит он, сладко потягиваясь. – Как-никак заслужил...

Луиза Субиру откидывает одеяло. Франсуа сбрасывает башмаки, ныряет в постель и натягивает одеяло до подбородка. Даже если ты беден как церковная крыса и судьба к тебе чертовски несправедлива, жизнь дарует порой свои маленькие радости, особенно после исполненного долга. Субиру ощущает приятное тепло, сытость и все большее довольство собой, отчего очень скоро погрузается в сон.

Глава третья

Бернадетта ничего не знает о святой троице

За учительским столом сидит сестра Мария Тереза Возу, одна из тех монахинь Неверской обители, которые трудятся в больнице и в примыкающей к ней лурдской школе для девочек. Сестра Мария Тереза достаточно молода, и ее вполне можно было бы назвать красивой, если бы только не слишком тонкие губы и не слишком глубоко посаженные блекло-голубые глаза. Бледность ее лица под белоснежными крыльями чепца переходит чуть ли не в болезненную желтизну. Руки с длинными пальцами выдают благородное происхождение. Но если взглянуть пристальнее, можно заметить, как покраснели и набухли эти благородные руки. Судя по беспощадным признакам строгости жизни и умерщвления плоти, сестра Возу несомненно являет собой образ средневековой святой. Преподаватель катехизиса аббат Помьян, тонкий насмешник, говорит о ней так: «Добрая сестра Мария Тереза скорее Христова воительница, нежели Христова невеста». Он знает классную наставницу Возу довольно хорошо, так как она придана ему в помощь и осуществляет под его руководством религиозное обучение девочек. (Забота о людских душах постоянно вынуждает аббата Помьяна посещать окрестные деревни и ярмарки, так что нередко его не бывает в Лурде целыми днями. Он сам называет себя по этой причине «коммивояжером Господа». Его начальник, декан Перамаль, терпеть не может подобных острот.) Итак, под надзором Помьяна Мария Тереза Возу готовит девочек к первому причастию, что должно состояться весной.

Перед учительницей стоит девочка. Она довольно мала для своих лет. Ее круглое лицо кажется совершенно детским, тогда как худенькое тело уже обнаруживает все признаки раннего созревания, свойственного южанкам. На девочке простое затрапезное платьишко, какое носят маленькие крестьянки. На ногах деревянные башмаки. Впрочем, все дети, и не только дети, обуты здесь в такие башмаки, за исключением немногих, принадлежащих к так называемым высшим слоям общества. Карие глаза девочки спокойно встречают взгляд наставницы. Ее собственный взгляд свободен, отрешен, почти апатичен. Что-то в этом взгляде выводит сестру Марию Терезу из равновесия.

– Ты действительно ничего не знаешь о Святой Троице, дитя мое?

Девочка, все еще не отводя глаз от учительницы, отвечает ей звонким голосом, естественно и непринужденно:

– Нет, мадемуазель, я ничего об этом не знаю...

– И ты никогда ничего об этом не слышала?

Девочка долго думает, прежде чем ответить:

– Возможно, я что-то слышала...

Монахиня резко захлопывает книгу. Ее лицо выражает неподдельное страдание.

– Не знаю, дитя мое, счесть ли тебя дерзкой, равнодушной или просто глупой...

Не опуская головы, Бернадетта поясняет таким тоном, словно речь идет вовсе не о ней:

– Я глупа, мадемуазель... В Бартресе говорили, что моя голова не для ученья...

– Значит, все именно так, как я и опасалась, – вздыхает учительница. – Ты дерзка, Бернадетта Субиру...

Возу нервно прохаживается перед рядами парт. Памятуя о своем долге духовного лица, она обязана подавить в себе гнев и недовольство. В это время восемьдесят или девяносто учениц начинают беспокойно ерзать на скамьях и все громче переговариваться.

– Тише! – командует учительница. – О Господи, кто меня здесь окружает! Вы язычники, вы хуже и невежественнее язычников...

Одна из девочек поднимает руку.

– Ты ведь тоже, кажется, Субиру? – спрашивает монахиня, которая всего три недели назад получила этот класс и еще не все лица связываются у нее с именами.

– Конечно, мадемуазель. Я Мария Субиру. Я только хотела сказать, что Бернадетта... что моя сестра все время болеет...

– Тебя об этом никто не спрашивает, Мария Субиру, – резко выговаривает ей учительница, которой это сестринское заступничество кажется чуть ли не бунтом. Нет, одной христианской кротостью эту орду девчонок из простонародья не обуздаешь. Но Возу умеет поддерживать свой авторитет.

– Так твоя сестра больна? – спрашивает она. – И что у нее за болезнь?

– Болезнь называется «атма» или как-то иначе...

– Ты, верно, хочешь сказать «астма»...

– Точно, мадемуазель, астма! Доктор Дозу так ее и назвал. Бернадетте трудно дышать, а часто...

Мария пытается изобразить, как Бернадетта задыхается. Это вызывает веселый смех всего класса. Учительница жестом прерывает чрезмерное веселье.

– Астма еще никому не была помехой в учебе и благочестии. – Сестра Мария Тереза хмурит брови и строго оглядывает класс. – Кто из вас может ответить на мой вопрос?

Девочка с первой парты быстро встает. У нее буйно вьющиеся черные локоны, горящие честолюбием глаза и поджатые губы.

– Ну, Жанна Абади! – поощрительно кивает учительница. Это имя она произносит чаще всех других. Жанна Абади не упускает случая блеснуть.

– Святая Троица – это просто Господь Бог...

Суровое лицо учительницы изображает улыбку.

– Нет, моя дорогая, все не так просто... Но ты имеешь хоть некоторое понятие...

В этот момент все ученицы встают, почтительно приветствуя вошедшего в класс аббата Помьяна. Молодой священник, один из трех помощников декана Перамалья, полностью оправдывает свое имя: «Помьян» – по-местному «яблочко». Щеки у кюре тугие и румяные, глаза веселые и плутовские.

– Небольшое судебное разбирательство, сестра? – спрашивает аббат, глядя на бедную грешницу, все еще стоящую перед классом.

– К сожалению, должна вам пожаловаться на Бернадетту Субиру, – проясняет ситуацию учительница. – Она не только ничего не знает, но и дерзит.

Бернадетта делает произвольное движение головой, как бы желая что-то уточнить. Волосатая рука аббата Помьяна берет ее за подбородок и поворачивает лицо к свету.

– Сколько тебе лет, Бернадетта?

– Сравнялось четырнадцать, – звучит звонкий голос Бернадетты.

– Она самая старшая в классе и самая невежественная, – шепчет сестра Возу капеллану. Он не обращает на это внимания и вновь поворачивается к Бернадетте.

– Ты можешь мне сказать, малышка, в каком году и в какой день ты родилась?

– О да, это я могу сказать, господин аббат. Я родилась седьмого января тысяча восемьсот сорок четвертого года...

– Вот видишь, Бернадетта. Ты вовсе не так глупа и можешь отвечать вполне разумно. Знаешь ли ты, на какую октаву² приходится твой день рождения, или, чтобы было понятнее, какой праздник мы празднуем накануне дня твоего рождения? Помнишь? Ведь это было не так давно...

Бернадетта смотрит на капеллана все тем же взглядом, в котором странно сочетаются твердость и апатия и который так разгневал перед тем сестру Марию Терезу.

² Октава – в католической церкви праздник, продолжающийся восемь дней (вернее, последний день такого праздника).

– Нет, этого я не помню, – отвечает она, не опуская глаз.

– Ничего страшного, – улыбается капеллан. – Тогда я сам скажу это тебе и всем остальным. Шестого января мы празднуем Богоявление. В этот день три царя из восточных стран, они же три волхва, пришли в вифлеемский хлев, где родился младенец Христос, и принесли ему чудесные дары: золото, пурпур и благовония. Ты видела в церкви ясли, Бернадетта? Там есть и три царя.

Лицо Бернадетты Субиру оживает. Щеки покрываются легким румянцем.

– Да, ясли я видела, – восторженно кивает она. – И все эти красивые фигурки, совсем как живые: Святое семейство, и вола, и осла, и трех царей с маленькими коронами и золотыми жезлами, конечно, я их всех видела... – Большие глаза девочки становятся золотистыми, их преображает мощь образов, которые она в себе вызывает.

– Таким образом, мы кое-что знаем о трех царях, или, иначе, о трех святых волхвах... Запомни это, Бернадетта, и будь внимательнее, ты ведь уже не маленькая. – Аббат Помьян хитро подмигивает учительнице, он преподавал ей урок истинной педагогики. Затем обращается к классу: – Седьмое января, дети, важная дата в истории Франции. В этот день родился некто спасший отечество от величайшего позора. Это случилось четыреста сорок шесть лет тому назад. Подумайте, прежде чем ответить, кто это.

В ту же секунду звучит чей-то торжествующий голос:

– Император Наполеон Бонапарт!

Сестра Мария Тереза прижимает руки к животу, как будто ее пронзает внезапная колика. Несколько девочек не упускают случая разразиться диким хохотом. Аббат сохраняет шутиливую серьезность.

– Нет, мои дорогие, император Наполеон Бонапарт родился позже, много позже...

Помьян идет к доске и пишет большими красивыми буквами, как в букваре, поскольку многие девочки еще не вполне овладели азами чтения и письма:

«Жанна д'Арк, Орлеанская дева, родилась 7 января 1412 года в деревне Домреми».

Когда хор школьников начинает глухо и разноголосно расшифровывать эту надпись, наконец-то звенит звонок. Одиннадцать часов. Бернадетта Субиру все еще стоит перед рядами парт, одна в пустом пространстве, где нужно отвечать. Мария Тереза Вазу выходит из-за стола и становится прямо перед ней. Ее гордое лицо в бледном свете февральского дня выражает истинное страдание.

– Из-за тебя, милая Субиру, мы сегодня ни на шаг не продвинулись в катехизисе, – говорит она тихо, так тихо, что ее может слышать только Бернадетта. – Подумай сама, действительно ли ты этого стоишь...

Глава четвертая Кафе «Прогресс»

На площади Маркадаль, где в основном и разыгрывается общественная жизнь Лурда, между двумя большими ресторанами приютилось кафе «Французское». Оно находится неподалеку от остановки почтовых карет, от того места, где большой мир вторгается в малый мир пиренейского городка. Только в прошлом году владелец кафе месье Дюран, не посчитавшись ни с какими расходами, решительно обновил свое заведение. Красный плюш, мраморные столики, зеркала, огромная кафельная печь, увенчанная зубцами наподобие римской сторожевой башни. Благодаря этой крепости-печи кафе «Французское» стало самым теплым помещением в городе Лурде. Господин Дюран, однако, не ограничился заботой о тепле, он позаботился и о свете. Он завел у себя современное освещение, последний крик моды. Большие керосиновые лампы под зелеными абажурами, укрепленные на металлических штангах в виде коро-мысел, свисают с потолка, изливая свой уютный свет на мраморные столики. Владелец кафе

убежден, что даже в жадном до новинок Париже, где гоняются за всякими усовершенствованиями, немногие заведения могут похвастаться столь великолепным освещением. В отличие от большинства своих земляков Дюран не склонен к излишней экономии. Если необходимо, он зажигает свет и днем, как, например, сегодня, когда за окнами все застилает сплошная зимняя хмарь. Он заходит и дальше в своей щедрости. Не ограничиваясь светом физическим, стремится распространять свет духовный. Для этой цели на гардеробных крючках висит в специальных рамках множество больших парижских газет, подписная цена которых не отпугнула прогрессивного хозяина кафе. Здесь имеется «Сьекль», «Эр имперьяль», «Журналь де деба», «Ревю де дё Монд», «Пти републик». Да, даже «Пти републик», этот радикальный листок, направленный против императора и правительства, это в высшей степени вольнодумное издание, за которым, как всем известно, стоит сам сатана от социализма Луи Блан. То, что здесь всегда можно найти и «Лаведан», еженедельную лурдскую газету, разумеется само собой. Редакция заключила с господином Дюраном взаимовыгодное соглашение, согласно которому каждый четверг на столиках кафе должно лежать не менее четырех свежих номеров «Лаведана». Ввиду этих неустанных забот Дюрана о духовных потребностях своих гостей вряд ли кого удивит, что его престижное заведение часто называют кафе «Прогресс».

Приток посетителей достигает своего максимума дважды в день. В одиннадцать часов, в час аперитива, и в четыре часа пополудни, когда закрываются канцелярии суда. Чиновники этого ведомства – завсегдатаи кафе. Французское государство, размещая свои инстанции, действует весьма своеобразно. Так, префектура департамента находится в Тарбе. Казалось бы, в соответствии с этим супрефектура должна находиться во втором по значению городе департамента, то есть в Лурде. Но нет, для ее размещения выбран крошечный городишко Аржелес, где супрефектура, а также приданное ей жандармское управление как бы отъединены от бюрократического круговорота. Причина разъединения столь важных инстанций непостижима. С другой стороны, Лурд оказывается несправедливо обойденным. Посему Лурд делают местопребыванием высшей судебной инстанции департамента, каковая, по логике вещей, должна была бы находиться в Тарбе. Таким образом, господин Дюран имеет честь принимать у себя господина Пуга, председателя высшего земельного суда, а также имперского прокурора Дютура и некоторое число прочих господ: адвокатов, административных чиновников, секретарей суда.

Покуда в зале еще не появился ни один из этих господ. За круглым столиком в углу одиноко сидит месть Гиацинт де Лафит. Это вовсе не упоминавшийся нами известный богач де Лафит, но всего лишь неимущий кузен этого великого человека. Господину Гиацинту из милости отведена комнатка в одной из башен замка, проживать в которой он может в любое время. Семья богача де Лафита часто путешествует. Тем охотнее последнее время использует свое право на убежище господин Гиацинт. Лурд – прекрасное место для человека, страдающего безденежьем, а Париж, который не может отличить подлинного от поддельного, пусть катится к черту! Кто в состоянии работать в Париже? Одни журналисты, проститутки и все те, кто готов прозакладывать собственную душу.

С первого взгляда заметно, что Гиацинт де Лафит – человек незаурядный. Даже одевается он по-особому: он подчеркнута старомоден. Пышно завязанный галстук вызывает в памяти Альфреда де Мюссе. Зачесанные назад волосы, открывающие высокий лоб, напоминают о Викторе Гюго. Хотя Лафиту еще далеко до сорока, в его шевелюре уже поблескивает благородная седина. Когда-то он был почти дружен с Виктором Гюго: этот гигант однажды, много лет назад, удостоил де Лафита благосклонным замечанием. Дело в том, что де Лафит был на его стороне в битве за драму «Эрнани» в «Комеди Франсез»³. Он принадлежал к тем избранным, что носили

³ «Эрнани» («Hernani, ou l'Honneur castillan», 1829) – романтическая драма Виктора Гюго, поставленная на сцене в феврале 1830 года, после упорных литературных боев между романтиками и классиками, окончившихся победой романтического театра.

красные жилеты. Помимо Гюго, давно уже находившегося в изгнании, он был знаком в те годы со стариком Ламартином, молодым Теофилом Готье и многими другими, и он знать ничего не хочет о сегодняшнем пустом и надменном обществе.

Лурд кажется ему подходящим местом, чтобы прильнуть к груди матери-природы и вдалеке от уничижительных оценок парижских салонов и кафе посвятить себя созданию значительного, широкомасштабного творения. Гиацинт де Лафит вынашивает отчаянно смелый план: навсегда и бесповоротно примирить классицизм и романтическую школу, к которой он относит и себя. Беспредельная фантазия и строгая форма – вот его идеал. Он работает над трагедией «Основание Тарба». Сюжет ему подсказал его друг, директор лицея Кларан, усердный собиратель и исследователь местных легенд, ведущий в городской газете колонку «Лорсданские древности». Героиней вышеназванного произведения должна быть эфиопская царица по имени Тарбис, которая вспылала любовью к одному из библейских героев, но была им отвергнута и бежала в далекий пиренейский край, чтобы развеять свою тоску. Она явилась сюда, порвав с мрачными божествами Востока, и впервые соприкоснулась с ясными, человеческими богами Запада, коим удалось волшебным образом освободить ее душу от мук. Она становится их жрицей и строит Тарб.

Как явствует из рассказанного, сюжет неплохой, к тому же изобилующий символическими намеками. Лафит пишет чистым александрийским стихом, что является дерзким вызовом шекспировскому стилю Виктора Гюго. Как последователь Расина поэт полон также непреклонной решимости придерживаться единства времени и места. Достойно сожаления лишь то, что в результате более чем двухлетней работы он все еще не продвинулся далее сорокового двустихия. Зато в сегодняшнем номере «Лаведана» напечатана его статья, где он излагает свои творческие принципы касательно литературного стиля. Редакция «Лаведана» долго противилась этой публикации, выдвигая в качестве аргумента: «Такие высокие материи не для наших невежд».

«Лаведан» лежит на столе перед Лафитом. Сегодня этот прогрессивный еженедельник доставили вовремя, что случается не так уж часто. Обычно он выходит на два-три дня позже обозначенного срока. Аббат Помьян привык говорить по этому поводу: «Что за странный прогресс, который всегда опаздывает!»

Другу-противнику Виктора Гюго не терпится, он жаждет, чтобы его статью поскорее прочли. Особенно ему важно, чтобы в нее углубился филолог и гуманист Кларан. В статье содержатся три положения о Расине, которые следовало бы хорошенько посмаковать. Но появившийся Кларан так захвачен собственной *idée fixe*⁴, что не уделяет новому номеру «Лаведана» и его автору Лафиту никакого внимания. Ученый притащил с собой большой, величиной с тарелку, плоский камень и осторожно извлекает его из куска ткани, в которую тот был завернут. Он кладет его на стол перед де Лафитом и настойчиво сует ему в руки лупу.

– Посмотрите, мой друг, какую чудесную я сделал находку. Угадайте где! Ни за что не угадаете. На Трущобной горе, в одном из гротов: этот камень лежал посреди осыпи и как будто меня позвал. Рассмотрите его хорошенько! Через лупу! Вы узнаете герб города Лурда, не правда ли? Но по стилю он существенно отличается от сегодняшнего. Могу дать голову на отсечение, что это начало шестнадцатого века. Над городскими башнями парит орел, несущий в клюве рыбу. Но сами башни иные, чем на теперешнем гербе, они носят явные признаки мавританской архитектуры. Мирьямбель – мне незачем вам напоминать, что таково средневековое имя нашего города. Мирьям – арабская форма имени Мария. Форель, которую орел несет в клюве, – не что иное, как ИХТИС⁵, знак Христа, внесенный в герб города, недавно завое-

⁴ Здесь: навязчивой мыслью (фр.).

⁵ ИХТИС – рыба (греч.); записанная латинскими буквами древняя греческая монограмма слов: Иисус Христос Сын Божий Спаситель.

ванного во славу Марии. Вы видите, как во всем крае царит «марианский» принцип, то есть первенствует неразрывный культ Марии и ее сына...

С досадой Лафит прерывает его из одного лишь чувства противоречия:

– Я совершенно с вами не согласен, мой друг. По моему убеждению, происхождение всех этих геральдических животных относится к временам дохристианским.

– Но вы же не станете отрицать, мой друг, – возражает ему старый Кларан, – что даже в названии реки Гава присутствует «Аве»?

Поэт это отрицает. Как все поэтические души, он неожиданно вступает на путь импровизации и говорит вещи, изумляющие его самого, чтобы только достичь цели, которая его занимает:

– Как филолог, мой друг, вы знаете лучше меня, что в некоторых языках буква «гамма» переходит в «йоту», и наоборот. Почему Гав не может быть связан с библейским «Ягве», имя которого моя царица Тарбис после несчастной страсти к еврею могла занести в этот дикий край? Если вы прочтете мою пьесу или хотя бы мою сегодняшнюю статью...

Он не продолжает. Беседа о высоких материях поневоле прерывается. Бьет одиннадцать. Наступил час аперитива. Сразу же один за другим появляются все, кто только может причислить себя к образованному и привилегированному обществу Лурда. Конечно, со всеми этими адвокатами, офицерами, чиновниками, врачами разговоры, подобные только что состоявшемуся, невозможны. Их помыслы далеки от столь высокоученых и лишенных практической пользы тем. Первым в кафе входит городской врач Дозу, человек, весьма обремененный своими многочисленными обязанностями. Он всегда на бегу, всегда на пути от одного срочно в нем нуждающегося больного к другому. Но и он не склонен лишать себя удовольствия распить в этот час в кругу уважаемых господ рюмочку портвейна или мальвазии. В Лурде практикуют и другие врачи: доктор Перю, доктор Верже, доктор Лакрамп, доктор Баланси. Но доктор Дозу твердо убежден, что весь груз здешней медицинской науки покоится лишь на его сутулых плечах. В его душе еще не угасла страстная пылливость исследователя. Поэтому, наряду со своей напряженной лечебной нагрузкой, он занят тем, что ведет постоянную переписку с видными медиками, дабы не закоснеть в провинции и не отстать от передовых рубежей науки. Как, должно быть, пугается великий Шарко или знаменитый Вуазен, главный врач парижской «Сальпетриер»⁶, обнаруживая в своей почте пространное послание любознательного лурдского врача с перечнем вопросов, отвечать на которые потребуется не меньше часа.

– Я всего на три минутки, господа! – восклицает Дозу.

Это его обычное приветствие. Он присаживается на краешек кресла, не сняв ни плаща, ни шляпы, что, учитывая раскаленную печь Дюрана и правила профилактики, является грубой ошибкой. Тут он замечает «Лаведан», хватает его и, сдвинув очки на лоб, начинает спешно пробегать глазами. Как ни пристально наблюдает за ним Гиацинт де Лафит, мина доктора не сулит ему никакой надежды: тот, видимо, не заметил его статьи. Между тем к столу подходит Жан Батист Эстрад, налоговый инспектор города Лурда. Этот человек с темной острой бородкой и меланхолическим взглядом обладает, по мнению писателя, рядом достоинств. Он мало говорит, но умеет хорошо слушать. Познания и духовные истины, как кажется, не вполне ему чужды. Врач равнодушно сует ему в руки газету. Теперь ее рассеянно листает Эстрад. Но как раз тогда, когда он добирается до страницы, где красуется статья Лафита, он вынужден отложить «Лаведан», так как все присутствующие встают. Не каждый день дюрановское застолье удостаивает своим посещением господин мэр собственной персоной.

Внушительная фигура месье Лакаде показывается в дверях и медленно, раскланиваясь во все стороны, продвигается вперед. По облику мэра видно, что на протяжении большей части своей жизни он недаром звался не иначе, как «красавчик Лакаде». Теперь, глядя на его объ-

⁶ «Сальпетриер» – парижская больница и приют для престарелых.

емистый живот, отвислые щеки и мешки под глазами, вряд ли кто-нибудь станет говорить о его красоте, скорее уж о достоинстве и осанке, о гибкой, тренированной грации, нередко свойственной таким одаренным в области политики толстякам. Хотя господин Лакаде – выходец из бедной крестьянской семьи провинции Бигорр, он блестяще вжился в свою общественную роль. Когда его впервые избрали мэром Лурда, а это случилось примерно в 1848 году, злые языки утверждали, что он завзятый якобинец. Сегодня он верный, испытанный сторонник императорского режима. Но кто не меняет своих взглядов с течением времени? Лакаде постоянно облачен в торжественный черный сюртук, словно в любой момент готов приступить к исполнению общественных обязанностей. Свои слова он сопровождает широкими, почти величественными жестами. Голос его полон снисходительности. Он всегда говорит так, будто обращается к многочисленной аудитории. Два вошедших с ним господина, представляющих в Лурде власть государства, осенены аурой его покровительства. Один из этих господ – прокурор Виталь Дютур, который еще довольно молод, хотя уже обладает сверкающей лысиной; прокурор честолюбив, но на лице его постоянно написана смертельная скука. Другой представитель власти – комиссар полиции Жакоме – не так давно перешагнул сорокалетний рубеж, у него тяжелая рука и тот недоброжелательный взгляд, что отличает людей, постоянно имеющих дело с преступным миром.

Мэр пожимает руки налево и направо с присущей ему жизнерадостной и игривой любезностью. Владелец кафе Дюран опрометью мчится ему навстречу, принимает заказ и сразу же собственноручно приносит поднос, уставленный напитками.

– Ах, господа! – горестно восклицает владелец кафе. – Какая жалость, что парижские газеты сегодня не пришли! Что за наказание наша почта!

– Ох уж эти парижские газеты! – насмешливо восклицает кто-то из посетителей. – В феврале политика столь же туманна, как и погода...

Коротышка Дюран тем не менее спешит заверить:

– Но господа могут, если пожелают, просмотреть вчерашний номер «Меморьяль де Пирене» или тарбский «Интерес публик»... кстати, вышел и «Лаведан», точно в срок, он лежит на столах... – Дюран чуть понижает голос, наклоняясь к уху Лакаде. – Сегодня там интересная статейка, господин мэр, отличная, тонкая работа...

Лафит напрягает слух. Владелец кафе с наслаждением округляет губы:

– Эта статейка не порадует здешних господ, облаченных в сутаны... Еще стаканчик мальвазии, господин мэр?

Лакаде поднимает провидческий взгляд и повышает голос:

– Могу вскоре обещать вам и всем нам хорошую почту, мой дорогой Дюран. Нашему бедному Лурду, господа, предстоят большие перемены. Мне постоянно сообщают, что в высокой инстанции рассматривается решение о проведении к нам железнодорожной ветки... Надеюсь, что все присутствующие, подобно мне, патриоты нашего города. Не так ли, господин прокурор?

Ответ Виталья Дютура звучит вежливо, но сухо:

– Мы, судейские, подобны бродягам. Сегодня мы здесь, а завтра нас переводят куда-нибудь еще. Наш местный патриотизм не может быть поэтому столь горяч...

– Все равно, железная дорога будет! – пророчествует Лакаде.

Глаза Дюрана загораются. Ему приходит на ум одна из тех замечательных фраз, что он постоянно вычитывает в газетах. Поскольку он тратит на газеты так много денег, он считает себя обязанным читать их все от корки до корки. Тяжкий труд, особенно для непривычных глаз, но полезный для усвоения слов и оборотов, свойственных образованной публике.

– Средства сообщения и образование – вот два столпа, на которых зиждется развитие человечества! – провозглашает Дюран.

– Браво, Дюран! – одобрительно кивает Лакаде.

Особенно это верно относительно средств сообщения. Гляди-ка, этот трактирщик под-сказал безупречную фразу, которая пригодится ему для праздничной речи. Он непременно должен ее запомнить. Похвала мэра между тем окрыляет Дюрана. Он неловко поднимает и вытягивает вперед правую руку, как это делают дилетанты, играющие в трагедии.

– Когда расстояния между людьми уменьшатся, а их запас слов увеличится, тогда пред-рассудки, фанатизм, нетерпимость, война и тирания исчезнут сами собой, и уже следующее поколение, или хотя бы следующее столетие, увидит возвращение золотого века...

– Откуда вы взяли все это, мой друг? – удивленно и недоверчиво спрашивает Лакаде.

– Таково мое скромное суждение, господин мэра...

– Я не ценю ни средства сообщения, ни школьное образование так высоко, как наш друг Дюран, – вдруг вмешивается в разговор де Лафит, с трудом скрывая раздражение.

– Ну и ну! – смеется прокурор Дютур. – Неужели наш мэтр из Парижа реакционер?

– Я не реакционер и не революционер. Я независимый мыслитель. Как таковой, я не считаю просвещение широких масс смыслом развития человечества.

– Осторожнее, мой друг, осторожнее! – пытается успокоить его гуманист Кларан.

– А в чем тогда состоит этот смысл? – задумчиво, как бы обращаясь к самому себе, спра-шивает Эстрад. Тут слово вновь берет Гиацинт де Лафит, и в сказанном им ощущается явная, хотя и непонятная горечь.

– Если развитие человечества вообще имеет хоть какой-то смысл, то лишь один: произ-вести на свет гения, выдающуюся личность. Таково мое глубокое убеждение. Массы вполне могут жить, страдать и умирать лишь для того, чтобы время от времени на земле появлялся Гомер, Рафаэль, Вольтер, Россини, Шатобриан и даже, если хотите, Виктор Гюго...

– Печально, – откликается Эстрад, – печально для всех нас, земных червей, что мы всего лишь страдальческие окольные пути, приводящие к столь блестящим результатам.

– Это философия поэта, – небрежно и снисходительно поясняет Лакаде. – Но раз уж в нашем городе завелся поэт, он должен что-то сделать для Лурда. Ах, господин де Лафит, опи-шите в парижской прессе все наши здешние красоты природы, все наши прекрасные виды: Пибест, Пик-де-Жер и всю грандиозную панораму Пиренеев! Напишите о городских учрежде-ниях, о простой и уютной жизни, которой живут наши пылкие и непритязательные земляки! Изобразите во всей красе это роскошное кафе! Пишите все, что хотите, но призовите Париж и весь мир к ответу: почему, господа, коли уж вы ездите на воды в Котре и Гаварни, вы обо-дите своим вниманием Лурд? Почему вы столь высокомерно от него отворачиваетесь? Мы тоже готовы достойно вас встретить, предоставить вам удобный кров и первоклассную кухню... Я давно уже спрашиваю себя, господа, почему таким захолустным местечкам, как Котре и Гаварни, так повезло? Минеральные воды? Горячие источники? Но если в нескольких милях от нас, в Гаварни и Котре, есть целебные источники, почему бы им не быть в Лурде? Задача решается просто. Нам требуется всего лишь открыть у себя такие источники. Выбить их из наших скал! Таково мое убеждение. Я уже отправил несколько рекомендаций барону Масси, префекту. Улучшить дороги, улучшить почту, увеличить ассигнования. Мы направим поток денег и цивилизации в Лурд...

Мэр произнес за аперитивом блестящую речь, это ясно и ему самому. Ее патетический жар укрепляет его в убеждении, что как отец города он не знает себе равных. Как осиротеет Лурд после его кончины! Он с наслаждением втягивает губами последние капли мальвазии. После чего все присутствующие встают. Жены ждут их дома к обеду.

Закутанный в свою пелерину, Гиацинт де Лафит одиноко бредет по улице Басс. Он не пышет патетическим жаром. Снаружи и внутри он ощущает лишь пронизывающий февраль-ский холод. Внезапно он останавливается и смотрит на грязные, замызганные дома, безотрадно предстающие его безотрадному взору. «Какого черта я здесь торчу? – думает он в отчаянии. – Мое место на итальянском бульваре, на улице Сент-Оноре. Почему я застрял в этом мерзком

захолустье?» Двинувшись дальше, он сам же отвечает на свой вопрос: «Я торчу в этом паршивом городишке, потому что сам я всего лишь паршивый пес, которому из жалости бросают кость, бедный родственник, коему следует испытывать вечную благодарность за милости надутого провинциального семейства. Я имею здесь теплую комнату, хорошее питание, и мне не требуется тратить более пяти су в день. Мое общество здесь – ограниченные людишки из кафе „Французское“, для которых я закрытая книга. Я не принадлежу ни Богу, ни людям. Воистину высокий дух в этом мире – просто приживал и бедный родственник».

Глава пятая

Кончился хворост

Еще прежде, чем Бернадетта и Мария вернулись из школы, в предвкушении обеда в кашо заявляются оба малыша. При этом старший из братьев, Жан Мари, корчит отчаянно хитрую гримасу, как будто он только что победоносно выпутался из рискованной авантюры. Так оно и есть. После одиннадцатичасовой мессы, которую служит сам декан Перамаль, церковь обычно безлюдна. В это время семилетний Жан Мари прокрался в маленькую боковую нишу, где стоит статуя Мадонны, особенно почитаемая женщинами Лурда. Там на железной решетке всегда горит множество свечей, зажженных в честь Богоматери. Жан Мари слепил из оплывших огарков несколько восковых комочков и доверчиво выкладывает их перед матерью.

– Мамочка, сделай из них свечки... Или, может быть, из них можно сварить суп... я их жевал...

– Praoubo de jou! – восклицает Луиза Субиру. – Несчастливая я женщина!

(Заметим, что в Лурде люди редко говорят между собой по-французски, обычно они употребляют местный диалект, имеющий некоторое сходство с языком басков.)

– Несчастливая я женщина! Мой сын обокрал Пресвятую Деву...

Она вырывает из рук малыша восковые комочки. Сегодня же она пойдет к свечному мастеру Газалию и попросит сделать из них толстую свечу для Мадонны. Мадам Субиру в таком ужасе от святотатства, которое совершил ее сын, что даже не замечает шестилетнего Жюстена, чьи маленькие ручки также протягивают ей подарок. Это узкая, связанная из шерсти полоска вроде шарфика.

– Мамочка, посмотри, что я тебе принес...

– О боже, несчастные дети, вы, верно, просили милостыню...

– Мы не просили милостыню, мамочка, – возмущенно протестует старший. – Жюстен получил это от барышни.

– Силы Небесные, от какой еще барышни?

– От барышни, которая ходит с корзинкой, а в ней полно таких вещей. Мы ничего не говорили. Мы только стояли.

– Это, наверное, мадемуазель Жакоме, дочь комиссара полиции...

– И она сказала, – лепечет Жюстен, – «Ты должен взять этот шарфик, потому что ты самый бедный ребенок, которого я знаю...»

– Смотрите в оба, – сердится мать, – чтобы ее отец, месье Жакоме, не сцапал вас во время ваших прогулок. Он живо упрячет вас в каталажку.

– Мамочка, я правда самый бедный ребенок, которого она знает? – спрашивает Жюстен с живым любопытством непосвященного.

– Ох вы дурачки, – шепчет мать и тащит мальчишек к корыту, где моет им руки, предупредительно оттерев их речным песком. При этом она читает им целую проповедь. – Бедный малютка Бугугорт куда несчастнее вас. Он парализован от рождения и не может двигаться. А вы весь день бегаете по улице и можете говорить и делать все, что вам заблагорассудится. Кроме того, вы вовсе не бедные дети. Вы сыновья бывшего владельца мельницы и не должны

вести себя как пришлый сброд. И мать у вас из очень хорошей семьи: Кастеро всегда были почтенные люди, взгляните хотя бы на вашу тетю Бернарду, а дядя моего отца был священником в Три, а другой дядя служил в войсках в Тулузе. Вы их всех позорите. Ваш отец подыскивает новую мельницу, и тогда все у нас опять будет по-прежнему. Хорошо, что отец спит и не знает, что вы обокрали Пресвятую Деву и приставали к добрым людям...

После этой головомойки Луиза Субиру бросает долгий взгляд на супруга, который, раскинувшись на спине и звонко похрапывая, спит сном праведника, хотя праведники большей частью не имеют привычки спать посреди дня между завтраком и обедом. Как все люди, вынужденные делить помещение для сна с другими, отец семейства путем долгой тренировки выработал в себе умение моментально и крепко засыпать при любых обстоятельствах. Ни громкие голоса, ни шум ему не помеха. Тем не менее Луиза невольно понижает голос:

– Он надрывается ради вас, наш добрый папочка, и ежедневно приносит в дом деньги. Вы не такие уж бедные дети, ведь у вас есть родители. А завтра день стирки у мадам Милле. Я наверняка получу там для вас кусок пирога...

– А пирог будет с фруктами? – допытывается недоверчивый Жюстен тоном знатока.

Мать не успевает ответить, так как в кашо входят обе дочери, Бернадетта и Мария, а с ними еще и третья девочка, Жанна Абади, та, что считается первой ученицей на уроках катехизиса. Эта тринадцатилетняя особа с бойкими черными глазами и поджатыми губами всячески демонстрирует свое светское воспитание. Она делает вежливый книксен.

– Я совсем не голодна, мадам, я только посижу и посмотрю...

Субиру тем временем поставила на стол кастрюлю с луковым супом. На его поверхности плавают поджаренные ломтики хлеба. Она вздыхает:

– Бери тарелку, Жанна! Одним человеком больше, одним меньше – какая разница. На всех хватит.

Мария торопится объяснить причину прихода Жанны Абади:

– Жанна пришла к нам, мама, чтобы мы после обеда вместе позанимались. Вozу сегодня обозлилась на Бернадетту. Целый урок продержала ее перед классом...

Бернадетта смотрит на мать отсутствующим взглядом.

– Я действительно ничего не знала о Святой Троице, – честно признается она.

– Ты так же мало знаешь и обо всем остальном, – беспощадно констатирует первая ученица. Ибо человек, приоткрывающий собственные слабости, всегда остается внакладе. – Ты даже запутаешься и не прочтешь до конца «Ave Maria»...⁷

– Может, мне прочесть? – с готовностью предлагает Жюстен.

Мария приходит сестре на помощь:

– Бернадетта столько лет жила в Бартресе... В деревне ведь не учатся, как в городе...

Мать ставит перед Бернадеттой стакан красного вина. Это привилегия больной, принимаемая без возражений. В стакан Луиза украдкой бросила три кусочка сахара.

– Бернадетта, – спрашивает она, – ты не хотела бы опять некоторое время пожить в Бартресе у мадам Лагес?.. С отцом я об этом уже говорила...

Глаза Бернадетты вспыхивают, как всегда, когда в ней зарождаются яркие образы.

– О да, я бы очень хотела поехать в Бартрес...

Мария качает головой, она злится на сестру.

– Не пойму я тебя, Бернадетта. В деревне ведь такая тоска. Что за охота вечно глядеть на овец, щиплющих траву...

– Я их люблю, – кратко отвечает Бернадетта.

⁷ Так называется у католиков молитва к Богородице: «Богородице, Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою». Она читается по малым шарикам четок, называемым поэтому также «Ave Maria», тогда как большие шарики посвящены «Отче наш».

– Да, если она их любит? – поддерживает Бернадетту мать.

– Лентяйка! – в сердцах бранится Мария. – Тебе бы лишь забиться в угол и уставиться неизвестно куда. Беда, да и только...

– Оставь ее, детка, – говорит Луиза. – Она не такая сильная, как ты.

Но это утверждение вызывает обиженный протест Бернадетты:

– Это неправда, мамочка, у меня столько же сил, сколько у Марии. Спроси Лагесов! Если надо, я могу даже работать в поле...

В разговор неожиданно вмешивается Жанна Абади. Она кладет ложку и говорит твердым наставительным тоном:

– Но это невозможно, мадам! Бернадетта – самая старшая в классе. Ей необходимо принять Святое причастие и вкусить от Тела Господня. Иначе она останется язычницей и грешницей и не попадет не только в Царствие Небесное, но, быть может, даже в чистилище...

– Помилуй Боже! – испуганно восклицает мать и всплескивает руками.

В этот миг просыпается Франсуа Субиру. С кряхтением и оханьем он садится на край кровати и, сонно мигая, оглядывает комнату.

– Да здесь целое народное собрание, – бормочет он и начинает бешено размахивать руками. – Проклятая холодина! – Субиру вялой походкой тащится к очагу и подбрасывает в поникший огонь несколько сучьев. От кучи хвороста и веток почти ничего не осталось. Отец семейства мрачнеет и повышает голос, в котором звучат укор и негодование. – Что это значит? Кончился хворост? И все спокойно на это смотрят! Что же, прикажете мне идти за сушняком? Никто ни от чего не хочет меня освободить?..

– Ура, мы идем за хворостом! Ура! – Радостные детские голоса сливаются в единый хор. Особенно ликуют Жан Мари и Жюстен.

– Вы оба останетесь дома! – выносит свой вердикт Луиза. – Ваших прогулок мне на сегодня достаточно. За дровами могут пойти Мария и Жанна...

– А я? – обиженно спрашивает Бернадетта. Она краснеет, на ее обычно таком спокойном лице впервые замечен налет печали. Мать пытается воззвать к ее разуму:

– Рассуди сама, детка! Ты ведь старшая. Мария и Жанна – здоровые, закаленные девочки. А ты непременно подхватишь простуду – насморк и кашель. Простуда сразу же обострит твою астму. Вспомни, сколько тебе придется страдать...

– Но, мама, я не менее закалена, чем Жанна и Мария. В Бартресе мне приходилось целый день быть на воздухе: и в снег, и в дождь, и в грозу. И там я была здоровее всего... – Она обращается за поддержкой к отцу, пытаясь привлечь его заманчивой перспективой. – Ведь трое смогут принести гораздо больше, чем двое, разве не так?

– Мать решит, идти тебе или остаться, – строго говорит Субиру, придерживающийся в вопросах воспитания удобной тактики: вмешиваться только в редчайших случаях и не брать на себя никаких решений.

В это время раздается стук в дверь. Это мадам Бугугорт, соседка, еще молодая, но необычайно изможденная.

Проскользнув в комнату, она никак не может отдышаться. Она совершенно без сил.

– Милая Субиру, добрая моя соседка! – восклицает она в полном отчаянии.

Луиза, собравшаяся было мыть посуду, бросает все и взволнованно спрашивает:

– Боже, что у вас там опять стряслось, Круазин?

– Горе мне, малыш, мой бедный малыш... Опять судороги, как три недели назад... Он закатывает глазки, стискивает кулачки, я не знаю, что делать! Христа ради, пойдете со мной, помогите...

– Это пройдет, милая Бугугорт, ведь так было уже не раз, вам надо успокоиться. Я сейчас же пойду с вами. Взгляните, я сама не знаю, на каком я свете, у меня голова идет кругом от моей собственной публики...

Мальчики, попавшие под домашний арест, подняли воинственный рев. Луизе Субиру приходится проявить строгость, чтобы заставить их замолчать. При этом на глазах у нее слезы от сочувствия к Круазин Бугугорт.

– Я сейчас пойду с вами, соседка... А вы, девочки, немедленно отправляйтесь за хворостом.

– Мне тоже можно пойти, мамочка, ты разрешаешь? – ликует Бернадетта.

Луиза Субиру в растерянности хватается за голову:

– Несчастливая я женщина! Как мне справиться со всеми вашими глупостями? Бернадетта, тебе лучше бы посидеть дома... – Она идет к шкафу, достает несколько теплых вещей. – Вот, надень шерстяные чулки! Возьми теплый платок и закутай горло! И капюле, обязательно надень капюле, никаких возражений!

Капюле – это женская накидка с капюшоном, которая надевается на голову и плечи и закутывает женщину до самых колен. Простые женщины в Лурде охотно носят такие накидки. Еще чаще их увидишь на молодых крестьянках из Бартреса, из Оме, из долины Батсюгер, повсюду в обширной провинции Бигорр. Капюле бывают ярко-красные и белые. У Бернадетты капюле белый. Под остроконечным капюшоном ее личико исчезает в голубоватой тени.

Глава шестая

Яростный и горестный рев Гава

Пока девочки добирались до цели, у них было несколько встреч. У Старого моста, между первой наземной опорой и рыбацкой будкой, есть пологий, вымощенный камнями откос. Здесь женщины обычно стирают белье. Если погода солнечная, жительницы Лурда длинными рядами располагаются у берега и полощут белье в водах Гава, которые славятся тем, что прекрасно все очищают и отбеливают. Тогда к шуму вечно жалующейся на что-то реки примешивается многоголосый гомон женщин и равномерные удары их вальков. Но сегодня на берегу никого нет, кроме одной-единственной женщины, которую не напугала дурная погода. Это Пигюно, что по-местному означает Голубка. Почему ей дали такое прозвище, не знает никто. Если хотели намекнуть на известное сходство старой женщины с означенной птицей, то это был чистой воды эвфемизм, такой же, к какому прибегали древние, называя особенно коварное море «Благосклонным Понтом», так как не желали его прогневить более верным обозначением его сущности. Нет, то была вовсе не голубка, скорее побитая всеми ветрами и непогодами старая ворона, тощая скрюченная старушонка с изборожденным морщинами лицом, средоточие любопытства и проницательности. Главным ее свойством было всё обо всех знать. Собственно, звали ее Мария Самаран, и она состояла в дальнем родстве с семьей Субиру. Но Субиру смотрели на нее свысока. Ибо никто не стоит на общественной лестнице так низко, чтобы нельзя было найти кого-то, кто пал еще ниже.

– Эй, девочки Субиру! – пронзительно окликает Пигюно идущих по мосту. – Куда это вы, куда вы, девочки Субиру?

– Нас родители послали, тетушка Пигюно! – кричит Мария, приставив ладони рупором ко рту, так как разобрать слова в шуме реки довольно трудно. Пигюно возмущенно всплескивает покрасневшими от ледяной воды руками.

– Что за бесчеловечные родители, клянусь Пресвятой Девой! В такую стужу хороший хозяин собаку из дома не выгонит!

На это после короткого размышления отвечает Бернадетта.

– Но, тетушка Пигюно! – кричит она. – Почему бы нам не пойти за хворостом, раз вы сами не побоялись идти стирать в такой холод?

Это одно из тех замечаний Бернадетты, какое сестра Возу, без сомнения, отнесла бы к числу дерзких. Пигюно, которая за словом в карман не лезет, тут же подходит поближе к девочкам.

– Догадываюсь, что у вас нечем топить. Ваш отец никак не научится по одежке протягивать ножки. А мать? Нет, не скажу о ней ничего худого, ведь вы дети и, следовательно, ни в чем не виноваты. Но вашим родителям можете передать, что Пигюно дала вам хороший совет... – И, понизив голос, она сообщает: – Управляющий месье де Лафита велел срубить несколько тополей на острове Шале, у самой ограды парка. Там дров столько, что их хватит на дюжину семей...

– Сердечно благодарим вас, мадам, за вашу доброту, – говорит Жанна Абади и делает книксен.

И три девочки идут дальше, повторяя путь, который утром проделал Франсуа Субиру со своей зловонной тележкой. Они спускаются по тропинке, ведущей к мельнице Сави на левом берегу ручья. Там по мельничным мосткам они смогут перейти ручей и попасть на остров Шале. Бернадетта думает медленно. Когда она представляет себе, как они перелезут через ограду, чтобы красть дрова, она ощущает беспокойство. Одновременно ей не хочется оказаться «трусихой» и «мокрой курицей» в глазах более закаленных и практичных спутниц, и она не высказывает своих опасений вслух. Девочки уже прошли более половины пути, прежде чем Бернадетта решается на первое возражение:

– Тополиные ветки зеленые и плохо горят. А после дождей они совсем отсырели и будут только чадить...

– Ветки есть ветки и всегда горят, – рассудительно говорит Абади. – Мы не можем перебирать, как покупатели в лавке.

– Но у нас даже нет ножа, чтобы их отрезать, – делает новую попытку Бернадетта.

– Я взяла папин складной нож, – с торжеством объявляет Мария, вытаскивая грубое изделие из кармана передника.

Разговор прерван появлением Лериса и его хрюкающего стада. Добрый свинопас ухмыляется во весь рот и сдергивает шапку перед Бернадеттой. Девочка улыбается ему в ответ.

– Лерис влюблен в Бернадетту, – язвит Мария, которая иногда не прочь подольститься к высокомерной Жанне, отпустив шпильку по адресу Бернадетты. – Ведь они как-никак коллеги...

– Я не пасла свиней, – объясняет Бернадетта без всякой обиды, – я пасла только коз и овец... Ах, если бы вы знали, какая прелесть маленькие ягнята, особенно новорожденные; возьмешь на колени такой славный комочек...

Мария вновь досадует на сестру: как горожанка, она ощущает себя много выше деревенских жителей с их скотиной и вечным ковыряньем в земле.

– Иди ты, дуреха, со своим славным комочком знаешь куда... Как завидит что-нибудь маленькое и пушистенькое, так сразу тает от умиления...

– Я люблю свинину больше, чем баранину, – заявляет Жанна тоном знатока-гастронома, хотя в ее семье достаточно редко употребляют и то и другое.

Шлюз лесопилки закрыт, чтобы водоем мог наполниться водой. Когда шлюз закрывают, уровень воды в ручье настолько понижается, что колеса мельницы Сави перестают вращаться. Молодой мельник Антуан Николо использует этот вынужденный простой, чтобы подлатать прохудившиеся кое-где лопасти. Матушка Николо стоит на пороге дома, ибо, хотя стужа стала еще злее, все же погода немного прояснилась. Порывы ветра не смогли прорвать облачную пелену, но влажный свет зимнего солнца уже проникает сквозь нее и заливают остров Шале, так что все очертания вокруг становятся дрожащими и нечеткими.

– Это же дети Субиру, – говорит мельничиха, обращаясь к сыну. – А третью девочку я не знаю.

– Сдается мне, ее зовут Абади, и она большая задавака, – откликается Антуан, откладывая инструменты в сторону и выпрямляясь. Антуан – рослый красивый парень с добрыми глазами и лихо закрученными усами, которыми он немало гордится. Девочки издали здороваются с матушкой Николо.

– Как поживают ваши родители? – кричит им в ответ мельничиха. – Передайте им сердечный привет с мельницы Сави!

Хотя Франсуа Субиру давно уже не владелец мельницы, а всего лишь безработный поденщик, матушка Николо относится к нему со сдержанным теплом, как к бывшему собрату по ремеслу.

– А со мной кто-нибудь поздоровается? – обиженно басит Антуан.

Бернадетта подходит к нему и протягивает руку:

– Извините нас, месье Николо!

– И куда же направляются милые дамы?

– Мы просто гуляем, – осторожно отвечает Мария, – может быть, соберем по пути немного хвороста...

– А нам можно воспользоваться мельничными мостками? – спрашивает Жанна Абади с привычной вежливостью. Антуан делает галантный жест:

– Для дам все мосты открыты!

Мостки сбиты из трех узких досок, между которыми тоже зияют щели. Мария и Жанна, балансируя, переходят на другую сторону, а Бернадетта останавливается посередине и низко наклоняется, чтобы посмотреть на бурлящие под досками воды ручья. Бернадетта больше всего любит смотреть на воду. Она уже не слышит голосов мельника и его матери.

– Как быстро люди скатываются вниз, если не прилагают стараний, – говорит между тем мельничиха. – Вот уж и Субиру посылают своих детей воровать в парке дрова...

– Почему бы и нет, – великодушно говорит Антуан. – Впрочем, возможно, девочки и не собираются красть дрова у Лафита, а всего лишь пособирают хворост в роще Сайе.

Матушка Николо в сомнении морщит лоб:

– Кому дело до хвороста? Но ведь папаша Субиру уже имел неприятности из-за срубленного дерева...

Антуан берет молоток и начинает прибивать новую доску к замшелой лопасти мельничного колеса. Удары молотка долго еще сопровождают девочек на их пути. Вот они уже подходят к воротам парка, через которые можно пройти прямо к господскому дому. Широкая аллея, обсаженная платанами, позволяет разглядеть его фасад. По аллее прогуливается одинокий господин в долгополом пальто, он широкими шагами доходит до конца аллеи и тут же поворачивает назад. Он кажется очень расстроенным и сердитым и не отвечает на приветствие девочек, но, размахивая руками в такт ходьбе, говорит сам с собой. Время от времени он останавливается и что-то записывает в свою записную книжечку.

– Это месье де Лафит, кузен из Парижа, – почтительно шепчет всезнающая Жанна Абади.

– Боже милостивый! – пугается Мария. – Тогда уж лучше не следовать совету тетушки Пигино...

– Конечно, теперь это невозможно, – восклицает Бернадетта с невероятным облегчением.

– Какие вы, Субиру, трусики! – презрительно заявляет Жанна Абади, но быстро, как и остальные, убегает, чтобы скрыться из глаз господина, который, по их предположениям, занят подсчетом деревьев в парке. Такова четвертая встреча на пути девочек.

Они шагают теперь напрямик, без дороги, по сырой, поросшей кустарником пустоши. Бернадетта начинает отламывать от кустов тонкие прутики. Ее практичные спутницы заливаются смехом:

– Такими дровишками даже пальцы не обожжешь!

– Тогда лучше пойдем дальше! – предлагает Бернадетта. – Там внизу мы что-нибудь непременно найдем...

Великий знаток географии Жанна Абади простирает руку на запад:

– Если мы будем идти все дальше и дальше, то дойдем до Бетарана, но так ничего и не найдем...

Она ошибается, потому что путь девочкам вскоре преграждает естественное препятствие: место, где мельничный ручей сливается с водами Гава. Они оказываются на узкой песчаной косе, усыпанной галькой, отсюда можно увидеть черное кострище, где утром их отец за двадцать пять су совершил аутодафе, предав огню бранные останки людских страданий. Слева от них вздымается низкий лесистый гребень Трущобной горы, и медленно плывущие облака то высвечивают, то затеняют вход в пещеру Массабель.

– Ура! – кричит Жанна Абади. – Взгляните только на эти кости! – И она указывает пальцем на кучку добела отмытых рекой бараньих или коровьих костей, прибитых волнами прямо к подножию скалы, в которой находится грот. Белые кости отчетливо выделяются на серой гальке.

– Если отнести их старьевщику Грамону, – мгновенно соображает Мария, – можно получить уж не меньше трех су! А за это Мезонгрос даст большую булку или даже леденец...

– Чур делим пополам, иначе я не согласна! – горячится Жанна. – Я первая заметила. Собственно говоря, они мои...

Одним махом Жанна перебрасывает свои деревянные башмаки на другой берег ручья, его ширина здесь не более семи шагов. И вот она уже решительно шагает по воде, которая в самом глубоком месте едва доходит ей до колен. Это сейчас, а утром, когда Лерис переходил ручей в этом же месте, вода доходила ему до самых бедер, а он этого как будто даже не замечал.

– Ой-ой-ой! – визжит Жанна. – Вода просто ледяная. Как ножом режет...

Мария боится упустить выгодное дело. Она поспешно берет в руки башмаки, высоко задирает подол и вслед за Жанной входит в ледяной ручей. При этом она непрерывно испускает пронзительные крики. Бернадетту охватывает странное, незнакомое доселе чувство – отвращение. Ей неприятен вид обнаженных, сверкающих ляжек сестры, с которой она по ночам делит постель. Это зрелище кажется ей сейчас таким безобразным, что она отворачивается. Девочки, которые тем временем дошли до противоположного берега, садятся на песок и, громко стуча зубами, начинают бешено растирать ноги.

– А мне что делать? – кричит им Бернадетта.

– Если хочешь, тоже переходи сюда. – Жанна дрожит от холода и с трудом выговаривает слова.

– Ни в коем случае! – вмешивается встревоженная сестра. – Она сейчас же подхватит насморк, разгуляется ее астма, и всю ночь нельзя будет сомкнуть глаз...

– Да, я обязательно подхвачу насморк и кашель, мама будет ужасно сердиться и побьет меня...

Мария вскакивает в припадке великодушия:

– Подожди! Я сейчас перейду к тебе и перенесу тебя на закорках...

– Нет, Мария, для этого ты слишком мала и слаба... Мы обе только шлепнемся в воду... Может быть, вы отыщете несколько больших камней, и я буду перепрыгивать с одного на другой...

– Несколько больших камней! – передразнивает ее Жанна. – Отыщи сначала нескольких сильных мужчин...

– Но ты, Жанна, могла бы меня перенести, ты из нас самая сильная и высокая...

Жанна Абади, первая ученица и образец вежливости, задыхается от гнева и орет как вульгарная торговка:

– Нет уж, милочка, спасибо за любезное предложение! Снова лезть в этот ледяной компот? Ни за какие коврижки! Не надо мне и трех кило леденцов! Если уж ты такая неженка и так боишься своей мамочки, сиди, где сидишь, несчастная курица, и пусть тебя черт заберет!

Бернадетта обладает детской способностью тотчас представлять себе все сказанное в образах. Для нее не существует пустых, незначащих фраз. Самая избитая фраза обретает буквальный смысл и вмиг оживает. Черт уже незримо стоит у нее за спиной, чтобы забрать ее, потому что Жанна Абади этого хочет.

– Вот чего ты мне желаешь? – кричит она через ручей. – Если ты мне этого желаешь, то ты мне не подруга, и я не хочу тебя больше знать!

Она возмущенно поворачивается спиной к гроту и слышит голос Марии:

– Эй, там наверху много хвороста... Жди нас, Бернадетта, ты нам не нужна...

Бернадетта медленно успокаивается. Она еще видит фигурки девочек, снующих туда и сюда между скалой и лесом, они постоянно наклоняются, собирая хворост. Однако Бернадетта ощущает себя сейчас в полном одиночестве. Каждый раз, когда ей удастся остаться в одиночестве, ее охватывает блаженное чувство отрешенности и отдохновения, как бы возвращения к спокойному, свободному и естественному существованию, которое делается для нее невозможным, едва она оказывается среди людей. И сейчас вокруг нее царит полный и совершенный покой, не нарушаемый ни малейшим дуновением ветерка. Пронизанная светом облачная пелена неподвижна. Бернадетта оглядывается вокруг. Маленькие сверкающие волны ручья Сави сливаются с бурными, пенистыми водоворотами Гава. Грот Массабьель до краев залит спокойным розовым светом солнца, которое спрятано за облаками. Почти все тени исчезли. Единственное темное пятно образует овальная ниша, находящаяся с правой стороны грота и ведущая вглубь скалы. Под нишей протянулась ветвь от растущего на скалистой стене куста дикой розы. Бернадетта прислушивается. Ни звука, кроме удаляющихся голосов девочек и привычного строптивного рокота Гава, такого знакомого, как шум в собственных ушах, когда она просыпается ночью от страшного сна.

«Ты нам не нужна...» Сейчас она думает об этой фразе без всякой горечи. Одновременно в ней пробуждается чувство долга. «Я ведь самая старшая, – думает она, – не пристало мне отлынивать от работы. Нельзя подавать плохой пример. Хоть у меня и астма, я не мокрая курица, и немного холодной воды не обязательно сразу же вызовет насморк. Как глупо, что мама заставила меня надеть теплые чулки...» Бернадетта садится на тот же камень, на котором за несколько часов до этого свинопас и ее отец делили хлеб и сало. Девочка скидывает башмаки и начинает стягивать с правой ноги белый шерстяной чулок. Она еще не дошла до лодыжки, когда внезапно почувствовала, что произошла какая-то перемена. Бернадетта смотрит вокруг зоркими детскими глазами. Нет, пожалуй, все как было. Никто не появился. Только облака вновь стали непроницаемыми, и свет сделался каким-то свинцовым. Проходит некоторое время, прежде чем медлительная Бернадетта осознает, что перемена произошла не перед ее глазами, а в ее ушах. Изменился привычный шум Гава.

Будто Гав уже не река, а большая проезжая дорога, вроде дороги из Тарба в Лурд в рыночный день, да еще в самое оживленное время года, на Пасху. Сотни груженных повозок, крестьянских телег, почтовых карет, разнообразных экипажей с грохотом катят по этой изъезженной дороге. В придачу ко всему по ней явно марширует эскадрон лурдских драгун. К стуку копыт, шуму вращающихся колес, щелканью бичей и ржанию лошадей примешивается протяжное страдальческое «иа-иа» вьючных ослов. И все это – дикое паническое бегство, безумная, окутанная облаком пыли скачка – с невероятной быстротой приближается к Бернадетте, хоть и движется против течения. Еще миг, и это ее настигнет – и промчится над ней. Ей кажется, что в сокрушительном гуле враждебных, спорящих голосов, из которого вырываются отчаянные, горестные вопли женщин, она различает отдельные выкрики, отдельные возгласы и фразы вроде: «Отвали!», «Прочь с дороги!», «Спасайся!», «Пусть черт тебя заберет!»

Да, снова и снова звучит проклятие Жанны! Весь этот грохот непрерывно надвигается и в то же время непрерывно стоит на месте. Бернадетта стискивает зубы. «Это все уже однажды со мной было, я все это слышала, но где, но когда?» Она не может вспомнить. И затем все проходит, как будто ничего не было: ни криков, ни стенаний, ни яростного и горестного рева Гава. Гав вновь шумит и рокочет на свой привычный манер.

Бернадетта встряхивается, чтобы поскорее все позабыть. Правый чулок она уже держит в руке. Затем она еще раз внимательно оглядывается вокруг, на сей раз с непонятной робостью. Ее взгляд останавливается на гроте. Ветка дикой розы под нишей дрожит и гнется, словно от бури, и это при полном безветрии.

Глава седьмая

Дама

Бернадетта переводит взгляд на ближайший тополь, чтобы узнать, есть ли там, в вышине, ветер, который мог бы добраться до куста в гроте Массабель. Но трепетная листва тополя замерла, пышная крона недвижна. Бернадетта вновь поворачивается лицом к гроту, который от нее не более чем в десяти шагах. Куст дикой розы на стене грота уже не колеблется. Наверное, ей просто привиделось.

Нет, не привиделось. Бернадетта трет глаза, закрывает их, открывает, и так до десяти раз, но ничего не помогает. Дневной свет вокруг по-прежнему свинцово-серый. Только в овальной нише внутри грота дрожит насыщенный густой блеск цвета старого золота, словно там сохраняются еще последние лучи золотого заката. И в этом волнующемся золотом сиянии кто-то стоит, будто только что вышел из глубин мироздания на свет дня после долгого, хотя и нетрудного, не требовавшего особых усилий пути. И этот кто-то не расплывчатый призрак, не прозрачный фантом, не изменчивое видение, но очень юная и благородная с виду дама, весьма изящная, явно из плоти и крови, скорее миниатюрная, чем высокая, ибо она спокойно стоит, не касаясь каменных стен и вполне помещаясь в узком овале ниши. Одета юная дама не вполне обычно, но при этом ее туалет не совсем чужд современной моде. Хотя на ней явно нет ни тесного корсета, ни парижского кринолина, свободный покрой ее белоснежного платья красиво подчеркивает тонкую нежную талию. Бернадетта недавно присутствовала в церкви на бракосочетании младшей дочери де Лафита. Так вот, наряд дамы, скорее всего, можно сравнить с нарядом знатной невесты. И на той и на другой поверх платья наброшена легкая фата из дорогой ткани, покрывающая голову и доходящая до лодыжек. Но волосы похожей на невесту дамы не подверглись никакой завивке и не уложены в высокую прическу с черепаховым гребнем, как принято в высшем свете, нет, даже несколько дерзких золотистых локонов самым очаровательным образом выбились из-под накидки. Широкий голубой пояс свободно завязан под самой грудью, и концы его свисают почти до колен. Но какая несравненная, пронзительно приятная голубизна! А что касается белоснежного платья, то, наверное, даже мадемуазель Пере, портниха, обшивавшая самых богатых дам Лурда, не смогла бы определить, из какой ткани оно изготовлено. Иногда эта ткань блестит наподобие атласа, иногда кажется матовой, словно неизвестный тончайший белый бархат, а иногда это какой-то невесомый батист, отвечающий на каждое колебание тела причудливой игрой складок.

Но самое необычное Бернадетта замечает лишь в последнюю очередь. На молодой даме нет обуви, ее ноги босы. Узкие изящные ступни белы, как слоновая кость или даже как алебастр. К их белизне не примешивается ни малейшего оттенка красного или розового. Это какие-то первозданные ножки, словно никогда не ходившие по земле. Они странным образом контрастируют с живой телесностью очаровательной девушки. Но, пожалуй, еще удивительнее золотые розы на обеих стопах, неведомо как прикрепленные у основания больших пальцев.

Трудно сказать, какого рода эти розы: то ли это искусно выполненная бижутерия, то ли они просто нарисованы яркой золотой краской.

Сначала Бернадетта испытывает короткий, сотрясающий ее ужас, затем менее панический, но более продолжительный страх. Однако не тот, который ей знаком, не тот, который заставляет человека вскочить и спастись бегством. Она ощущает лишь, как что-то мягко сдавливает ей лоб и грудь, но при этом она страстно желает, чтобы это никогда не кончилось. Затем страх превращается в нечто такое, что девочка Бернадетта не смогла бы определить. Скорее всего, это можно было бы назвать утешением или усладой. До той поры Бернадетта даже не подозревала, что нуждается в утешении. Она ведь не сознает, как ужасна ее жизнь в полутемной норе кашо, которую она делит с пятью другими членами своего семейства, не сознает, что ей приходится постоянно голодать, не думает о том, что ночи напролет ей приходится бороться с мучительными приступами астмы, во время которых ей так трудно, почти невозможно дышать. Так было, сколько она себя помнит, и, вероятно, будет всегда. Тут уж ничего не поделаешь. Но теперь ее все больше и больше окутывает это утешение, которое она не может назвать, заливая горячая волна жалости и сочувствия. Жалеет ли она саму себя? Да. Но внутреннее существо девочки сейчас так распахнуто и так объемлет весь мир, что слабость сострадания буквально пронизывает все ее содрогающееся тельце до кончиков маленьких юных грудок.

В то время как волны любовного утешения наполняют ее сердце покоем, свободный и твердый взгляд Бернадетты неотрывно прикован к лицу молодой дамы. Дама неподвижно стоит в нише, но чем больше впивается в нее взгляд Бернадетты, тем она оказывается ближе. Девочка могла бы сейчас сосчитать все взмахи ее ресниц, которыми она время от времени прикрывает бездонную лазурь своих глаз. Цвет лица, при всей его безупречности, столь живой и естественный, что даже легкий румянец на щеках воспринимается как свидетельство свежести морозного зимнего дня. Губы дамы не чопорно сжаты, а слегка приоткрыты, как бы невзначай, и между ними мерцают чудесные белые зубки. Но Бернадетта не замечает частностей, она смотрит и не может наглядеться на весь этот прекрасный образ.

Ей даже не приходит в голову мысль, что перед ней небесное создание. Ведь Бернадетта не стоит на коленях в сумраке церкви. Она сидит на камне поблизости от того места, где ручей Сави сливается с Гавом, вокруг ясный студеной мир февральского дня, а в опущенной руке она держит белый шерстяной чулок. Бернадетте ясна лишь несказанная красота представшего перед ней женского существа, которая ее опьяняет и которую она впивает в себя ненасытным взглядом. Красота дамы и есть та главная сила, которая покорила девочку Бернадетту Субиру.

В своем восторженном оцепенении Бернадетта внезапно осознает, что ее поведение неприлично. Она сидит, а дама стоит. Кроме того, ей стыдно, что одна нога у нее голая, а другая в чулке. Как ей поступить? Она виновато встает. Дама удовлетворенно улыбается. Эта улыбка еще усиливает ее очарование. Бернадетта неловко кланяется, как это принято у лурдских школьниц, когда они встречают на улице одну из сестер-наставниц, или аббата Помьяна, или даже самого декана Перамалья. Дама торопится ответить на ее приветствие, не снисходительно, как вышеназванные авторитеты, но по-дружески и совершенно непринужденно. Она несколько раз кивает Бернадетте, и улыбка ее становится еще теплее. Обмен приветствиями создает совершенно новое положение. Между Бернадеттой и дамой, между Осчастливленной и Дарующей Счастье, устанавливается связь. Возникает мощный поток, соединяющий Бернадетту и даму, он стремится в обе стороны и несет в себе волны радостной симпатии, взаимной близости и даже какого-то нежного сообщничества. «Иисус Мария, – думает Бернадетта, – она стоит, и я стою». Чтобы обозначить почтительное различие между собой и дамой, Бернадетта становится на колени прямо на береговую гальку, лицом к нише.

Словно желая показать, что она поняла намерение девочки, дама делает своими алебастровыми ножками с золотыми розами маленький шаг к краю скалы. Идти дальше

она не может или не хочет. Затем она немного раскидывает руки, как бы желая что-то обнять или приподнять. Руки у нее такие же тонкие и белые, как и ноги. На ее ладонях тоже не заметно ни малейшего оттенка красного или розового.

Некоторое время ничего не происходит. Видимо, дама вынуждена, – а вернее сказать, желает – предоставить всю инициативу Бернадетте. А девочке довольно долго ничего не происходит на ум, она лишь стоит на коленях и смотрит, смотрит и стоит на коленях. Из-за этого обеих охватывает легкое смущение, и это немного огорчает девочку, которая хоть и чувствует, сколь она недостойна дамы, все-таки жаждет ей услужить и всеми силами облегчить встречу.

Одновременно в очарованном мозгу Бернадетты просыпается настороженность, первые сомнения, первое осознание странности происходящего. Откуда пришла дама? Из толщи земли? Но разве что-нибудь благое может появиться из-под земли? Благое, Небесное обычно нисходит с высоты. Оно может опуститься на облаке или сойти вниз по солнечному лучу, как на картинках в церкви. Но кто бы ни была эта юная дама, откуда бы она ни пришла своими босыми ногами, естественным или неестественным путем, одно остается непонятным: почему она выбрала для своего появления именно Массабьель, грязную, замусоренную дыру, постоянно заливаемую полыми водами, которые сносят туда камни, кости и всякий хлам, плывущий по реке. Массабьель, где находят приют свиньи и змеи, короче, место, которого все стараются избегать.

Недоверие Бернадетты, однако, не слишком серьезно. Все ее существо ликует, очарованное необыкновенной красотой дамы. Ведь всякая красота таит в себе нечто сверхъестественное. От каждого лица, которое мы называем красивым, исходит некое сияние, хоть и обусловленное физическими формами, но по сути своей духовное. Красота дамы кажется еще менее связанной с физической природой, чем любая другая красота. Она и есть само духовное сияние, имя которому «красота». Потрясенная этим сиянием, а отчасти и затем, чтобы удостовериться в происхождении дамы, Бернадетта решает перекреститься.

Крестное знамение – испытанное средство против множества страхов и душевных смут, с малых лет преследующих Бернадетту. Ее мучают не только ночные кошмары. Даже среди бела дня ее глаза обладают даром видеть в обыкновенных вещах нечто особенное, некие образы, заключенные в них, как в раму. На стенах кашо множество сырых подтеков и пятен. Если пристально смотреть на них из угла комнаты или утром из кровати, когда никак не удастся заснуть, то эти пятна принимают самые различные очертания и формы. Все они в основном порождения царства демонов, череда нелепейших уродств и немыслимых сочетаний. Не последнюю роль среди них играет Орфид, огромный бородатый козел матушки Лагес из Бартреса. Когда-то этот злобный зверь, свирепо выставив рога, гнался по лугу за маленькой испуганной пастушкой. (О, почему именно она, которая так любит все красивое, приветливое, доброе, столь часто оказывается во власти этих злобных фантомов?)

Бернадетта, не отрывая глаз от бескровных ступней дамы, хочет поднять руку и осенить себя крестным знаменем. Но ей это не удается. Рука не поднимается, словно чужая. Бернадетта даже не в силах пошевелить пальцами. Такое состояние, когда руки и ноги будто отнялись, тоже ей знакомо по страшным снам. Ей часто снится, что ее преследуют адские силы, гонятся за ней, а мышцы и голос ей отказывают, и она не может позвать на помощь Спасителя. Но на сей раз ее бессилие имеет, как видно, особую причину. Возможно, дама угадала ее сомнения и хочет ее за это наказать. Но возможно, что сама Бернадетта, желая перекреститься, нарушила каким-то образом правила хорошего тона и совершила непростительный *faux pas*⁸. Ибо что касается крестного знамения, то несомненно первенство тут должно принадлежать даме.

⁸ Ложный шаг (*фр.*).

И в самом деле, дама в нише медленно, очень медленно, как бы обучая, поднимает правую руку с тонкими пальцами и так широко, так радостно осеняет себя крестным знаменем, что Бернадетта приходит в восторг, ибо ничего подобного еще в жизни не видала. Сияющий крест словно не исчезает, а продолжает парить в воздухе. При этом лицо дамы делается необыкновенно серьезным, и от этой серьезности исходит новая волна очарования, которому невозможно противостоять. До сих пор Бернадетта, как и большинство людей, крестилась довольно небрежно и неточно, едва касаясь в спешке лба и груди. Теперь же она чувствует, как ее рукой овладевает какая-то мягкая сила. Как водят руку ребенка, уча его письму, так мягкая сила приподнимает застывшую руку девочки и касается ею середины лба. В результате у Бернадетты получается такой же широкий и невыразимо прекрасный крест, как только что у дамы. И дама вновь кивает и улыбается, будто им удалось достичь чего-то важного и ценного.

После этого возникает новая пауза, заполненная восторженным созерцанием и любовью. Бернадетте хотелось бы что-то сказать, как-то выразить свои чувства, если не словами, то хотя бы запинаящимися, смущенными, нежными звуками. Но разве можно осмелиться заговорить прежде, чем заговорит дама? Девочка сует руку в свою матерчатую сумку и вынимает оттуда четки. Это и есть самое лучшее, что она может сделать...

Все без исключения женщины Лурда постоянно носят с собой четки, важный и необходимый инструмент их благочестия. Руки бедных, тяжело работающих женщин просто не могут пребывать в покое. Молитва с пустыми руками для них как бы и не молитва. Молитва с усердным перебиранием четок – совсем другое дело, своего рода небесное рукоделие: невидимое шитье, вязание или вышивание; из пятидесяти «Ave Maria» возникает прилежно нанизанная жемчужная нить. Кому в течение года или дня удастся прочесть положенное число определенных молитв, следующих в строгом порядке, или, как говорят, «розариев», тот соткет себе добротное покрывало, которым великое милосердие когда-нибудь частично прикроет его вину. Пусть губы механически бормочут слова, которыми ангел приветствует Деву, душа в это время все равно блаженствует на лугу святости. И пусть мысли при этом частенько отвлекаются от произносимых слов и вздох, вырывающийся из груди, относится исключительно к неразумной цене на яйца, пусть даже голова поникнет на минуту-другую во время произнесения очередного «Ave» – не беда, ибо в этот миг человек защищен надежнее, чем когда-либо. Матушка Субиру относится к четкам и к чтению молитв точно так же, как все женщины Лурда. А Бернадетта, еще такая юная Бернадетта, которую никто бы не назвал святошей, которую учительница Мария Тереза Возу считает дремучей язычницей и которая в самом деле имеет лишь смутное понятие о таинствах веры, Бернадетта с гордостью носит с собой четки как знак того, что уже принята в клан взрослых женщин.

Теперь она с готовностью предъявляет даме свои небогатые четки, суровую нить с нанизанными на нее простыми черными шариками. Дама как будто давно этого ожидала. Она вновь улыбается и кивает и, кажется, очень довольна похвальной сообразительностью девочки. В ее чуть приподнятой правой руке тоже появляются четки, но не грошовое рыночное изделие, которым пользуется дочка поденщика, а свисающая чуть ли не до земли нить крупных переливающихся жемчужин, какую не увидишь ни у одной из королев. На конце нити в волнах струящегося света блестит золотое распятие.

Бернадетта рада услышать наконец свой голос, хотя он кажется ей сейчас совсем незнакомым. «Богородице, Дево, радуйся...» – начинает она первый десяток молитв. При этом она зорко следит за дамой: молится ли та вместе с ней. Но губы дамы остаются неподвижными. Видимо, не ее дело произносить слова Ангельского Приветствия. Но она с ласковым вниманием контролирует бормотание девочки. Каждый раз, когда молитва прочитана, дама пропускает между пальцами очередную жемчужину и дает ей соскользнуть вниз. При этом она непременно ждет, чтобы сначала девочка передвинула свой черный шарик. Когда же после первых десяти «Богородиц» звучит наконец восклицание: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!» –

из груди дамы как будто вырывается вздох и ее губы беззвучно произносят эти слова вместе с Бернадеттой. Никогда еще Бернадетта не читала «розарий» так медленно. Ведь это верное средство подольше удержать даму. А важнее этого сейчас ничего нет. Бернадетта так боится, что та, которую она уже возлюбила превыше всего, от лица которой она не в силах отвести глаз, устанет, что ей надоест из-за девочки Субиру торчать в неуютной и грязной каменной дыре на самом краю обрыва, откуда так легко свалиться. Конечно, истинная мука стоять таким образом, когда в тебя непрерывно впиваются глазами, да еще в такую погоду. «О Господи, скоро она уйдет и оставит меня одну...» Но после тридцати прочитанных молитв эти мысли куда-то уходят и сомнения рассеиваются. Глаза Бернадетты не устают все пристальнее глядеть на даму. Остальные чувства замирают. Она не ощущает острых камней под коленями. Не ощущает ледяной стужи вокруг себя. Она погружается в теплое блаженное забытие.

«Как мне сейчас хорошо, о, как мне хорошо...»

Глава восьмая

Чуждость мира

Лишь через добрых двадцать минут Мария и Жанна возвращаются на берег ручья. В низине между гротом Массабель и общинным лесом они насобирали огромное количество хвороста. Девочки еле его тащат. Они вспотели и задыхаются, они и не смотрят на Бернадетту. Первой пугается Мария. Она вдруг замечает, что сестра стоит на том берегу ручья коленями прямо на камнях в какой-то странной оцепенелой позе. Большим и указательным пальцем правой руки она держит четки. Белый чулок валяется возле нее на земле. Лицо ее смертельно бледно. Даже губы, обычно такие свежие, сделались бесцветными. Неподвижные глаза прикованы к гроту, но это глаза слепой, на них не видно зрачков. На окаменевшем личике, которое как бы и не дышит, застыла блаженная улыбка отрешенности и превосходства, подобная той, какую Мария недавно видела на лице лежащей в гробу соседки.

– Бернадетта, эй, Бернадетта! – кричит сестра.

Никакого ответа. Коленопреклоненная Бернадетта не слышит. Теперь ее окликают Жанна:

– Эй, ты, прекрати свои глупые шутки!

Никакого ответа. Коленопреклоненная не слышит. Марию охватывает ужас. Губы у нее кривятся, голос дрожит:

– Ой, наверное, она умерла... Астма ее убила. О Пресвятая Дева!

– Чепуха! – возражает более опытная Жанна. – Если бы она умерла, то лежала бы, а не стояла на коленях. Ты когда-нибудь видела мертвеца, который стоял бы на коленях?

Младшая сестра продолжает всхлипывать:

– Иисус Мария, а если она все-таки умерла...

– Мы ее сейчас разбудим. Она наверняка просто нас дурачит. Идем...

Жанна подбирает с земли несколько камешков и начинает кидать их в Бернадетту. Наконец один из них попадает ей в грудь. Девочка приподнимает голову, недоуменно оглядывается. Ее щеки медленно розовеют. Она глубоко вздыхает и спрашивает:

– Что происходит?

Между ударом камешка в грудь и этим вопросом прошло всего несколько секунд, но эти секунды вместили в себя долгий, долгий путь, который даже невозможно обозначить категориями времени. Когда камешек попал Бернадетте в грудь, дамы уже не было. Каким образом она исчезла, девочка не смогла бы объяснить. Она не растворилась в воздухе. Не растаяла в колеблющемся луче света. Да и как это могло бы быть, ведь дама, несомненно, была живым существом из плоти и крови, и одежда на ней была из самой дорогой ткани? В то же время девочка не сумела уловить момент, когда дама просто ушла или отступила и скрылась в тем-

ной нише. Скорее всего, это следовало объяснить так: Несравненная по доброте своего сердца не захотела огорчать девочку и, прежде чем уйти, погрузила ее в легкое беспамятство. Кроме того, прекрасное самочувствие было для Бернадетты столь новым и столь блаженным ощущением, что она даже не заметила, как дама с ней распрощалась.

Но за прекрасное самочувствие ей приходится расплачиваться теперь, когда сознание к ней вернулось. Прежде всего, ее неприятно удивляет, даже внушает отвращение то, что она видит вокруг и что лишь постепенно доходит до ее сознания. Она не могла бы выразить это словами. Чуждость окружающего мира вызывает у нее едва ли не тошноту. Этот камень, он и вправду камень? И что такое вообще камень? А нога, неужели это ее нога, ее собственная стопа, далекая и бесчувственная, как бревно? Бернадетте приходится с трудом пробиваться к осознанию полной естественности окружающего, прежде чем она в состоянии задать вопрос:

– Что происходит?

– Что происходит? Это мы у тебя должны спросить, – взрывается Жанна. – Ты что, совсем рехнулась? Молиться перед гротом Массабьель, где жрут и пачкают свиньи? В церкви ты менее усердна...

Бернадетта уже полностью пришла в себя, теперь она снова школьница, которой необходимо осадить подружку.

– Это не твое дело, это касается только меня...

– Господи, Бернадетта, как ты меня напугала! – жалобно причитает Мария. – Я уж думала, ты померла от астмы...

Бернадетту пронзает жалость к сестре.

– Иду к тебе! – кричит она и быстро стягивает чулок с левой ноги. Когда она встает, ей кажется, что после встречи с дамой она изменилась: стала чуть ли не на полголовы выше, сильнее, энергичнее и даже красивее. Удивление и отвращение перед чуждым миром уступают место живому интересу выздоравливающей, которая чувствует себя как бы заново рожденной на свет. Бернадетта обматывает чулки вокруг шеи, берет в руки башмаки и легкой уверенной походкой входит в ручей. Посередине, там, где вода ей по колено, она останавливается и удивленно восклицает:

– Какие же вы обе обманщицы! Водичка просто тепленькая, как в лохани...

Мария сердито качает головой:

– Жанна права, у тебя не все дома. У меня до сих пор еще ноги сводит от этой тепленькой водички... Лучше вылезай и помоги нам!

Бернадетта присоединяется к девочкам, не заботясь о том, что ноги у нее мокрые. Они делят кости на три равные доли. Затем длинными гибкими прутьями увязывают собранные дрова и хворост в три большие вязанки. Это нелегкая работа. Бернадетта на сей раз оказывается самой быстрой и ловкой. Подготавливая свою вязанку, она вдруг спрашивает девочек:

– Вы ничего не видели?

На местном диалекте ее вопрос звучит так:

– Aouet bis a rè?

Мария искоса смотрит на сестру. Ей тоже кажется, что Бернадетта в чем-то изменилась: она такая уверенная, целеустремленная и выглядит старше, чем полчаса назад. В ее круглом детском лице появилось даже что-то властное.

– Ты сама что-нибудь здесь видела? – спрашивает младшая сестра.

Жадные глаза Абади загораются любопытством.

– Был кто-нибудь в гроте?

– Labets, a rè, – обрывает разговор Бернадетта. Это означает: «Нет, никого не было».

Бернадетта усаживается на землю и быстро натягивает чулки. Затем одним рывком вскидывает себе на голову самую большую вязанку: именно так здешние женщины привыкли носить поклажу. Две другие девочки поднимают свои вязанки с величайшим трудом.

– Обратно пойдем через гору, это самый короткий путь! – решительно говорит Бернадетта.

Жанна Абади соглашается:

– Ни за что на свете не полезу больше в ледяную воду!

– Там очень крутой подъем и спуск, – опасливо замечает Мария.

Но Бернадетта не обращает внимания на ее слова. Большими шагами она уже спешит вверх по каменистой осыпи, не оглядываясь ни на грот, ни на нишу. В нескольких метрах от грота Массабьель начинается еле заметная тропа, карабкающаяся вверх на самый гребень Трущобной горы и спускающаяся неподалеку от Старого моста. Бернадетта идет впереди. За ней на некотором расстоянии следует Жанна. Мария тащится последней. Девочки не разговаривают, так как груз у каждой тяжел, а тропинка не только круто забирает вверх, но порой приближается к самому краю обрыва. Особенно опасен обрывистый участок пути перед вершиной. Здесь надо преодолеть вертикальную расщелину, а под ногами голая скала, вымытая дождями. Деревянные башмаки отчаянно скользят, они не самая удобная обувь для хождения по горам.

– О господи, дальше я не пойду! – задыхаясь говорит Мария перед последним подъемом.

Бернадетта, которая уже взобралась на гору, сбрасывает свою вязанку и спускается на помощь сестре. Не говоря ни слова, она перекладывает на себя ее ношу и упругим шагом вновь взбегает на вершину.

– Эй, что это значит? – удивленно восклицает Мария. – Я же сильнее тебя...

Жанна Абади хохочет, сгибаясь под своей вязанкой:

– Она вдруг превратилась в дюжего капрала из Немурской казармы, а до этого боялась замочить ножки в холодной водичке...

– Куда ты так мчишься, ослица? – сердито осаживает Мария сестру. – Потом будешь задыхаться всю ночь...

Бернадетта не отвечает. Она и думать забыла о своей «атме». Она борется с собой. Ее душа жаждет говорить о даме. Она подобна влюбленной, которая изнывает, потому что обстоятельства вынуждают ее молчать о своей любви. В глубине сердца она знает, что, если только поддастся искушению и откроет рот, это будет иметь непредсказуемые последствия. «Я ничего не скажу, я ничего не скажу», – шепотом убеждает она саму себя.

– Что ты там бормочешь себе под нос? – спрашивает Абади.

Бернадетта внезапно останавливается и, не дыша, замирает.

– Я хочу вам что-то рассказать, – произносит она затем. – Но вы должны поклясться, что не выдадите меня... Мама уж точно не должна об этом знать, она меня просто побьет... Мария, поклянись, что не скажешь дома ни словечка!

– Клянусь! Ты ведь знаешь, я умею держать язык за зубами.

– А Жанна сегодня пожелала, чтобы меня забрал черт. Жанна, ты правда этого хочешь?

– Дуреха, это же просто так говорится, никто всерьез об этом не думает. Ну давай, выкладывай!

– Нет, сперва поклянись, что ничего не скажешь ни у нас дома, ни у себя дома, ни в школе...

– Даю честное слово. Но клясться, нет, клясться я не буду. Клясться ни с того ни с сего – это грех. Ты хочешь ввести меня во грех именно сейчас, за несколько месяцев до первого причастия? Ладно! Рассказывай, что было в гроте?

– Я видела даму во всем белом, с голубым поясом, и на каждой ноге золотая роза...

Она восторженно вслушивается в собственные слова, которые, при всей их бедности, должны вместить непостижимое. А сердце у нее колотится и прямо выпрыгивает из груди. Мария приходит от ее слов в ярость. Она швыряет свою вязанку на землю:

– Эй, ты, я тебя хорошо знаю! Ты хочешь нас напугать, сейчас, когда уже темнеет, а мы все еще в лесу. Но меня ты своей дурацкой дамой в белом не напугаешь...

Выдернув из вязанки ореховый прут, она несколько раз ударяет Бернадетту по рукам. Но та как будто ничего не чувствует.

– Почему ты ее бьешь? – задумчиво говорит Жанна Абади. – Может, там и в самом деле была дама...

– Да, была, и я хотела перекреститься, но не смогла, а потом у меня получился такой же крест, как у дамы...

Бернадетта вдруг обрывает себя и быстро уходит вперед. Ни на один из настырных вопросов Жанны Абади она больше не отвечает. Спустившись по восточному склону Трущобной горы к тому месту, откуда видна большая лесопилка Лафита, Бернадетта бросается на траву.

– Я так ужасно устала... – говорит она подошедшим Марии и Жанне. – Отдохнем!

Она прижимается лицом к холодной сырой земле. Пусть наконец она подхватит эту проклятую простуду, пусть будет насморк, кашель, боль в горле, удушье! Ей все равно. Она почти желает заболеть. Обе девочки садятся рядом с ней на землю и удивленно смотрят на ее пылающее возбужденное лицо. После небольшой паузы она выкрикивает:

– Держите меня крепче! Мне так хочется назад, в Массабьель...

– Ты, верно, думаешь, что твоя дама ждет тебя там не дождется, – подмигивает Жанна.

– Я это знаю, – отвечает Бернадетта.

Глава девятая

Мадам Субиру выходит из себя

Этот день, одиннадцатое февраля, выдался нелегким для Луизы Субиру. Более часа ей пришлось пробыть у соседки, Круазин Бугугорт. Снова все то же. Непонятно, как только Небеса не сжалятся над несчастным ребенком! Что ни делай, не жилец он на этом свете. Конечно, этот двухлетний крошка – единственный сын Круазин Бугугорт, и она, как все несчастные матери, панически боится его смерти, вместо того чтобы спокойно принять ее, покорившись Господней воле. Ведь маленький Бугугорт никогда не встанет на ножки. Ножки у него не толще большого пальца мужчины и к тому же кривые. Каждые три-четыре недели у него бывают такие ужасные судороги, как сегодня. Причина в головном мозге, от него и судороги. Несчастный малютка задирает коленки чуть не до подбородка, глаза у него закатываются, и он теряет сознание.

Луиза Субиру, как все сестры Кастеро (более всех старшая, премудрая Бернарда), имеет репутацию опытной целительницы. Не только мадам Бугугорт, но и другие женщины с улицы Пти-Фоссе в случае нужды призывают ее на помощь. Неопытная и болезненная Круазин вообще не может без нее обойтись. Когда на малыша нападают судороги, она сразу теряет голову. Матушка Субиру и на этот раз с величайшим усердием применила свои испытанные приемы. Как она ни бедна, она не пожалела бальзама собственного изготовления и натерла им все тельце ребенка. Затем укутала его в теплые одеяльца и с величайшим трудом влила ему в рот несколько капель особого отвара из лечебных трав. После чего, взяв ребенка на руки, еще полчаса кружилась с ним по комнате, встряхивая его изо всех сил, чтобы восстановить кровообращение. Вследствие этого лечения бедняжку Жюста вырвало, и он обмарал ей все платье. Но судороги тут же прекратились.

Луиза Субиру, вспотевшая и задыхающаяся, спешит обратно в кашо. К своей величайшей досаде, она обнаруживает, что все ее птички разлетелись. Жан Мари и Жюстен, эти уличные мальчишки, невзирая на строгий приказ сидеть дома, давно уже куда-то удрали. Еще больше огорчает ее, что и Франсуа не дождался ее возвращения. Почти наверняка решил «на минутку» заглянуть к папаше Бабу, несмотря на торжественную клятву этого не делать, дан-

ную ей на Рождество. Луиза устало опускается на стул и бессознательно заводит свою обычную песню, которую повторяет по многу раз на дню:

– Praoubo de jou... Бедная я женщина...

Но вот она вскакивает и накидывает на голову платок. Она вспоминает, что мадам Милле нередко отменяет или переносит день стирки. Стирка у мадам Милле – священная процедура, которая осуществляется под личным наблюдением строгой и благочестивой вдовы. Но бывает, что в конце недели мадам едет в Аржелес, чтобы нанести визит тамошним родственникам. Несколько месяцев назад умерла ее горячо любимая приемная дочь Элиза Латапи, принадлежавшая к одной из ветвей этого многочисленного семейства. Если мадам Милле едет в Аржелес, то стирка отменяется. Луиза Субиру теряет на этом тридцать су, горячий обед, вечерний чай и гостинцы, которые хозяйка или ее кухарка обычно суют ей для детей. Луиза Субиру предчувствует, что сегодня – день неудач, все идет вкривь и вкось, и, скорее всего, ей сообщат, что в пятницу стирки не будет.

Она с силой захлопывает за собой дверь кашо. Дядюшка Сажу, каменотес и домовладелец, сидит на верхней ступеньке и с наслаждением курит свой вонючий табак. Мадам Сажу не терпит, когда он дымит «в салоне». В отличие от Субиру, которым лишь из милости разрешено поселиться в бывшей тюрьме, супруги Сажу называют три небольшие комнаты своей собственностью, из них одну, обставленную полученной в наследство мебелью, особенно берегут и почитают, это и есть «салон», то есть святая святых буржуазности.

– Дорогой Андре, – говорит Луиза замученным голосом, – я всего на три минутки забегу к мадам Милле... И очень скоро вернусь...

Андре Сажу вяло загибает левый указательный палец в знак того, что он понял. Ремесло каменотеса вообще не располагает к разговорчивости, ведь гранит и мрамор, идущие главным образом на надгробные памятники, сами по себе символы молчания. В отношении Субиру молчание дядюшки Сажу особенно нарочито, ибо хотя он им и родня – в Лурде все более или менее друг другу родственники, – но их невезучесть требует бдительности, как заразная болезнь. Выполнять христианский долг следует, но держаться от них надо подальше, чтобы не завязнуть в их бесконечных бедах.

Дом мадам Милле расположен на углу улицы Бартерес. Это одно из самых солидных и внушительных зданий в Лурде. Когда епископ Тарбский монсеньор Бертран Север Лоранс посещает Лурд, он обычно останавливается не в доме декана Перамала и не в обители Неверских сестер, а в доме богачки вдовы Милле, где его всегда ждут личные апартаменты. Госпожа Милле вполне заслужила эту честь, ибо она не только благочестивая, но и воинствующая католичка. Правда, монсеньор, человек остроумный и практичный, находит покои госпожи Милле с их обилием гардин, занавесок, чехлов и кружевных салфеток несколько затхлыми. Кровати там подобны торжественным катафалкам. Они просто вопиют, чтобы лежащий на них поскорее испустил дух. Даже толстая свеча на ночном столике – типичная церковная свеча. Кроме того, добрая Милле, по мнению епископа, проявляет слишком уж настойчивое, хотя и поверхностное любопытство к потусторонним предметам. После смерти племянницы Элизы Латапи, которую она удочерила, ее тяготение к миру духов перешло все допустимые границы. С другой стороны – и это является для монсеньора решающим, – множество полезных организаций существуют исключительно на пожертвования этой очень богатой женщины. Взять хотя бы «Союз детей Марии», который не только устраивает пышные ежегодные празднества, но и широко занимается благотворительностью. И это лишь один из семи таких союзов.

Луиза Субиру робко стучит в дверь дома старомодным дверным молотком. Дверь собственноручно открывает почтенный Филипп, слуга госпожи Милле. Уже один вид этого мрачного Филиппа, обстановка огромной темной прихожей, запах нафталина и смерти, веющий вокруг, – все это каждый раз наполняет сердце Луизы почтением и страхом. Как и во всех комнатах мадам Милле, здесь также царит *horror nudi* – «страх наготы». Поэтому все стены

завешены темными картинами и все предметы накрыты бесчисленными пожелтевшими кружевными салфетками, которые хорошо знакомы Луизе, потому что она их постоянно отстирывает. Несмотря на это, они становятся все желтее.

– Моя добрая Субиру, – начинает Филипп тоном высокопоставленного, но снисходящего к собеседнице прелата, – очень разумно, что вы пришли, вы избавили меня от необходимости идти к вам. Мы переносим стирку на следующую неделю. Завтра мы проведем день у родственников в Аржелесе. Со времени кончины нашей благочестивой мадемуазель Элизы мы постоянно ездим туда, чтобы присутствовать на панихиде. Когда потребуется, мы вас известим...

При упоминании умершей госпожа Субиру придает своему лицу, как предписывают приличия, вытянутое и кислое выражение соболезнования. Но страх колотится у нее в ушах. То, чего она так боялась, случилось. Денег на субботу и воскресенье у нее нет. Она просто не знает, как ей теперь быть. На обратном пути она забегает в продуктовую лавку Лаказа и пытается выпросить в долг хотя бы шматок сала, кусок мыла и пригоршню риса. (Двенадцать су, которые у нее еще остались, она выложить не решается, так как их тотчас же заберут в уплату старых долгов.) Лаказ категорически отказывает. Слишком уж много за ней записано в его тетрадке. У кашо ее встречает скрипучий голос Андре Сажу.

– Дорогая кузина, – брюзжит он, – долг матери обязывает вас следить, чтобы ваши отпрыски не причиняли беспокойства соседям. Взгляните на своих сыночков! Мало того что во дворе они лезут во все дыры, как отпетые взломщики. А теперь их еще угораздило свалиться в кучу навоза. В следующий раз это добром не кончится...

– Я только хотел поймать кошку, мамочка, – плаксиво тянет младший, Жюстен.

– А я только помогал Жюстену выбраться из навозной кучи, – защищается Жан Мари, не прибегая к слезам.

Матушка Субиру молча загоняет вывалявшихся в навозе грешников в комнату. Она так подавлена и огорчена, что у нее даже нет сил задать им сейчас трепку. Ее гложет одна мысль: во что их переодеть, у них ведь больше ничего нет. Она срывает с них почти всю одежду. К счастью, в котле еще осталась теплая вода. Она выливает ее в лохань и начинает так неистово стирать и полоскать одежки мальчиков, как будто хочет вытрясти свою бедную душу. Полуголые Жан Мари и Жюстен пользуются случаем и скачут по всей комнате, несмотря на холод.

Такую вот картину застаёт вернувшийся домой Франсуа Субиру. Овеянный парами алкоголя, он величественно застывает в дверях. Сыновей он даже не удостоивает взглядом.

– Я не потерплю, чтобы ты так надрывалась! – восклицает он нетвердым голосом. – Ты ведь урожденная Кастеро, а я как-никак – Субиру! Кто такие в сравнении с нами Николо? Ты не должна терять веру в меня...

Не прекращая стирки, Луиза бросает испытующий взгляд на мужа. Он подходит ближе и становится за ее спиной.

– Я был у Мезонгроса, я был у Казенава, я был у Кабизо...

– И у папаши Бабу ты тоже был, – твердо говорит Луиза.

– Я болен, – стонет Субиру, – я очень болен... Да пошлет мне Господь скорую кончину! Ах вы, бедняги...

Луиза вешает мокрую одежду, от которой все еще пронзительно несет навозом, на веревку, протянутую между очагом и окном. Слова Субиру «я очень болен» не оставляют ее совсем равнодушной. В самом деле, муж выглядит на удивление плохо. Кто признает в нем молодцеватого парня, мельничного подмастерья Субиру далеких тридцатых годов? Уже несколько дней у него в желудке не было приличной еды. Как он чувствует себя виноватым перед ней за ее жребий, так и она ощущает свою вину перед ним. Если даже он и пропустил стаканчик-другой у папаши Бабу, на дармовщину или в долг, кто может его упрекнуть при таком питании? Бедняга просто не в состоянии больше все это выносить. Луиза, закаленная

жизнью Луиза – преданная жена, она готова защищать мужа против всех на свете и даже против самой себя. Только бы он и вправду не заболел! Этого им еще не хватало!

– Лучше всего тебе снова лечь в постель, Субиру, – говорит она.

– Да, ты права, это будет лучше всего, – отвечает Субиру так обрадованно, словно ее предложение решает все его жизненные проблемы. И вот он уже снова забирается в постель: отпущение грехов, данное женой, облегчило его душу и освободило от раскаяния. Луиза тем временем вынимает из пакетика сушеный липовый цвет и ставит кипятить воду. Через некоторое время она подносит к губам своего больного испытанное снадобье: она по опыту знает, что горький липовый отвар – лучшее средство против той хвори, которой сейчас мучается Субиру. Он сопротивляется, ему тошно, и он не желает выздоравливать, но она с беспощадной строгостью заставляет его выпить горячий отвар. Субиру лежит с видом страдальца. Слабого мужчину нужно постоянно подбадривать, это Луиза тоже давно усвоила.

– У Милле в пятницу не будет стирки, – сообщает она. – Но завтра я как-то выкручусь, а там что-нибудь обязательно подвернется. Может, будет работа у жены мирового судьи Рива.

– Завтра... – сиплым голосом откликается Субиру, и в его сипении звучит горькая насмешка, – завтра даже Казенав не пошлет меня вывозить вонючий мусор... Рад служить, господин капитан! – передразнивает он сам себя.

Она поправляет ему одеяло. Сидит рядом, пока он не засыпает. Засыпать он большой мастер, так что ждать ей приходится недолго. Но женщина еще медлит, сложив руки на коленях. Она вспоминает, что таким же он был, когда неожиданно досрочно вернулся из тюрьмы, не отсидев предварительного заключения. Тогда он сумел блестяще опровергнуть подлыйговор. Не он украл дубовую балку с лесопилки Лафита. Черт побери, на что ему сдалась эта огромная балка? Но, несмотря на то что он доказал свою невиновность комиссару полиции Жакоме, судье Риву, имперскому прокурору Дютуру, он вернулся совершенно сломленным, обвисшим, как мокрый чулок на веревке, и целыми днями беспробудно спал. Удивительно, как раскисают мужчины, когда им не везет, куда деваются их ум и упорство? Зато когда у них все хорошо, когда в кармане позвякивают монетки в двадцать су, как они тогда хвастают, как привирают, как строят из себя невесть кого! Как охотно всех угощают! Но если хлеб и почет исчезают, то и сами охотно напиваются за чужой счет, затем валяются в постель и спят. А бедная жена еще должна беспокоиться, не заболел ли он.

– Потихе вы, грязнули! – шипит Луиза на мальчишек. – Не смейте мешать отцу, он болен и лег поспать!

Она бросает в огонь последний чурбачок, чтобы спящий не замерз. Затем хватает ведра и отправляется за водой. До ближайшего колодца надо пройти вверх по улице пять домов, колодец находится во дворе питейного заведения папаша Бабу. Если мужчины собираются внутри кабачка, то женщины сходятся у колодца. (Это не значит, что у них не припасено дома в шкафу бутылочки знаменитой «Чертовой травки», не говоря уже о вине, которое даже перед Господом не считается выпивкой.) Мадам Субиру узнает у колодца несколько свежих новостей, из тех, что не найдешь в «Лаведане». Оказывается, мадам Лакаде вместе с дочерью уже больше месяца пребывают в По. Когда молодая девушка отсутствует столь длительное время, это всегда предполагает весьма деликатную причину. Портниха Антуанетта Пере вытягивает из богачки Милле одну стофранковую купюру за другой. Вот уж истинная дочь судебного исполнителя! Толстуха-вдова заказала ей целых три черных шелковых платья. И последнее, самое интересное! Месье де Лафит, загадочный кузен из Парижа, – говорят, он масон, если не сам дьявол, – недавно тащился по всей улице Басс за Катрин Манго, которой нет и четырнадцати, и имел наглость не только заговорить с ней, но даже ее погладить. «Катрин, для меня ты сладчайшая нимфа в этом поганом захолустье!» – вот что он ей сказал. Какова свинья! Впрочем, все мужчины одинаковы: жестоки и эгоистичны. Даже досточтимый декан Перамаль выставил вчера из дому свою кухарку Мадлен: столько лет ему служила, и пожалуйте – пинком в зад!

Проповедует, что надо смирять страсти, а сам вспыхивает как порох! Нагруженная этими новостями и двумя полными ведрами, Субиру тащится домой. Она оставляет ведра у двери. Пусть девочки позже внесут их в комнату. Бьет три часа. Куда же подевались Бернадетта и Мария, они давно должны быть дома с хворостом! Луиза одновременно сердится и тревожится. Она вспоминает о Катрин Манго и парижском кузене. Погибель подстерегает повсюду. Ее девочки тоже красивы и глупы. Но эта мысль вытесняется еще более насущной и неприятной: из чего приготовить ужин?

Девочки так сильно задержались из-за того, что сдавали кости. Лавка Грамона расположена на другом конце Лурда. С тяжелыми вязанками хвороста на голове они тащились туда бесконечно долго. Старьевщик выплатил каждой по два су. Бернадетта и Мария, в отличие от Жанны, решают купить на них не леденцы, а хлеб. Этот хлеб и большое количество хвороста непременно смягчат сердце матушки Субиру, когда они наконец доберутся до дома и сбросят у двери тяжелые вязанки.

– Где вы так долго пропадали? – кричит мать, как только сестры входят в комнату. – Сваливаете все на меня одну, взрослые лентяйки! Пора наконец усвоить: кто беден, тому гулять некогда. Скорее несите ведра!

Бернадетта и Мария послушно вносят тяжелые ведра с водой. Послушно чистят репу и картофель, за которые матушка Субиру заплатила часть из тех двадцати су, что дал ей сегодня муж. Отец лежит в кровати и укоризненно храпит. «Он болен», – говорит Луиза девочкам. Это не обсуждается, все молчат. Время от времени Бернадетта бросает пытливый взгляд на сестру. Мария в ответ опускает глаза и судорожно сжимает губы. Ее гримаса показывает, как тяжело ей бороться с собой. Луиза Субиру стремится использовать последние остатки дневного света, проникающие в кашо со двора.

– Подойдите к окну! – командует она. – Я хочу расчесать вам волосы. Мария, ты первая!

Эта процедура повторяется каждый вечер. Луиза Субиру, насколько это возможно в мрачном тюремном помещении, ревностно борется за чистоту. Она ведь урожденная Кастеро. Жюстена и Жана Мари она ежедневно перед сном оттирает жесткой щеткой. А волосы дочерей тщательно расчесывает густым гребнем. На улице Пти-Фоссе нередко вши, они переходят из дома в дом. Чистота – последнее достояние человека, когда все утрачено. Это помогает сохранить остатки самоуважения. Мариину шевелюру расчесать особенно трудно. Волосы у нее густые, жесткие, не поддающиеся гребню – настоящий колтун. Бернадетта, напротив, унаследовала мягкие темные волосы отца. Луиза нещадно дерет спутанные космы Марии, а Бернадетту посылает за мальчиками, которые давно улизнули в коридор. Мария стоит на коленях, спиной к матери. От энергичных движений гребня ее густые волосы потрескивают.

– Гым... гым... – Мария испускает странные горловые звуки.

– Не так жалобно, если можно, – насмешливо бросает мать.

Через минуту звуки повторяются: «Гым... гым... гым...»

– У тебя что, горло болит? – спрашивает Луиза.

– Нет, мама, горло у меня не болит...

Когда все те же непонятные, зловещие звуки раздаются в третий раз, Луиза настораживается, в ней просыпается подозрение.

– Что ты все жужишь, как муха на стекле? Что ходишь вокруг да около?

– Мне нужно тебе кое-что рассказать, мама... Это касается Бернадетты...

– Что опять натворила Бернадетта? – встревоженно спрашивает мать.

– Ах, мама, она видела в гроте Массабель молодую даму, всю в белом, с поясом небесно-голубого цвета... И дама была босая, а на каждой стопе у нее по золотой розе...

– *Praoubo de jou!* – привычно восклицает Луиза. – Что ты мелешь, несчастная?

– Бернадетта сначала хотела перекреститься, но не смогла, а потом, когда дама ей позволила, смогла...

Мария вздыхает, как будто она не только не нарушила данного слова, но, напротив, выполнила тяжкую обязанность. В комнату возвращается Бернадетта. Мать накидывается на нее:

– Что ты там видела, ненормальная?

– Ты разболтала... Зачем ты разболтала? – спрашивает Бернадетта и долго, пристально глядит на сестру. В голосе ее, однако, не слышно упрека, скорее в нем звучит облегчение. Она делает два шажка к матери и растопыривает пальцы, как будто греет руки над огнем. Сердце у нее тает от радости, что теперь она может говорить о своей тайне.

– Да, мамочка, я видела красивую-раскрасивую даму в гроте Массабьель...

Эти восторженные слова – последняя капля, переполняющая чашу терпения до предела измученной женщины. После целого дня безнадежных усилий и разочарований она еще должна выслушивать этот бред от ни на что не годных бездельниц, которые столько времени проваландались невесть где. Больше всего ее возмущает яркий румянец на щеках Бернадетты. Это взволнованное лицо любящей, которая готова принести любые жертвы на алтарь своей любви, готова проявить строптивость и упрямство. Голос Луизы звучит так пронзительно, что к нему невольно прислушиваются в соседней квартире супруги Сажу.

– Что ты видела? Ничего ты не видела! Ты видела не красивую-раскрасивую даму, а обыкновенный белый камень... Вы видите красивых-раскрасивых дам, а я тут за вас надрываюсь, и никто не думает мне помочь. О Пресвятая Дева, какие же у меня негодные дети! Воруют свечи в церкви, сваливаются в дерьмо, ничего, ну ровно ничего не знают из катехизиса, а теперь еще видят красивых-раскрасивых дам... Ну, я вам покажу!

Она хватает гибкую палку, которой обычно выбивает подушки. Первый удар обрушивается на плечи Бернадетты. Мария пытается убежать и спрятаться. Это еще сильнее разъяряет мать. Луиза преследует младшую, пока не удастся огреть и ее. Мальчики также получают свою порцию, нельзя сказать, что совсем незаслуженно.

– Вот видишь! Теперь мама бьет меня по твоей милости! – вопит Мария.

Луиза бросает палку. Она забылась и потеряла над собой контроль. Устроила адский шум. Не подумала о том, что рядом спит больной муж. Но Франсуа проснулся еще до этого и давно уже встал с постели.

– Я все слышал, – говорит он.

Субиру – стройный высокий брюнет. Неудачи и душевная слабость лишили его всего, но только не благородства внешнего облика, не присущего ему скромного достоинства. Свой авторитет в глазах детей он сохраняет главным образом потому, что все карательные меры, все наказания и искупление грехов являются прерогативой более энергичной Луизы. Она использует мужа как последнюю высокую инстанцию, чьи решения сама тайно подсказывает и сама же осуществляет. Но на этот раз Субиру тяжелым шагом подходит к дочери и крепко хватает ее за воротник. Короткий сон помог ему погрузиться на самое дно мучительной унылой трезвости.

– Я все слышал, – повторяет он. – Ты опять принимаешься за давние глупости. Тебе уже четырнадцать лет, пойми! В таком возрасте другие не только зарабатывают себе на жизнь, но и помогают родителям. Ты видишь, каково наше положение. Я не могу вас прокормить баснями. А ты опять за свое, потчуетесь нас всякими выдумками. Мне это знакомо. Это желание поважничать, и ничего больше! Сочиняешь истории, хвастаешься своими невероятными приключениями, рассказываешь о босых дамах с золотыми розами на ногах. Доченька, куда это тебя заведет? Мы с твоей матерью приличные люди, прежде владели мельницей, но, Господу ведомо, мы всегда были скромны, всегда! Господу ведомо, что я берусь ради вас за самую тяжелую грязную работу. А кто видит в пещере прекрасных дам и рассказывает небылицы, тот не может принадлежать к приличным людям, его место среди ярмарочных паяцев, канатоходцев, испанских цыган и прочего сброда. Вот так, дочурка, и, если ты такая же, как они, убайрися отсюда к своим фокусникам и цыганам!

Субиру говорит внешне спокойно, его голос глубок и звучен. Это самая пространный воспитательная речь, которую Бернадетта когда-либо слышала от своего отца. Она смотрит на него с недоумением. Чего он от нее хочет? Ее взгляд тверд и одновременно апатичен. Она прижимает руки к груди.

– Но, папа, – говорит она, – я ведь ее действительно видела, эту даму...

Глава десятая

Бернадетте не позволено видеть даму во сне

За этой бурной домашней сценой вскоре последовали кой-какие скромные события, благодаря которым в судьбе семейства Субиру как будто бы наметился просвет. Дело в том, что тетюшка Сажу была добродушным существом. Пронзительный голос Луизы Субиру незадолго перед тем сильно ее испугал. Обычно они все такие тихие, эти Субиру, конечно, не считая мальчишек. Если уж урожденная Луиза Кастеро, которая так гордится своим происхождением, позволяет себе до такой степени распускаться, значит дело плохо. У мадам Сажу есть шкаф, в котором много чего припасено. Она открывает его со вздохом, не в силах противостоять собственной доброте. Но Господь велел быть милосердным! Она отрезает горбушку от огромного каравай хлеба и добавляет добрый кусок сала. Поскольку наслаждение можно испытывать не только от совершения добрых дел, но и от преодоления скупости, матушка Сажу кладет на тарелку еще шесть кружков сочной деревенской колбасы, по одному на каждого члена семейства. Прихватив эти щедрые дары, она стучится в тяжелую дверь кашо.

Матушка Субиру, стоящая у очага, роняет от изумления поварешку, и та падает в кипящую кастрюлю жидкой похлебки.

– О, дорогая кузина, – восклицает она, – вас поистине послала Пресвятая Дева, к которой я сегодня так усердно зывала...

Поскольку хворост сгорает слишком быстро, мадам Сажу, растроганная собственной добротой, вызывает на лестницу мужа и велит ему принести охапку сухих поленьев. Прежде чем послушный муж, столь неразговорчивый, что не дает себе труда противоречить своей старухе, короче, прежде чем дядюшка Сажу успевает выполнить этот приказ, на семейство Субиру сваливается новый сюрприз. Круазин Бугугорт посетила ее тетка, старая крестьянка из деревни Виже. Она ежегодно навещает в эту пору племянницу и привозит какой-нибудь подарок на Масленицу. На сей раз два десятка яиц. Едва за гостьей закрылась дверь, как мадам Бугугорт с корзиной яиц уже мчится прямо к Субиру. Она, как всегда, задыхается от спешки и не может перевести дух.

– Милая соседка, – говорит она, – вы доставите мне огромную радость, если примете эти яйца. Сегодня вы спасли моего сыночка от смерти...

Луизе Субиру не пристало долго ломаться. Ведь она и сама убеждена, что, если бы не ее растирания и встряхивания, малыш Бугугорт непременно отдал бы Богу душу. Она вытирает руки и со словами благодарности берет корзинку, уже обдумывая про себя, какой она соорудит роскошный омлет из десяти яиц, да еще с кусочками сала. При этой мысли у нее пробуждается такой дикий аппетит, что на глазах выступают слезы. Наконец-то их желудки получают настоящую пищу. Кто знает, может быть, ее дети сочиняют нелепые сказки про прекрасных дам лишь потому, что уже столько дней ходят голодными. Но закон совпадений говорит, что радость, как и беды, не приходит в одиночку, и после двух единовременных даров судьба посылает семейству Субиру гораздо более долговременную милость. На этот раз она является к ним в облике Луи Бурьета.

Бурьет – тоже поденщик, подобно Франсуа Субиру. Он был прежде каменотесом, как дядюшка Сажу, но не сумел достичь такого успеха и такого благополучия. Свою неудачу он связывает с тем, что однажды осколок камня повредил ему роговицу правого глаза, так что

он им теперь ничего не видит. Бурьет – полный самоуважения инвалид. «Я слепой, – повторяет он по двадцать раз на дню, – а что можно требовать от слепого?» Бурьет тоже получает время от времени работу у Казенава, тот использует его в качестве посыльного или разносчика писем. Казенав-то и прислал Бурьета к Субиру. А случилось вот что. От удара копытом сильно пострадал кучер Каскард, тот, что ездит с почтовой каретой в Тарб. Его должен заменить конюх Дутрелу. А на место этого конюха и запасного кучера почтмейстер решает нанять Субиру. Он имел случай убедиться, что бывший мельник хорошо управляется с лошадьми. За эту работу почтмейстер предлагает ему постоянное жалованье – два франка в день – и бесплатный обед. И если Субиру согласен, пусть заступит уже завтра в пять утра. Луиза молитвенно складывает руки. Франсуа, исполненный сдержанного достоинства, стоит как бы в раздумье, словно взвешивая все за и против этого неожиданного предложения.

– Между мною и Казенавом было договорено, – заявляет он наконец с чувством собственной гордости, – что он возьмет меня, как только у него освободится место. В конце концов, мы оба – старые вояки. Конечно, как хозяин мельницы я привык к совсем другой работе. Но если у тебя столько детей, то в наши дни выбирать не приходится. Завтра утром я буду на месте...

И он стирает пот со лба, который все же выступил, несмотря на его завидное самообладание. После чего подмигивает присутствующим. Его черты выражают хитрую удовлетворенность. В нем просыпается уроженец Южной Франции, типичный южанин с его благородными широкими жестами и хвастовством.

– Всех родственников и друзей, посетивших нас и засыпавших нас подарками, покорнейше просим оказать нам честь разделить с нами наш скромный ужин. Насколько я знаю свою женушку, будет грандиозный сочный омлет...

Все дружно протестуют. Луиза охотнее всего присоединилась бы к этим протестам. Ее легкомысленный супруг готов за один вечер потратить все яйца, которые семья могла бы растянуть на три дня. Но Луиза Субиру, как всегда, снисходительна к слабостям супруга. Как часто она идет у него на поводу, несмотря на предостережения собственного рассудка. Если бы не его широкие жесты и нерасчетливость, им не пришлось бы потерять ни мельницу в Боли, ни мельницу в Эскобе, ни последнюю – в Бандо. Сколько раз, чтобы продемонстрировать широту своей натуры, он выставлял вино и закуску самым скаредным клиентам. В результате все эти мужики и пекари, которые тридцать раз покрутят, прежде чем истратят монетку в одно су, почувствовали недоверие к расточительному мельнику. С легкомысленными транжирами дела не делают, их сторонятся. К сожалению, Луиза не только снисходительна к слабостям своего супруга, но и сама склонна ко многим из этих слабостей. Когда при малейшем намеке на удачу он мгновенно стряхивает с себя все несчастья и беды, как собака – капли дождя, когда он стоит, вот как сейчас, с видом победителя и, словно большой барин, приглашает всех к столу, что скрывать, ей нравится, несмотря ни на что, этот лихой парень, бывший мельничный подмастерье Франсуа, и она звонко хохочет даже после такого дня. (От кого, интересно, унаследовала Бернадетта пристрастие к рассказыванию сказок?) Отбросив всякие колебания, Луиза повторяет приглашение мужа в любезных и тактичных словах, ибо она, как известно, хорошо воспитана:

– Надеюсь, вы не обидите меня и не откажетесь от моего омлета. По крайней мере надо его попробовать. Нам, беднякам, тоже ведь иногда хочется хоть небольшого праздника...

Слово «попробовать» решает дело. Кто пробует, тот не стремится насытиться за чужой счет. Андре Сажу предлагает жене присоединить их ужин к ужину Субиру. Каменотес, чьи взрослые дети давно разлетелись из родительского гнезда, рад провести вечерок в компании, даже если это всего лишь обитатели кашо. Он приносит и ставит на стол большой кувшин вина. Между тем Луизин омлет начинает благоухать. Переворачивая его на сковороде, Луиза произносит про себя благодарственную молитву Пресвятой Деве, так как голод в ближайшие недели

им уже не грозит. Бурьет, счастливый вестник, хочет уйти, но Субиру удерживает его обеими руками. Взрослые – в тесноте, да не в обиде – рассаживаются вокруг стола. Изголодавшиеся дети теснятся на узкой скамейке в нише между окном и камином: Бернадетта рядом с Жюстеном, Мария рядом с Жаном Мари. Мать не может отказать себе в желании сначала дать еду детям: каждому его долю омлета, миску супа и кусок хлеба с колбасой. Тетушка Сажу раздает им стаканчики с темно-красным вином. Сегодня у них и вправду настоящая Масленица.

Сидящие за столом не слишком разговорчивы. Провинция Бигорр и пиренейские долины – бедные края. Здесь едят молча, сосредоточенно наслаждаясь самим процессом еды. Крестьяне из горных деревушек и городские бедняки боятся ослабить удовольствие и снизить питательную ценность ниспосланных им Божьих даров, если зададут слишком большую дополнительную работу языку. Поэтому беседа ограничивается обильными похвалами вкушаемой пищи.

После еды они еще часок проводят вместе. Мужчины с наслаждением курят самокрутки из листового табака, удушливый дым которых, смешиваясь с дымом от очага, заполняет всю комнату. Но к этому здесь привыкли. Только Бернадетте приходится раза два выбегать наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Разговор о политике не поднимается выше мелких, хотя и ожесточенных нападок на власти предержащие, вернее, на двух представителей этих властей в Лурде: мэра Лакаде и комиссара полиции Жакоме. Последний недавно известил жителей через полицейского Калле, что отныне дрова из общинного леса можно брать, лишь получив письменное разрешение мэрии. Самовольный сбор дров будет рассматриваться как воровство и караться согласно параграфу такому-то уголовного кодекса. Так из года в год петля на шее бедного человека затягивается все туже. Куда ушли прежние хорошие времена, когда все было свободно, доступно, дешево, а ручей Лапака еще не обмелел и исправно крутил мельничное колесо?

Луиза Субиру думает о том, что мужу завтра вставать в половине пятого. Она хочет, чтобы гости поскорее разошлись. В Пиренеях женщины после вечерней трапезы обычно еще молятся по четкам, чтобы достойным и благочестивым образом отметить завершение дня. Одна из женщин громко произносит слова молитвы, а другие вторят ей невнятным бормотанием. Луиза сама не знает, почему сегодня она поручает громкое чтение молитв Бернадетте. Бернадетта стоит на некотором расстоянии от других, у самой двери. Она послушно вынимает четки, те самые, что держала сегодня в протянутой руке и показывала прекрасной-распрекрасной даме. Бернадетта начинает монотонно читать первое «Ave». Ее слова сопровождает глухое бормотание женщин. Огонь в очаге вспыхивает ярче. Кроме очага, комнату освещает лишь сосновая лучина, которую принесла тетушка Сажу. Молитва следует за молитвой. После того как чтение молитв закончено, Луиза Субиру еще шепчет, как бы в заключение: «О Непорочная Мария, моли за нас Господа, ибо на Тебя уповаем».

При словах «Непорочная Мария» Бернадетту начинает пошатывать, и она вынуждена опереться на дверь, чтобы не упасть. Лицо ее вдруг делается таким же смертельно бледным, каким его видели сегодня Жанна Абади и Мария на берегу ручья.

– Бернадетта сейчас упадет в обморок, – испуганно восклицает Круазин Бугугорт.

Взгляды всех присутствующих обращаются к девочке.

– Тебе плохо, Бернадетта? – спрашивает тетушка Сажу. – Быстренько выпей еще вина...

Бернадетта отрицательно качает головой. Запинаясь, она бормочет:

– Нет, вовсе нет... Мне не плохо... это ничего...

И тут получается, что испуганная мать как бы против воли выбалтывает то, за что некоторое время назад побила дочерей.

– Ох уж эта Бернадетта... – вздыхает она. – И все потому, что сегодня она видела какую-то распрекрасную даму, всю в белом, и где бы вы думали – в гроте Массабель...

– Замолчи! – раздраженно прерывает ее Франсуа Субиру. – Это же чистый бред... Просто у Бернадетты неважно с сердцем, мы ведь ее показывали доктору Дозу, к тому же она плохо переносит дым, а здесь полно дыма днем и ночью. Нам нужна новая вытяжная труба для камина, дорогой Андре...

Час спустя супруги Сажу, она – повязав голову платком, он – нахлобучив колпак с кисточкой, лежат, готовые ко сну, на своей широкой супружеской кровати.

– Что там рассказывала Субиру о Бернадетте и молодой даме? – сонно спрашивает муж.

– Бернадетта видела какую-то распрекрасную молодую даму, всю в белом, в гроте Массабьель, – отвечает жена, которая все точно запомнила.

– Кто бы это мог быть? – размышляет Сажу. – Какие у нас вообще есть распрекрасные дамы? Дочери Лафита сейчас не в Лурде... Разве кто-нибудь из Сенаков или Лакрампов... Вероятнее всего, это шутка, кто-то надел карнавальные платье...

На этот раз хранит молчание мадам Сажу. Она не отвечает, возможно, она уже спит. Дядюшка Сажу зевает и заканчивает свои размышления следующим мрачным пророчеством:

– Помяни мое слово, Бернадетта долго не протянет. Я уже вижу, как ее выносят из кашо в гробу...

Госпожа Сажу, однако, решает завтра же обсудить со своими приятельницами, какую это даму могла видеть Бернадетта в гроте Массабьель. Такие же мысли бродят в голове Круазин Бугугорт, в то время как она испуганно склоняется над спящим сынишкой.

Итак, круг этого дня – одиннадцатого февраля – замкнулся. В дымной атмосфере кашо слышится дружное посапывание всех Субиру под энергичным предводительством отца семейства. Огонь в очаге получил сегодня обильную пищу, отбрасываемые им блики и тени без устали пляшут на стенах. Бернадетта не спит и пристально смотрит на эти пустые стены. Но сегодня она не видит, как обычно, в этих бликах ни лиц, ни фигур. Как будто встреча с дамой парализовала ее пугливое воображение. Она все больше сжимается в комочек на узком пространстве кровати, чтобы только не прикоснуться к телу сестры. То отвращение к телесному, что впервые возникло в ней перед встречей с обожаемой дамой и не вполне прошло после того, как дама исчезла, заставляет ее каждый раз содрогаться, когда ее рука или нога случайно касается Марии, которая жарко дышит во сне, горячая, как молодой зверек. Еще удивительнее, что собственное худое тело также внушает ей ужас. Она существует как бы отдельно от своего тела. Оно словно бы лежит рядом с ней, как нечто чужое, принадлежащее ей не больше, чем тело Марии.

Что же с ней произошло? Она не знает. Но то, что с ней случилось нечто очень важное, чреватое серьезными последствиями, она знает. И это давит на нее сверху и со всех сторон, как неотвратимое чувство долга, от которого нельзя уклониться, который превышает ее слабые силы, долга, которого она не искала, но от выполнения которого ей не уйти. Чтобы не ощущать этого мучительного давления, Бернадетта напрягает всю силу своего воображения, устремляя его на даму. Она плотно сжимает веки, стараясь оживить внутри себя ее безмерное очарование и восстановить ее облик во всех мельчайших подробностях. Вновь увидеть белизну платья, пронзительную голубизну пояса, матовое свечение шеи, своевольные локоны, выбивающиеся из-под драгоценной фаты. Ясную дружескую улыбку, исполненную столь беспредельного понимания. Бескровный восковой блеск белых ножек с золотыми розами...

Но всякий раз, когда Бернадетте кажется, что образ дамы к ней приближается, что сейчас она сумеет его удержать, черный водоворот подхватывает ее и низвергает в пустоту. Но, может, ей будет дозволено увидеть даму во сне. Она прилагает невероятные усилия, пытаясь заснуть. Старается думать совсем о других вещах. Вспоминает деревню Бартрес. Вызывает в памяти все предметы крестьянского быта в доме, где она так долго жила: деревянную кровать, на которой рождались все Лагесы, детскую колыбельку, прятку. Мысленно пересчитывает оловянную посуду на полке, называет животных, прикорнувших у очага, теми кличками, которые сама им

дала. Окликает собаку, которую она так любила и которая давно уже сдохла. Бернадетта вспоминает ивы на берегу ручья и дальние холмы Оренкля под снегом, под дождем, в солнечном свете. Она собирает все воспоминания, живущие в ее маленькой головке. Иногда ее одолевает сон, но не более чем на несколько минут. Затем она пробуждается и осознает, что ей ничего не снилось. Дама не приходит в ее сны. Она словно хочет доказать (чтобы ее ни с кем и ни с чем не спутали), что ее природа совершенно иная, чем природа снов. Время уже близится к одиннадцати, когда Мария вдруг просыпается оттого, что ее рука касается мокрого места на подушке. Она поворачивается к сестре и сразу понимает причину.

– Мамочка... мамочка... – шепчет она боязливо и призывно, стараясь привлечь внимание спящей.

У Луизы Субиру чуткий сон матери. Она поднимает голову:

– Что такое?.. Кто меня зовет?..

– Мамочка, Бернадетта плачет...

– Что ты говоришь?.. Бернадетта плачет?..

Громкий шепот Марии растягивает слова:

– Ах, мамочка, она та-ак плачет... Вся подушка мокрая...

Луиза осторожно выскальзывает из-под одеяла и встает на пол. Она спешит к кровати девочек и ощупывает лицо Бернадетты.

– Маленькая моя, тебе трудно дышать?..

Бернадетта прижимает кулаки к глазам и трясет головой. Мать пытается ее успокоить:

– Ничего, маленькая, иди ко мне, мы немного поболтаем...

Она подбрасывает в гаснущий очаг хворост и две толстые ветки. Придвигает стул поближе к огню. Бернадетта стоит перед ней на коленях, уткнувши лицо в материнский подол. Она явно ищет помощи. Луиза долго, без слов, гладит ее волосы. Затем наклоняется к лицу дочери.

– Тебе страшно, малышка?

Бернадетта несколько раз энергично кивает.

– Ты боишься той дамы из грота Массабьель?

Бернадетта так же энергично качает головой.

– Теперь ты видишь, что все это пустые грезы...

Бернадетта поднимает залитое слезами лицо, испуганно смотрит на мать и еще сильнее качает головой.

Сердце Луизы Субиру сжимается от тревоги за дочь.

– Бедная моя дочурка, мне все это знакомо, я тоже была девочкой... Девочки в твоём возрасте часто видят вещи, которых нет... Забудь об этом, и все пройдет! Жизнь слишком тяжела, малышка, чтобы придавать значение таким историям. Ты уже большая, скоро станешь женщиной, через год или два, быть может, найдешь себе мужа и у тебя самой будут дети, как у меня... Все в жизни так быстро проходит, ты и представить себе не можешь, как быстро все проходит!

Бернадетта еще глубже зарывается лицом в подол матери и не отвечает. Луиза Субиру, несмотря на свои разумные успокоительные слова, твердо решает завтра на исповеди рассказать историю о даме в гроте Массабьель аббату Помьяну, аббату Пену или отцу Санпе и выслушать их суждение.

Часть вторая Будьте так добры

Глава одиннадцатая Камень летит вниз

В школе, состоящей под покровительством монахинь из Невера, имеется компания из семи-восьми девочек, группирующаяся вокруг умной и энергичной Жанны Абади и почти всецело находящаяся под ее влиянием. К этой компании принадлежат рыжеволосая Аннет, дочь секретаря мэрии Куррежа, затем Катрин Манго, та самая, которую Гиацинт де Лафит назвал «нимфой этого поганого захолустья», и, наконец, Мадлен Илло, бледненькая, веснушчатая, длинноногая и длиннорукая девчушка, обладающая тоненьким, но очень красивым голосом, вследствие чего ее привлекают для исполнения сольных партий на всевозможных светских и церковных торжествах. Сегодня Абади явилась в класс самой первой. Когда вокруг нее постепенно собралась ее свита, она подмигивает девочкам с хитрым заговорщицким видом:

– Если бы вы только знали, мои милые, что было вчера, вы бы посходили с ума... Но я не должна вам рассказывать...

– Зачем ты тогда разжигаешь наше любопытство? – спрашивает рассудительная Катрин. – Может быть, с тобой кто-то заговорил на улице?

– Речь вовсе не обо мне, а о Бернадетте Субиру...

– Что могло приключиться с Бернадеттой, с этой недотепой? – пожимает плечами Катрин. Жанна Абади подвергает подруг утонченной пытке:

– Я дала Бернадетте слово ничего не говорить. Правда, я не поклялась. Настолько-то у меня ума хватило...

– Раз ты не поклялась... – приходит ей на помощь Аннет Курреж.

– Да, раз ты все же не поклялась... – подхватывает хор девочек, усиливая выразительность мелодии.

– Да, раз ты не поклялась, – выносит вердикт Мадлен Илло, – то не будет никакого греха...

Абади понижает голос до пронзительного шепота:

– Ладно, тогда подойдите поближе, чтобы никто не услышал... Бернадетта видела вчера в гроте Массабьель красивую молодую даму, всю в белом, с голубым поясом. И дама была босая, а на ногах у нее были золотые розы... Мы собирали хворост, Мария Субиру и я, а когда вернулись, Бернадетта стояла возле ручья на коленях, не слышала, как мы ее звали, и выглядела очень странно...

– А вы сами дамы не видели? – спрашивают, перебивая друг друга, девочки.

– Мы с Марией даже не знали, что она там, когда собирали хворост...

– Золотые розы на ногах... подумать только!.. А кто она может быть, эта молодая дама?

– Пресвятая Дева, если бы я знала! Я полночи ломала над этим голову...

– Может, Бернадетта тебя разыграла, – задумчиво предполагает Катрин Манго. Но рыжеволосая дочка секретаря мэрии презрительно отмахивается:

– Что ты, для этого Бернадетта слишком глупа.

– Нет, Бернадетта не лгала, – размышляет Жанна Абади, – и мы должны поточнее узнать, что все это значит.

Жадные до сенсаций девочки горячо приветствуют предложение Жанны. Решено: они все вместе отправятся в Массабьель, чтобы поискать там загадочную босую даму.

– Но будет ли она еще там, когда мы придем? – спрашивает Туанет Газала, дочь свечного мастера.

– Если Бернадетта что-то видела, то и мы увидим, – рассуждает Катрин Манго. – Глаза у нас не хуже, чем у нее...

Жанна Абади молча о чем-то размышляет и затем выносит решение.

– Она должна пойти с нами, – заявляет Абади, – без нее дама может не появиться.

Когда Бернадетта и Мария, на этот раз необычно поздно, входят в класс, девочки из компании Жанны окружают их и засыпают вопросами:

– Так что там было с этой дамой?.. Расскажи, опиши ее поподробней... Где она стояла?.. Как ты ее заметила?.. Она тебя позвала?.. Она двигалась?..

Бернадетта заглядывает в глаза Жанны Абади:

– Жанна, зачем ты все рассказала?

Но в ее голосе, как и вчера, звучит скорее облегчение, чем упрек. Теперь уже довольно много людей знают о даме, которая, собственно, принадлежит ей одной: Мария, Жанна, родители, дядюшка и тетюшка Сажу, мадам Бугугорт, дядюшка Бурьет, а сейчас еще и эта свора девчонок, которые болтают о даме с таким любопытством, как будто во всем этом нет ничего особенного и дама – самая обыкновенная дама в мире. Бернадетту с самого начала одолевают противоречивые чувства. С одной стороны, ей хотелось бы, чтобы дама была только ее, теперь и всегда, до последнего ее вздоха, и чтобы ей, Бернадетте, ни с кем не нужно было делиться этой прекрасной ошеломительной тайной. С другой стороны, ей хотелось бы громко кричать о своей тайне всем, кого она знает, чтобы все люди смогли узреть этот пленительный лик и испытать при этом такое же наслаждение, как и она сама. И это ее второе желание было, возможно, даже сильнее первого.

– Я все рассказала, – оправдывается Жанна Абади, – потому что я вчера не поклялась и потому что все это очень важно. Мы все хотим пойти завтра к гроту Массабьель и посмотреть на даму...

– Как ты думаешь, мы ее увидим? – спрашивает Мадлен Илло.

– Возможно, увидите, – говорит Бернадетта. – Но точно я не знаю.

Абади пристально смотрит на Бернадетту:

– Ты ведь пойдешь с нами к Массабьелю?

Бернадетта опускает голову и молчит.

– Дама что-нибудь тебе говорила? – допытывается Катрин Манго.

Бернадетта отвечает, не поднимая глаз:

– Нет, ни слова не говорила... Но она была такая красивая, что красивее не бывает...

– Если она такая красивая, – с сомнением произносит Мадлен Илло, веснушчатая солистка, – то, возможно, она послана к нам не силами Добра...

– Вот об этом я и думала всю ночь, – заявляет осмотрительная Жанна. – Вполне вероятно, что дама представляет силы Зла. Я подумала, что в воскресенье после службы надо взять из церкви бутылочку со святой водой. И если дама на месте, Бернадетта должна опрыскать ее святой водой и сказать: «Если вас послал Бог, мадам, подойдите ближе. А если вы посланы сатаной, мадам, убирайтесь прочь!..» Так всегда говорят... Думаю, это разумное предложение, так мы узнаем правду.

– Ой, прямо мороз по коже дерет, – говорит Аннет Курреж. – А может, дама не послана ни Богом, ни сатаной, а просто настоящая дама...

– О да, она совершенно настоящая! – страстно заверяет Бернадетта.

– Ну вот, весь утиный садок в сборе, – раздается голос незаметно вошедшей учительницы. – И все внимают мудрым высказываниям нашей высокоученой Бернадетты...

Воскресенье. Глухие колокола маленького городка уже разнесли над крышами и холмами весть о пресуществлении хлеба и вина в тело и кровь Спасителя. Литургия близится к

концу. Бернадетта и Мария Субиру вместе со всем классом под предводительством Вону присутствуют в церкви. Франсуа Субиру до полудня трудится в конюшнях Казенава. Жан Мари и Жюстен вымолили разрешение побегать по улицам, а Луиза Субиру сидит одна в кашо и наконец-то отдыхает – просто сидит и вяжет чулок. Она отстояла мессу в семь утра. Не любит она присутствовать на литургии, куда приходит «чистая публика» – люди хорошо одетые и хорошо отдохнувшие. Самой ей нечего надеть в церковь, поэтому она принадлежит к самым низам общества и вынуждена ходить в полутемную утреннюю церковь, где служит тихую мессу один из капелланов: Помьян, Пен или Санпе. Отказ от литургии – акт самоотречения со стороны Луизы Субиру, так как торжественная литургия не просто богослужение, но и праздничное действо, необходимая разрядка после изматывающего однообразия будней. Мощные звуки органа согревают душу лучше любого камина. Люди встречаются, здороваются, приветствуют друг друга кивками и улыбками. Декан Перамаль – превосходный пастырь, и, когда после чтения Евангелия он обращается к прихожанам с проповедью, его звучный бас проникает в самое сердце. Но главная причина, почему Луиза Субиру отказывается от торжественной литургии, состоит в том, что ей не хочется встречаться в церкви со своими состоятельными сестрами. Бернарда Кастеро, вдовствующая Тарбе, считающаяся семейным оракулом, и Люсиль, несчастная старая дева, – обе имеют возможность прилично одеться в церковь. Луиза слишком горда, чтобы выступать на их фоне в роли заблудшей овцы и позора собственного семейства, быть «урожденной Кастеро», которая, к своему стыду, вытянула столь несчастливый жребий. Она питает к Бернарде, своей старшей сестре, почтительное уважение, но в то же время мадам Тарбе постоянно ее раздражает.

Однако сегодня, в это благословенное утро, Луиза ощущает истинное наслаждение от полного одиночества и покоя, оттого, что не докучают сыновья и не дергают дочери, что не надо беспокоиться о муже, который не сидит сейчас ни у папаши Бабу, ни в другом подобном заведении, но занят честным трудом «служащего почтового ведомства», как он сам себя называет. Казенав выдал им десять франков в качестве аванса. Самые срочные долги уплачены. После долгих недель воздержания в доме наконец появился добрый кусок говядины. «Мясо в горшочке» с хорошими овощами и маленькими луковками уже начинает распространять по комнате свой упоительный, щекочуший ноздри аромат.

Душа Луизы Субиру со вчерашнего дня также пребывает в блаженном покое. Вчера на исповеди она обратилась за советом к отцу Санпе. Честно говоря, она была сильно встревожена этой историей с Бернадеттой и таинственной дамой. Как следует относиться к таким странным вещам? Но отец Санпе, человек большого ума, даже не зная Бернадетты, сказал ей с добродушной улыбкой: «Дочь моя, это лишь безобидные детские выдумки, и взрослый человек не должен принимать их всерьез». Тем не менее она вновь пугается, когда через полчаса в кашо вваливаются ее дочери с целой ватагой девчонок и просят, чтобы она разрешила Бернадетте отвести их всех к Массабьелю поглядеть на распрекрасную даму.

– Вы что, совсем рехнулись? – злобно взрывается Луиза. – Бернадетта никуда не пойдет...

– Но, мадам, – приседает в вежливом книксене Жанна Абади, воплощенная рассудительность, – мы только хотим выяснить, существует ли эта пресловутая дама на самом деле...

При этих словах Луизу Субиру осеняет мысль, кажушаяся ей удачной. Все это дело, по мнению священника, детская выдумка, которую взрослый человек не должен принимать всерьез. В гроте эти желторотые девчонки, естественно, ничего не увидят и хорошенько высмеют Бернадетту. Бернадетте станет стыдно, и она поневоле излечится от своих фантазий. Но мать не желает отменять запрет слишком быстро и дает девочкам возможность еще некоторое время поклониться. После чего применяет испытанный метод воспитания, обращаясь к незыблемому авторитету отца:

– Ладно, если у вас нет на воскресенье лучшего развлечения, то, по мне, можете тащиться к Массабьелю, если разрешит отец. Бернадетта должна спросить у него. Я только мать. Решающее слово за ним...

Чтобы не терять времени, вся компания бегом бросается на почтовую станцию. По-воскресному чинно прогуливающиеся супружеские пары удивленно глядят вслед бегущим девчонкам, явно задумавшим какую-то развеселую шалость. На большом дворе почтовой станции несколько мужчин стоят возле кобылы, печально понутившей голову. Это Казенав – как всегда, в кавалерийских сапогах и военной фуражке, – бывший конюх Дутрелу, ныне возведенный в ранг кучера почтовой кареты, затем кузнец и, наконец, Субиру, только что приведший лошадь из конюшни. Кузнец, он же конский лекарь, внимательно осматривает спину клячи, находит потертость от хомута и уже готов извлечь из своей сумки склянку с мазью, когда во двор бегают запыхавшиеся девчонки. Вместе с сестрами Субиру их девять. Вперед выходит Жанна Абади и в ясных, толковых словах излагает их общую просьбу к Субиру, тем самым ставя в известность об этом странном, требующем расследования происшествии ничего не знавших о нем Казенава, Дутрелу и кузнеца. Субиру охотно зажал бы Жанне рот. Он ощущает неловкость и гнев, не знает, куда деваться от стыда. Он чувствует себя опозоренным в глазах Казенава и других мужчин этой нелепой историей с Бернадеттиной дамой. Теперь, когда он получил должность и твердый заработок, когда взошел, так сказать, на первую ступень буржуазного благополучия, именно теперь является его собственная дочь и своими двусмысленными, вздорными, раздражающими глупостями губит его только что приобретенную репутацию почтенного обывателя. Субиру хмурит лоб и, не обращая внимания на присутствующих девочек, сердито кричит на дочерей:

– Нечего вам там делать! Немедленно возвращайтесь домой! И чтобы я об этом больше не слышал!

– Ну-ну, старина, зачем так сурово! – смеется Казенав. – Почему ты хочешь испортить воскресное удовольствие этим милым крошкам? Что здесь плохого? Дети есть дети: пусть ищут свою даму, где хотят...

Жанна и ее подруги хором возобновляют просьбу. Молчит одна Бернадетта.

– Что твоя дама держала в руках? – спрашивает Казенав Бернадетту. – Если я не ослышался, четки?

– Да, сударь, очень длинные четки из больших белых жемчужин...

– Вот видишь, Субиру, – продолжает развлекаться почтмейстер. – Если дама носит при себе четки, как все порядочные лурдские дамы, ты можешь спокойно отпустить к ней свою дочурку...

Вмешательство хозяина заставляет Субиру сдаться. Тут уж ничего не поделаешь.

– Но чтобы через полчаса вернулись назад! – приказывает он.

– Это невозможно, месье Субиру, – резонно замечает Жанна Абади. – Слишком длинная дорога...

Добитый и вынужденный отступить отец семейства хмуро ворчит:

– С обедом никого ждать не будут...

Девочки срываются с места и пропадают из глаз, как стая куропаток. Кузнец смазывает большое место на спине кобылы целебной черной мазью. Через несколько минут Субиру уходит заболевшую лошадь обратно в конюшню. Подстилая ей свежей соломы, он, к своему удивлению, замечает, что на глазах у него слезы. Он сам не знает, что вызвало эти слезы: то ли его поражение как отца, то ли глухое предчувствие надвигающейся беды.

На Старом мосту между девочками завязывается спор. Жанна Абади предлагает более короткий путь через остров Шале, чтобы затем перейти на другой берег ручья по мосткам у мельницы Николо.

– Но уже два дня непрерывно идет то снег, то дождь, – замечает Бернадетта. – Шлюз, наверно, открыт, а мостки залиты водой. Лучше уже через гору...

– Ого, – насмехается Абади. – Яйцо учит курицу... Я думаю, на меня ты можешь положиться...

Но Бернадетта стоит на своем. В результате образуются две партии. Большинство, естественно, поддерживает Жанну Абади, свою командиршу. На стороне Бернадетты остаются только Мария, Мадлен Илло и Туанет Газала. За мостом пути девочек расходятся.

– Посмотрим, кто придет раньше! – кричит честолюбивая, самоуверенная Жанна враждебной четверке, удаляющейся в сторону горы.

Бернадетта идет впереди, она просто летит, не чуя под собой ног, так что ее спутницы едва могут за ней угнаться. Как будто какой-то вихрь подхватил ее и несет к Массабьелю. Обычно быстрая ходьба сразу же вызывает у нее одышку. Но сегодня она и думать забыла о своей астме. Мария пытается ее удержать. Но Бернадетта ничего не слышит. Она несколько не сомневается, что дама ее ждет, что она все так же стоит босиком на скале у самого края ниши. Быть может, она уже теряет терпение из-за того, что Бернадетта так долго не приходит. Быть может, она страдает от холода и сырости. Клубы густого тумана заполняют долины. Бернадетта беспокоится о физическом и душевном самочувствии дамы. В то же время ей все равно, допустит ли Бесконечно Любимая, чтобы ее увидели другие девочки, или не допустит. У Бернадетты нет ни малейшего желания убеждать кого-либо в реальном существовании своей дамы. Для нее не существует большей реальности. Девочки пыхтят и перекликаются за ее спиной. Она же ощущает себя бесконечно одинокой, как человек, переполненный всепоглощающей любовью. Вот она уже спешит по обрывистой тропке Трущобной горы. Вот самое опасное место, когда тропа проходит у верхнего края грота. Полуприкрыв глаза, девочка прыгает с камня на камень и чуть ли не парит в воздухе. Последний отчаянный прыжок – и она внизу. На каменной осыпи у подножия грота она на минуту застывает, делает глубокий вздох, прижимает руку к сердцу и собирается с силами. Затем поднимает глаза к нише...

Три девочки, с трудом преодолевающие последний крутой спуск, слышат ее крик:

– Она здесь!.. Она взаправду здесь!..

Они находят Бернадетту с закинутой назад головой и широко раскрытыми глазами, неотступно глядящими в пустой овал ниши, в то время как губы ее непрерывно шепчут:

– Она здесь... Она здесь... Она здесь...

Девочки подходят к ней вплотную, у них перехватывает дыхание, они тоже шепчут:

– Где она?.. Где ты ее видишь?..

– Там, наверху... Она пришла... Разве вы не видите, что она с нами здороваается?

Бернадетта, как и подобает школьнице, несколько раз усердно и робко кланяется в сторону ниши.

– Я вижу там только черную дыру, – говорит Туанет Газала. – За дырой сплошной камень. Оттуда никто не может выйти...

– А я вообще ничего не вижу, – говорит Мария, напрягая глаза и часто моргая.

– Она вас видит, она вас видит, – шепчет Бернадетта. – Она кивнула, она вас приветствует. Вы должны ей ответить...

– Может, подойдем поближе? – шепотом спрашивает Мария.

Бернадетта в ужасе всплескивает руками:

– Нет, нет, ни в коем случае! Бога ради, не подходите ни на шаг!

Осчастливленная чувствует, что она и так чрезмерно приблизилась к Дарующей Счастье, ибо сегодня все выглядит совершенно иначе, чем в первый раз. Тогда между ней и дамой было солидное расстояние, их разделяла вся ширина ручья. Но временами это расстояние сокращалось, дама как бы приближалась и преподносила, дарила Избраннице свой прекрасный лик. Сегодня дама так близко, что до нее почти можно дотронуться. Бернадетте достаточно было

бы взобраться на один из больших камней у стены грота и протянуть руку, и она бы коснулась босых ног дамы и золотых роз. Но она не двигается с места, она боится, что ее неловкое, назойливое присутствие может быть даме в тягость. К величайшему удовольствию девочки, дама не поменяла своего наряда, хотя у такой знатной особы, несомненно, должен быть неистощимый гардероб. Нездешний белоснежный бархат мягкими складками облегает стройный стан дамы. Прозрачная фата ниспадает с ее плеч. Радостно видеть, как легкий ветерок колышет эту фату. Дама выглядит как вечная невеста, все еще стоящая перед алтарем, так как она не снимает фаты. Но как странно, что представшая в полном блеске дама не выказывает ни малейшего неудовольствия оттого, что Бернадетта пришла к ней не одна, а в сопровождении глупо шушукających девчонок. Складывается впечатление, что дама находит даже похвальным, что Бернадетта не держала рот на замке. Во всяком случае, общество, в котором она оказалась, несколько ее не смущает, и она время от времени бросает Марии, Мадлен и Туанет ласковые, ободряющие взгляды. Бернадетта слышит позади себя шепот Мадлен:

– Теперь возьми бутылочку со святой водой, окропи ее и скажи всё, как условились...

И в руке у Бернадетты появляется бутылочка со святой водой, которую Мадлен Илло наполнила из церковной чаши. Скорее из-за неспособности противостоять девочкам, чем по собственному желанию, она делает все, что сказано. Взмахивает откупоренной бутылочкой, так что брызги летят куда-то вверх, в направлении ниши, и робко, без всякого выражения бубнит:

– Если вас послал Бог, мадам, то, пожалуйста, подойдите ближе...

Но, сказав это, Бернадетта испуганно замолкает. Она ни за что на свете не смогла бы заставить себя произнести вторую половину фразы с упоминанием сатаны и с ужасной концовкой: «Убирайтесь прочь!» Но дама, как видно, совсем на нее не рассердилась. Кажется, формула заклęcia ее даже позабавила, так как ее улыбка почти переходит в искренний задумчивый смех. И – о чудо! – она повинуетя заклчанию. Во всяком случае, дама выходит из овала ниши, делая своими первозданными ножками шаг вперед. Кто-нибудь более тяжелый обязательно потерял бы при этом равновесие. Но дама стоит, широко раскинув руки, как для объятия. Бернадетта чувствует, что опять погружается в это сладостное блаженное состояние, что ей хорошо, безгранично хорошо, ее охватывает непобедимая сонливость, пробуждение от которой будет пробуждением в неприятном, чуждом ей мире. Она заранее страшится этого пробуждения и безвольно падает на колени.

В этот миг на опасной тропе у верхнего края грота появляется наконец Жанна Абади со своими пятью спутницами. Цепляясь за куст, Жанна нагибается и смотрит вниз, пытаясь разглядеть, что делают девочки из другой группы. На этот раз Жанна проиграла. Как и предсказывала Бернадетта, мельничные мостки были залиты водой, и пройти по ним было невозможно. Девочкам пришлось вернуться и пойти по следам своих более удачливых соперниц. Жанна в ярости оттого, что Бернадетта оказалась права. Хоть Жанна и слывет подругой сестер Субиру, она согласна дружить с ними лишь при условии, что может смотреть на них сверху вниз, как умная на дурочек, как ловкая и сметливая на беспомощных и невезучих простушек; короче, Жанна согласна дружить с ними только из жалости. С четверга эти отношения совершенно переменялись. Бернадетта ускользнула, вышла из-под ее власти. Честолюбивая воля Жанны ей больше не указ. А теперь еще снизу доносится сладкий голосок Мадлен Илло, распеваящий одно «Ave» за другим, не иначе, как по велению Бернадетты. Жанной овладевает такая жажда мести, такое отчаяние, каких она прежде не знала. Она полностью теряет контроль над собой, не сознает, что делает.

– Ну вы у меня сейчас испугаетесь! – визжит она и, схватив круглый камень, величиной и формой напоминающий человеческий череп, швыряет его вниз. Камень обрушивается на осыпь в опасной близости от стоящей на коленях Бернадетты, лишь чудом не задев ее головы. Девочки внизу испуганно вскрикивают. Только Бернадетта по-прежнему стоит неподвижно, будто и не заметив упавшего камня.

– Тебя не задело, ты цела? – вопит Мария и изо всех сил трясет Бернадетту, но ответа не получает. Только сейчас, когда девочки вскочили на ноги и посмотрели на коленопреклоненную спереди, они заметили, что лицо Бернадетты странным образом изменилось, что это уже не лицо Бернадетты Субиру. Оно сохранило прежнюю округлую форму, гладкий лоб, мягкий, полуоткрытый рот, однако кто-то чужой, не сестра Марии Субиру, глядит из этих ненасытных глаз, неотрывно глядит на нишу. Чтобы ни на кратчайший миг не потерять того, что видят, эти глаза утратили способность мигать. Зрачки сильно расширились и стали еще темнее прежнего, а белизна глазного яблока, напротив, кажется ослепительной. Кожа на лице сильно натянута, так что резко выступают скулы и височные кости. Это уже не лицо ребенка и даже не лицо молодой женщины, скорее это лик блаженной страдальцы, на котором в ее смертный час запечатлелись все скорби мира. При этом выражение лица вовсе не страдальческое, а скорее вдохновенное и отмеченное печатью избранности. Но особенно пугает Марию, что лицо сестры вновь стало мертвенно-бледным, без кровинки, зато обрело новую пугающую красоту.

– Камень убил мою сестру! – пронзительно кричит Мария Жанне Абади, которая наконец спустилась к гроту вместе со своими спутницами. Девочки, горестно причитая, окружают Бернадетту, но держатся поодаль от бесчувственной, никто не осмеливается подойти вплотную и коснуться ее.

– Ничего страшного, – выдавливает из себя побледневшая Жанна. – Во всем виновата дама. Принесите водички, она сразу придет в себя...

Но, несмотря на то что Бернадетту энергично обрызгивают водой из ручья Сави, странное состояние отрешенности у нее не проходит. Девочки совсем потеряли голову. Они мечутся и кричат, как безумные. «Мама, мамочка!» – рыдает Мария и бросается бежать, чтобы поскорее известить мать. Жанна Абади и Катрин Манго мчатся за помощью на мельницу Николо. Другие пытаются разговорить Бернадетту, не рискуя, однако, подходить слишком близко. Ее вид, ее состояние внушают им страх. Мимо проходят две тяжело нагруженные крестьянки из Аспен-лез-Англь, останавливаются возле девочек и, качая головой, смотрят на Бернадетту; из отрывистых реплик и восклицаний они узнают историю про Бернадетту и даму. Господи, откуда же могла взяться эта дама? Они недоуменно переглядываются, их большие глаза серьезны и печальны.

Наконец, наконец-то приходят матушка Николо и мельник Антуан. Старая Николо, прослышав про обморочное состояние девочки, принесла с собой нарезанный лук и сует его Бернадетте под нос. Бернадетта чуть отворачивает голову, не изменив направления взгляда. Антуан в свою очередь наклоняется над коленопреклоненной, ему кажется, что она погружена в молитву.

– Вставай, Бернадетта! – ласково уговаривает он девочку. – Хватит, пора домой!

Не получив ответа, он пытается прикрыть своей большой ладонью глаза девочки. Но его грубая рабочая ладонь скорее закроет свет лампы, чем помешает глядеть этим чистым ясным глазам. Тогда Антуан решительно подхватывает Бернадетту на руки и несет к своему дому. На протяжении всего пути на ее лице сохраняется застывшая улыбка, которая сквозь добродушное лицо мельника все еще обращена к даме. Антуан с Бернадеттой на руках, следующие за ним взволнованные девочки, крестьянки со своей ношей и семенящая позади всех старая мельничиха – эта странная процессия привлекает внимание многих людей, совершающих поблизости воскресную прогулку. И прежде, чем эта процессия успевает достичь мельницы, к ней присоединяется порядочная толпа. Люди задают вопросы, выслушивают ответы, удивляются, спорят. Некоторые смеются. Быстро возникает приговор: малышка Субиру лишилась рассудка. Антуан вносит Бернадетту в комнату и сажает в большое кресло, придвинутое к самому огню. Комната наполняется чужими людьми. Матушка Николо приносит деревянную чашку с молоком, чтобы подкрепить Бернадетту – предполагается, что девочка упала в обморок от упадка сил. Но на самом деле состояние Бернадетты не имеет ничего общего с обмороком. Ее сознание не угасло,

оно лишь с такой нечеловеческой силой сосредоточилось на красоте дамы, что все остальное отступило и воспринимается ею как отдаленный и совершенно безразличный ей шум.

Она приходит в себя не постепенно, а сразу, в один миг. Как будто возвышенный женский лик, на котором отпечатались все скорби мира, пожирается внезапным невидимым огнем и вместо него появляется всем знакомое детское лицо Бернадетты, наивное, немного туповатое, с апатичным взглядом.

– Большое спасибо, мадам, – спокойно говорит она матушке Николо, отклоняя чашку с молоком. – Мне ничего не нужно...

Теперь ее засыпают вопросами:

– Что с тобой было?.. Что произошло?.. Что ты видела?..

– Да ничего, – довольно равнодушно отвечает она. – Только дама сегодня долго была здесь...

Это «да ничего» в сочетании с «только» отражает развитие отношений между Бернадеттой и дамой. Отношения стали достаточно близкими и уже не новыми. Первый порыв восторга, охвативший все существо девочки, сменили прочные узы преданности и любви, постоянная готовность к самопожертвованию. Отныне дама для Бернадетты не просто чудо, возникшее на миг, чтобы тут же исчезнуть, но нечто вполне реальное и принадлежащее только ей. Бернадетта смотрит на людей, слышит их разговоры, их вопросы, но сама почти не открывает рта. Антуан, который не отводит глаз от ее лица, приходит на помощь:

– Разве вы не видите, как она устала? Оставьте ее наконец в покое!

Но Бернадетта вовсе не устала. Причина ее молчания – нарастающее чувство вины. Она ощущает свою вину перед родителями. Разве она их не предает, если любит даму больше, чем отца и мать? И что скажет мама о ее поведении?

Матушка Субиру и Мария бегут что есть духу всю дорогу от кашо до грота Массабьель. Но уже у лесопилки им встречается тетушка Пигюно. Она, как всегда, все знает. Бернадетта на мельнице Сави, она здорова и невредима. Подумать только, что за девчонка! После того как она в грязной дыре молилась какой-то прекрасной невидимой даме, она позволяет Антуану – а он, право, тоже красивый парень – унести себя на руках, даже не пикнув.

– Успокойся, дорогая кузина, – заканчивает Пигюно свое радостное сообщение. – Ты за нее не в ответе...

Луиза вконец растеряна. Из путаных речей Марии она поняла, что Бернадетта то ли умерла, то ли находится при смерти. А теперь она слышит о неподобающем поведении своей старшей дочери. В довершение всего она оставила на огне «мясо в горшочке», а ведь это их первый настоящий обед за долгое-долгое время. Ее бедный муж, вернувшись после тяжелой работы, должен будет не только пережить испуг за дочь, но и удовольствоваться куском хлеба.

– Ну погоди, я тебе покажу! – стонет она и ускоряет шаг.

Когда она видит множество людей возле мельницы, ее щеки покрываются краской стыда. А когда, войдя в комнату, видит Бернадетту, восседающую в кресле, как на троне, и все суетятся вокруг нее, как вокруг принцессы, и добиваются ее благосклонности, – Луиза уже не может сдержаться и, задыхаясь от негодования, кричит:

– Ты способна весь город поставить на ноги, идиотка!

– Я никого не просила идти за нами, – оправдывается Бернадетта, и слова ее ни в чем не грешат против истины, но это как раз один из тех ее ответов, которые способны лишить самообладания как учительницу, так и мать.

– Ты делаешь нас посмешищем всего города! – истерически кричит Луиза и собирается дать дочери крепкую оплеуху, но матушка Николо перехватывает ее руку.

– За что, Христа ради, вы хотите побить ребенка? – восклицает она. – Взгляните на нее, это же истинный ангел Божий...

– Да уж, ангел, тот еще ангел, – шипит Субиру, не помня себя от злости.

– Вы бы видели ее чуть раньше, – вмешивается Антуан. – Она была такой, такой... – И поскольку его неповоротливый ум не находит подходящего сравнения для красоты отрешенности Бернадетты, он выпаливает нечто непонятное, отчего все внезапно замолкают: – Она была совсем как мертвая...

Эти слова пронзают в самое сердце Луизу Субиру, душу которой постоянно раздирают противоположные чувства. Ведь она прибежала сюда не для того, чтобы наказывать свою дочь, а от страха за ее жизнь. Этот страх одолевает ее вновь. Она мешком оседает на скамью и плачет:

– Боже милостивый, оставь мне мое дитя...

Бернадетта встает, спокойно подходит к матери и касается ее плеча.

– Идем, мама... Может, мы еще успеем домой до возвращения отца...

Но теперь Луизе Субиру даже ее супруг и ее замечательный обед безразличны.

– Не тронусь с места, – говорит она плаксиво-упрямым тоном, – пока Бернадетта не пообещает мне при всех никогда больше не ходить к Массабьелю... Слышишь, никогда!

– Обещай матери, – уговаривает ее матушка Николо. – Такие волнения очень вредны, ты из-за них обязательно заболеешь...

Бернадетта судорожно сплетает все еще ледяные пальцы.

– Обещаю тебе, мама, – говорит она. – Никогда больше не ходить к Массабьелю... – Но отчаянная хитрость любящей подсказывает ей оговорить свое обещание одним условием: – Если только ты мне сама не разрешишь...

Вскоре Антуан и его мать остаются одни. Антуан раскуривает свою воскресную сигару.

– Что ты думаешь об этом, мама? – спрашивает он.

– Состояние малышки мне очень не нравится, – вздыхает матушка Николо. – Такие вещи не предвещают ничего доброго... Подумать только, родители такие простые и здоровые люди...

Антуан встает и нервно ходит по комнате, без всякой надобности подбрасывает в огонь новое полено.

– Матушка, я никогда в жизни не видал ничего красивее, – тихо говорит он, – чем лицо этой стоящей на коленях девчушки. Никогда не видел и, верно, уже не увижу... – Он почти пугается, вспомнив, что нес Бернадетту на руках. – К такому созданию и прикоснуться страшно.

Глава двенадцатая

Первые слова

Итак, решено: история с Бернадеттиной дамой окончена, и ничего подобного больше не повторится. В кашо с видимым усилием заставляют себя об этом не говорить. Хотя в городе из уст в уста передаются расцвеченные подробностями рассказы девочек, папаша Субиру упорно делает вид, что принадлежит к тем, кто даже слухом не слышал об этом волнующем событии. Хотя речь идет о его родной дочери. И пусть заботы о пропитании семьи заметно уменьшились, настроение у Франсуа Субиру скверное. Он приходит и уходит, ни с кем не здороваясь и не прощаясь. За ужином сидит, мрачно опершись локтями о стол, и молчит. И даже когда погружается в сон, что, как известно, нередко случается с ним и днем, сам храп его звучит обиженно и сердито. Все эти огорчительные особенности его поведения направлены на то, чтобы подавить в Бернадетте всякое желание приняться за прежние глупости. Субиру производит впечатление благонамеренного отца семейства, который гневается на судьбу, подкинувшую необычайное кукушечье яйцо в его обычное гнездо.

Матушка Субиру, в отличие от мужа, проявляет к Бернадетте необыкновенное внимание и нежность, вопреки своей вспыльчивой и резкой натуре. Она постоянно делает ей маленькие подарки. Всячески старается ее утешить, ни словом не касаясь ее открытой раны. Она

чувствует, какую жертву Бернадетта приносит семье, и даже освобождает ее на эту неделю от посещения школы. Нежностью и лаской она надеется успокоить растревоженную душу своего ребенка и добиться, чтобы Бернадетта постепенно забыла даму.

Сама Бернадетта, похоже, не замечает ни особенной нежности матери, ни обиженной замкнутости отца и уж точно не замечает, с каким настороженным любопытством глядят на нее младшие братишки. Она со всеми ровна и приветлива и старается взваливать на себя больше домашней работы, чем обычно. При этом упорно избегает всякого общения с соседями. Говорит она чрезвычайно мало. Когда Мария однажды неосторожно намекает на даму, Бернадетта не только отмалчивается, но даже выходит из комнаты. При этом сердце Бернадетты днем и ночью обливается кровью, и происходит это не из-за того, что она лишена возможности видеть пленительную даму, но оттого, что она постоянно представляет себе, как дама, босая и легко одетая, стоит и понапрасну ждет ее целыми часами на пронизывающем февральском ветру. В сущности, Бернадетта переживает все муки страстно любящей души, муки влюбленной, которой не зависящие от нее обстоятельства не позволяют прийти на долгожданное свидание. Ей остается лишь надеяться, что существо столь благородное и прозорливое, как дама, поймет ее подневольное положение. Более того, ее истерзанная душа в отчаянии цепляется за убийственную для нее надежду, что дама не будет слишком долго хранить ей верность, что она устанет впустую расточать свою милость и окончательно позабудет маленькую Бернадетту Субиру.

Но о том, чтобы эта печальная цель не была достигнута, позаботились мадам Милле и мадемуазель Антуанетта Пере. Мадам Милле, вернувшаяся из Аржелеса в воскресенье вечером, сразу же по прибытии узнает от Филиппа и кухарки новость о необыкновенном происшествии в гроте. Маленькой Субиру, дочери ее приходящей прачки, явилась там молодая девушка, к тому же босая. Созерцание этой девушки погрузило маленькую ясновидицу в состояние такой отрешенности, какую часто изображают на религиозных картинах. Прошел чуть ли не час, прежде чем Бернадетту удалось пробудить от ее экстаза и вернуть к жизни.

Удивительная новость, можно сказать, льет воду на метафизическую мельницу госпожи Милле, вообще-то строгой католички, но тем не менее проявляющей непозволительный интерес к миру духов, что постоянно возбуждает неудовольствие высшего и низшего духовенства. Время от времени вдове Милле является ее покойная племянница Элиза Латапи, бедное кроткое дитя, жившее в ее доме на правах дочери и покинувшее сей мир в цветущем возрасте двадцати восьми лет. О, как осиротел после ее кончины просторный дом, который построил около сорока лет назад блаженной памяти господин Милле, питая надежды на многочисленное потомство, коим – увы! – не суждено было сбыться. Мадам Милле сотворила из памяти Элизы настоящий культ. Комната покойной содержится в таком образцовом порядке, что бывшая хозяйка может явиться и занять ее в любой момент. Каждая вещь, каждая мелочь на своем месте: книги, куклы, которыми Элиза играла в детстве, корзиночка с рукоделием, пальцы для вышивания, две коробки с окаменевшими конфетами и, прежде всего, Элизин шкаф, набитый бельем, платьями и обувью. В эту ночь, страдая от бессонницы, мадам Милле, закутав тучное тело в теплую шубу, проводит целый час в нетопленной комнате Элизы. Она надеется на какое-нибудь благое послание, которое, во-первых, известит ее о благополучном пребывании ее приемной дочери на том свете и, во-вторых, предречет непременно, хотя и не слишком скорое, воссоединение. Вдове в самом деле удается представить себе Элизу Латапи так ясно, как никогда прежде, причем в том самом платье, какое она надевала в торжественных случаях, как председательница Союза так называемых «детей Марии». Это платье из белого атласа с витым голубым поясом. Его изготовила портниха Антуанетта Пере по последней парижской выкройке, взяв с сестры по «Союзу детей Марии» всего сорок франков, то есть почти столько, сколько истратила сама. К утру госпоже Милле становится ясно, что юная дама, представшая взору маленькой ясновидицы Субиру, – не кто иная, как ее любимая племянница и приемная дочь, облаченная в праздничное платье председательницы «детей Марии».

Поразительно, что та же мысль в течение понедельника приходит и в голову Антуанетты Пере. Пере – еще довольно молодая особа, весьма некрасивая и к тому же кособокая. На ее продолговатом лице выделяются живые, непрестанно бегающие глаза. Дочь судебного исполнителя, она хорошо знает людей и неприглядную изнанку их жизни. Благодаря своей живости и сообразительности она тотчас делает выводы из той мысли, которая осенила и мадам Милле. На что указывают босые ноги привидевшейся юной дамы? Ясно как день: они указывают на то, что чистая душа Элизы, «дочери Марии», проходит в настоящее время, как все души после смерти, стадию покаяния. Кающиеся всегда ходят босыми. В чистилище, вероятно, вообще нет никакой обуви. Племянница богатой Милле, эта бедная душа, возможно, нуждается в усердных молитвах всех родных и близких, чтобы сократить свое пребывание в скорбной обители. Именно по этой причине она и явилась Бернадетте, и как раз в том месте, которое вполне может быть входом в чистилище. Кто знает, может, Элиза хочет еще и передать доброй тете и находящейся неизмеримо ниже скромной подруге тети какие-нибудь чисто личные пожелания или известия. Мадам Милле и мадемуазель Пере тотчас же уединяются в комнате покойной, чтобы со всех сторон обсудить эту теорию, а также вытекающие из нее практические шаги. Слуга Филипп, привыкший за десятилетие к величавой недоступности госпожи, в высшей степени удивлен этим тайным совещанием.

В среду около четырех часов пополудни – к счастью, дома только Луиза и Бернадетта – в кашо появляются высокие гости. Первым входит Филипп, который ставит на стол весьма аппетитного вида корзинку с двумя жареными курицами и двумя бутылками сладкого вина. Он почтительно кланяется Луизе, чего раньше не бывало, и возвещает о приходе мадам, которая следует за ним по пятам. Луиза испуганно смотрит на подарок и на слугу. Через две минуты в помещение, которое было бы для нее слишком тесным даже в качестве тюрьмы, выпятив пышную грудь и шурша юбками, wpłyвает сама богачка Милле, за ней проскальзывает кособокая Пере. Милле явно поражена открывшимся ей зрелищем столь отчаянной бедности.

– Моя дорогая, – начинает она, – я давно хотела к вам заглянуть. Не стоит, право, благодарить за эти мелочи. Кроме того, я намерена просить вас приходить к нам каждую среду и субботу, у меня найдется для вас работа, независимо от стирки. Мой дом, к сожалению, так велик...

Субиру понятия не имеет, как ей реагировать на такую расточительную господскую милость. Мадам Милле не слишком мелочна, но счет деньгам знает, а что касается работы, то какая особая работа может найтись в доме, где все надежно защищено чехлами и покрывалами от любой пылинки? Помогать по дому два раза в неделю... что потянет, пожалуй, на четыре франка, а в месяц на шестнадцать... – это же целое состояние! И такое предложение делается сразу, с порога. Что за этим скрывается? Луиза раболепно-недоверчиво вытирает тряпкой два стула и молча подвигает их ближе к гостям. Бернадетта стоит у маленького окна. Ее лицо в тени, но темные волосы отливают червонным золотом, так как зимнее солнце перед закатом вышло из-за облаков и заливают светом двор кашо.

– У вас очень милая девочка, моя дорогая, – вздыхает Милле, – совсем особенный ребенок, сразу заметно... Вы должны быть так счастливы...

– Поздоровайся с господами, Бернадетта! – кивает Субиру дочери.

Бернадетта молча подает обеим руку и вновь отходит на свой наблюдательный пункт возле окна. Мадам Милле вынимает кружевной платочек и вытирает глаза.

– У меня тоже было дитя, неродное, но дороже, чем родное, вы ведь знаете... Моя Элиза, мужественная страдальца, умерла праведной смертью, декан Перамаль собственноручно написал об этом письмо его преосвященству епископу Тарбскому, где описал ее кончину, с которой нужно брать пример...

– Как раз поэтому мы и пришли сюда, мадам Субиру, – прерывает плачущую вдову более деловая Пере.

– Да, говорите вы, милая Пере! – милостиво кивает страдающая от одышки Милле. – Говорите вы! Мне трудно...

Дочь судебного исполнителя со свойственной ей четкостью излагает свою версию истории Бернадеттиной дамы. Она не допускает ни малейших сомнений. Босые ноги и белое платье с голубым поясом, то самое, что она сшила собственными руками, доказывают, что дама не может быть никем иным, кроме как недавно скончавшейся Элизой Латапи, проходящей мучительное испытание в чистилище. Элиза избрала девочку Бернадетту Субиру в качестве своей посланницы, так сказать, связующего звена между тем и этим светом, чтобы передать любящей тете и приемной матери важные сообщения и свои пожелания. Таков очевидный смысл Бернадеттиных видений. Мадам Субиру должна поэтому разрешить дочери выполнить ее миссию до конца и поточнее установить, что именно требуется Элизе, чтобы ее бедная душа обрела наконец покой.

Луиза сидит как пригвожденная и не смеет поднять головы.

– Но ведь это все... может свести с ума, – удрученно лепечет она.

– От этого действительно можно сойти с ума! – громко всхлипывая, заявляет мадам Милле.

Тут следует сказать, что еще до прихода важных гостей происходили удивительные вещи между матерью и дочерью, которые не обменялись при этом ни единым словом. Мать, у которой горло перехватывало от молчаливой подавленности дочери, была близка к тому, чтобы самой предложить ей тайком от всех отправиться в воскресенье к гроту. Бернадетта тоже была близка к тому, чтобы броситься к ногам матери и взмолиться: «Пусти меня, пусти меня, о, пусти меня!» Но теперь в сердце матери вновь просыпаются страх и отчаяние.

– Это, естественно, должно произойти как можно скорее, – требовательно говорит портниха.

Луиза думает о шестнадцати франках в месяц. С другой стороны, она думает о смертельной опасности, в которой, как она полагает, окажется ее дочь, если вновь впадет в это ужасное состояние отрешенности.

– До следующего воскресенья это невозможно...

– Будем считать это вашим согласием, – мгновенно ловит ее на слове Милле.

– Нет, нет, мой муж никогда этого не допустит...

– Это история не для мужчин. Мужчины ничего не понимают в таких вещах, – говорит вдова, опираясь на свой богатый опыт.

– Зачем нужно все сразу же выкладывать мужу? – смеется Пере.

– Мадам, я действительно не могу этого допустить, поймите, я же мать... Вы хотите, чтобы Бернадетта заболела или стала всеобщим посмешищем?.. Я не могу этого разрешить, я мать...

Толстуха Милле величественно поднимается:

– Я тоже мать, моя дражайшая, даже больше чем мать. У меня тоже есть дитя моего сердца, и мое дитя страдает. Как подумаю, сколько усилий потребовалось моему ребенку, чтобы отыскать этот далекий путь сюда, у меня все внутри леденеет... Я вас ни к чему не принуждаю, мадам Субиру. Но если вы сейчас выставите меня за дверь, вся ответственность за последствия ляжет на вас...

– Моя голова... О, моя голова лопнет от всего этого! – стонет Субиру.

– А что скажет наша милая Бернадетта? – искушает девочку портниха.

Бернадетта все еще стоит у окна, на фоне закатного света, от которого ярко вспыхивают ее волосы. Она до крайности напряжена, будто стоит на цыпочках. Она похожа на прыгуна в тот миг, когда он отталкивается от земли. Что ей за дело до толстухи Милле, до безобразной назойливой портнихи? Что за глупая болтовня о бедной душе, которая томится в чистилище? Она знает одно: ее обожаемая дама желает ее видеть. Ее прекрасная дама вполне способна

применить хитрость, чтобы сделать возможной их новую встречу. Иначе зачем бы она прислала сюда этих женщин? Звонким и уверенным в успехе голосом Бернадетта отвечает:

– Решать должна мама...

Встреча в этот четверг проходит иначе, чем два предыдущих раза. Во-первых, Бернадетта не свободна, как прежде, мадам Милле дала ей нелегкое задание. У Бернадетты сегодня нет возможности всецело отдаться созерцанию несказанной красоты дамы. Даже в самом начале этой великой любви мир со своими помехами пытается вторгнуться и стать между любящими, которым хотелось бы исключить из своих отношений все постороннее. Бернадетта вновь застаёт даму уже в гроте, хотя, когда они выходили из города, пробило всего шесть утра. (Это было неременным условием госпожи Субиру: отправиться в путь на рассвете, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания.) Как мило и любезно со стороны Дарующей Счастье, что она каждый раз приходит первой и ждет ту, которую осчастливит, тогда как на всех других встречах мира бывает как раз наоборот. Бернадетта тотчас становится на колени, на этот раз не на гальку, а на плоский белый камень, но не столько для того, чтобы поклоняться и возносить молитвы, сколько для того, чтобы исповедаться. Слова бурно исторгаются из ее сердца, хотя уста остаются немые.

«Извините, пожалуйста, что я так долго не приходила. Но я обещала маме на мельнице Сави никогда больше не ходить к гроту. Для меня так ужасно, мадам, что вы ждали в такую плохую погоду...»

Дама делает успокаивающе-отстраняющий жест, словно хочет сказать:

«Ничего страшного, дитя мое, я привыкла ждать своих людей в любую погоду».

«Я и сегодня пришла не одна, мадам, извините меня за это, – изливается беззвучный поток слов из Бернадетты. – Дело в том, что мама разрешила мне прийти к вам только ради мадам Милле. Мама рассчитывает, что Милле будет платить ей за работу четыре франка в неделю. И так как папа с прошлой пятницы тоже работает на почтовой станции, мы сможем теперь жить гораздо лучше. Я бежала, чтобы быстрее все вам сказать. Милле старая и толстая, о, мадам, вы, конечно же, сами знаете. Она не могла за мной поспеть. К сожалению, они уже подходят, я их слышу. Они выдумали какую-то чепуху, пожалуйста, простите! Я знаю наверное, что вы не Элиза Латапи и что вы не из чистилища...»

Дама кивает и ободряюще улыбается, как бы говоря:

«Не беспокойся, мы справимся и с мадам, и с мадемуазель. Главное, им удалось получить у мамы разрешение».

Сзади доносится голос Пере:

– Осторожно, моя дорогая! Держитесь крепче за мою руку! Еще шаг, еще один, ступайте сюда и затем сюда! Вот так! Мы пришли...

Бернадетта слышит за спиной свистящее дыхание толстухи Милле.

– Там наверху стоит дама, – быстро шепчет она вдове, не отрывая глаз от ниши. – Сейчас она вас приветствует...

– Ах, моя бедная, моя милая Элиза! – задыхаясь, лепечет Милле. – Я тебя не вижу! Почему я тебя не вижу? Как у тебя там, на том свете?

Негнушима пальцами она зажигает освященную в церкви свечку, которую принесла с собой, и это первая свеча, зажженная перед гротом Массабель. Как ей ни трудно, мадам Милле с помощью портнихи опускается на колени, простирает молитвенно сложенные руки и молит дрожащим голосом:

– Поговори со мной, Элиза, поговори! Одно слово, одно только слово...

Антуанетта Пере настораживается. Ей рассказывали, что в присутствии дамы лицо маленькой Субиру неузнаваемо меняется, начинает поражать неземной красотой. Ничего подобного не происходит. Лицо Бернадетты – земное, обычное, как всегда. Портниха стучит по спине коленопреклоненной девочки острыми костяшками пальцев.

– Только не лги, слышишь! Говори чистую правду! Иначе тебя постигнет кара!

Бернадетта, не оборачиваясь:

– Я не сказала ни слова неправды...

– Молчи, – шепчет Пере, – читай молитвы по четкам.

Бернадетта послушно вытаскивает четки и начинает в смятении бубнить молитвы. Уже после первых «Богородице, Дево...» дочь судебного исполнителя достает из кармана маленькую чернильницу, перо и листок канцелярской бумаги. Завидная предусмотрительность! Она хотела бы иметь документ, где все будет обозначено, черным по белому.

– Так, а теперь иди к даме, – шепотом командует она, – и попроси ее написать ясно и понятно все ее желания и жалобы, и пусть точно сообщит, сколько раз надо отстоять мессу. Добрая тетя Милле сделает все, что в ее силах...

Бернадетта послушно берет перо, бумагу, чернила и подходит к самой скале, на которой стоит дама. Она взбирается на стоящий внизу большой камень и протягивает письменные принадлежности к нише. В этой позе она застывает. Поза ее так естественна, так выразительна, что обе женщины пугаются, чувствуя, что удостоились созерцать нечто, никем еще не виданное. Милле буквально помешана на чудесах и потусторонних явлениях. Но теперь, когда чудо совершается у нее на глазах, ее сердце готово остановиться, а на спине выступает холодный пот. Вместе с Пере она поспешно выходит из грота и на довольно далеком расстоянии от предполагаемого чуда, на берегу ручья, бухается на колени. Сквозь слезы она бормочет в пустоту:

– Напиши мне все, Элиза... Я не покусплюсь...

Через некоторое время Бернадетта выходит из грота с просветленным лицом и без лишних слов отдает Пере чернила, перо и бумагу.

– Но тут ничего не написано, – говорит портниха тоном полицейского комиссара, обнаружившего, что его провели.

– А что сказала дама? – огорченно и в то же время с некоторым облегчением спрашивает Милле.

– Она покачала головой и засмеялась, – отвечает Бернадетта.

– Дама смеялась?

– Да, немножко смеялась...

– Очень интересно, – язвительно говорит Пере. – Значит, твоя дама смеялась. Не думаю, что души, томящиеся в чистилище, могут смеяться... А теперь иди к ней и спроси ее имя!

Бернадетта послушно, как всегда, возвращается в грот. Она крайне смущена, что приходится приставать к даме со всякими глупостями. Но терпение дамы кажется поистине безграничным, так как она все еще стоит, залитая собственным светом, несмотря на хмурую февральскую погоду. Только золотые розы на ее ногах порой совершенно тускнеют. Бернадетта смело подходит к скале:

– Извините, пожалуйста, мадам... Но обе женщины хотели бы знать ваше имя...

Лицо дамы принимает задумчиво-рассеянное выражение, какое бывает у высокой персоны, по отношению к которой допустили явную бестактность. Бернадетта становится на колени и вновь вынимает четки. После чтения молитв на прекрасное лицо дамы возвращается прежняя улыбка. И впервые до слуха Бернадетты доносится ее голос. Это глубокий грудной голос, и, учитывая юный возраст дамы, он звучит, пожалуй, чересчур по-матерински.

– Будьте так добры, – говорит дама своим грудным голосом, – приходите сюда следующие пятнадцать дней кряду.

Она произносит это не на литературном французском языке, а на диалекте провинции Беарн и Бигорр, столь привычном для Бернадетты и ее окружения. Если переводить точно, то она говорит не «будьте так добры» (от слова «boutentat» – «доброта»), но употребляет сходное по смыслу выражение «окажите мне милость» (от «grazia» – «милость»). После чего сле-

дует продолжительное молчание, затем дама гораздо тише, чем раньше, произносит еще одну фразу:

– Я не могу обещать, что сделаю вас счастливой на этом свете, только на том.

Когда Бернадетта после этих заключительных слов вновь выходит из грота, она видит, что вокруг стоящей на коленях Милле с ее свечкой собралась кучка людей. Здесь мать и сын Николо, Мария, Жанна Абади, Мадлен Илло, а также несколько крестьян и крестьянок из долины Батсюгер, где слух о явлениях дамы в гроте Массабьель широко распространился, вызвав немалое возбуждение. К этим людям присоединяются все новые, так как сегодня четверг и народ отовсюду идет со своим товаром в Лурд.

– Она назвала свое имя? – кричит Пере навстречу Бернадетте.

– Нет, не назвала...

– А ты ее действительно спрашивала?

– Я спрашивала, как вы просили, мадемуазель...

– Ты не сочиняешь, Бернадетта? Я за тобой следила. Ты даже не раскрывала рта...

Бернадетта с удивлением смотрит на портниху.

– Когда я говорю с дамой, – объясняет она, – я говорю *вот здесь*...

При слове «здесь» она тычет пальцем себе в грудь, в то место, где у нее сердце.

– Вот как, – усмехается инквизиторша. – И дама тоже говорит с тобой *здесь*?

– Нет, сегодня дама говорила со мной по-настоящему.

– У дамы есть голос?

– О да, у нее точно такой же голос, какова она сама...

И Бернадетта повторяет все, что ей сказала дама. Антуанетта Пере полна уверенности, что наконец ее поймала.

– Ты хочешь уверить разумных людей, – взрывается она, – что дама, душа из потустороннего мира или, возможно, даже ангел, обращалась к тебе, глупой девчонке, на «вы» и говорила: «Будьте так добры»!

Лицо Бернадетты сияет от удивления и восторга.

– Да, это и впрямь странно... Дама говорила мне «вы».

Этот допрос, которому Пере подвергла Бернадетту, имеет неожиданные последствия. Сначала у портнихи не было особых сомнений в искренности девочки. Вера в потусторонний мир, любопытство, угодничество, жажда приобщиться к необычайному – все это вместе побудило портниху уговорить свою покровительницу Милле отважиться на странное приключение. Только здесь, в гроте, свободное поведение маленькой Субиру вызывает в ней подозрение. Естественные и простые ответы девочки в такой непростой ситуации покоряют сердца присутствующих и настраивают их против злобной Пере. Бернадетта говорит о своем видении с такой ясностью и точностью, с какими не каждый способен говорить о самых реальных вещах. Тот, кто ее слушает, поневоле начинает верить в нечто сверхъестественное.

– На тебе благословение Господне, – говорит одна из крестьянок. – Небу ведомо, кто к тебе приходит.

Мадам Милле уже почти не надеется, что дама окажется ее собственной племянницей. Слова, которые передала Бернадетта, никак этого не подтверждают. Но вдова не разочарована, она обнимает девочку.

– Какое же ты замечательное дитя, маленькая ясновидица. Благодарю тебя от всей души. Я старая больная женщина. Но все следующие пятнадцать дней я буду ежедневно ходить с тобой к гроту... Я думаю, вы тоже не пропустите ни единого дня, моя добрая Пере...

– Ни за что не пропущу, мадам, – подтверждает портниха, которая столь же быстро, сколь и вынужденно меняет тактику. – Мы еще многое узнаем от Бернадетты...

Безмерно утомленная вдова едва слышно шепчет:

– У меня на душе так возвышенно и спокойно. В следующий раз обязательно возьму с собой Филиппа. Это пойдет ему на пользу.

Тут уж и Жанне Абади не остается ничего другого, как признать превосходство и главенство Бернадетты, хотя она, Жанна, первая ученица в классе, а Бернадетта – самая последняя.

– Я тоже, естественно, буду приходить каждый день, – говорит она, – в конце концов, я первая узнала о даме...

– Почему это ты первая? – возмущается Мария. – Самая первая я, ведь я ее сестра...

Антуан Николо гладит свои усы, как делает всегда, когда испытывает смущение.

– А что, если нам, матушка, – говорит он как бы между прочим, – пригласить мадемуазель Бернадетту пожить у нас следующие пятнадцать дней. Верхняя светелка у нас, конечно, не очень теплая, но ей было бы намного ближе ходить к Массабьелю...

– Я была бы очень рада Бернадетте, – осторожно говорит матушка Николо, – но я не хочу вмешиваться. Пусть ее родители сами решат, как все теперь будет...

– На право пригласить к себе Бернадетту претендую я! – величественно заявляет мадам Милле.

Бернадетта не понимает, что с ней происходит. Все эти люди вдруг заговорили так неестественно, так высокопарно, как будто не своим языком. Чего они, собственно, хотят? Она не может понять, что благосклонность, которую оказывает ей дама, в один миг переменяла ее положение среди людей.

– Нам пора домой, – говорит она.

Старый мост заполнен едущими и идущими на рынок торговцами, кое-кто из них присоединяется к странной процессии, которая, во главе с Бернадеттой и мадам Милле, все еще держащей в руке горящую свечку, движется к кашо. Из уст в уста распространяется новость:

– Девочка опять ходила к гроту... Сегодня это уже в третий раз... Надо же, именно малышка Субиру... Говорят, она немного не в себе... Родители сидят на мели... Не позволяйте бедной дурочке морочить вам голову... Бог ты мой, и богачка Милле тоже с ними... Да, если у тебя денег куры не клюют, то нет других забот...

Чем дальше они идут по городу, тем обильнее и язвительнее становятся насмешки. Тем не менее, когда они сворачивают на улицу Пти-Фоссе, процессия насчитывает человек на сто больше. Полицейский Калле, который в этот момент выходит из заведения папаши Бабу, с удивлением взирает на эту «демонстрацию» и размышляет, не является ли его прямым долгом «навести порядок». Но ведь режим императора Наполеона III, который сам пришел к власти на волне путча, питает поистине безграничное почтение к народным собраниям. Поэтому Калле не вмешивается, а мчит во весь опор сначала к мэру Лакаде, а затем к полицейскому комиссару Жакоме, чтобы доложить обстановку. Ведь эти двое возглавляют светскую власть, а он, бывший полевой сторож, олицетворяет ее карательные функции. Из кашо навстречу процессии выскакивает Луиза Субиру, насмерть перепуганная и растрепанная.

– Боже мой, что опять стряслось?

Мария жестами успокаивает мать.

– Бернадетта сегодня совершенно здорова, мамочка. Дама говорила ей «вы» и еще сказала: «Будьте так добры, приходите сюда пятнадцать дней кряду»...

– Все это меня доконает, – жалобно стонет Луиза. – Я потеряю ребенка...

Люди протискиваются к входной двери. Мадам Милле, мадемуазель Пере, мать и сын Николо и все девочки заходят в темную прихожую.

– Дорогая мадам Субиру, – обращается к Луизе богачка Милле, но не свысока, как прежде, а как равная к равной. – Я благодарю Небо, что оно послало нам Бернадетту. Я намерена пятнадцать дней кряду совершать вместе с ней паломничество к Массабьелю. Для моих отекавших ног это будет суровое испытание и искупление грехов. А вас, моя дорогая, я очень прошу позволить девочке пожить это время у меня. Надеюсь, вы не будете против...

Нет, Луиза Субиру не будет против. Ее слабая болезненная Бернадетта будет спать в мягкой постельке и есть не менее пяти раз в день, и уж по меньшей мере два раза – жареное куриное крылышко. Луиза чешет в затылке рукояткой поварешки и не знает, что ответить.

– Дайте мне опомниться, мадам Милле, это такая неожиданность...

А госпожу Милле уже захлестнули эмоции.

– Бернадетта будет жить в прекрасной комнате моей покойной Элизы. Вы же знаете, эта комната у нас в доме святая святых. Хотя я и не уверена, что дама из Массабьяля – моя бедная Элиза, но в ее постели должна спать Бернадетта, и никто другой...

Тут уже не в силах сдержаться портниха Пере, ей не терпится блеснуть перед своей покровительницей собственным великодушием.

– Ах, милая Бернадетта, – восклицает она, – какое на тебе смешное, нелепое платьице! От меня ты получишь роскошное белое платье, чтобы даме приятно было на тебя посмотреть...

– У Бернадетты и впрямь больше везенья, чем ума, – шепчет Жанна Абади Мадлен Илло, тыча локтем ей под ребра.

– Дорогие дамы, – растерянно молит Луиза, – позвольте мне только сначала посоветоваться с господином Субиру и моей сестрой Бернардой. Я не могу взять на себя ответственность за эти пятнадцать дней. Взгляните только, какая толпа! Пресвятая Дева, чем все это кончится?

– Посоветуйтесь со своей родней, – величественно разрешает вдова Милле. – Но Бернадетта может сразу же пойти с нами... Мы переделаем на нее платье «детей Марии», которое носила Элиза, не так ли, милая Пере? Элиза была не намного выше ростом...

Бернадетта, как всегда, безучастно стоит в стороне. Под этим обрушившимся на нее потоком милостей она думает о словах дамы: «Я не могу вам обещать, что сделаю вас счастливой на этом свете». Она не может обещать, но, кажется, она это уже делает – нынче!

В четыре часа пополудни в кашо является премудрая Бернарда, признанный семейный оракул и крестная Бернадетты. Ее почтительно встречают супруги Субиру. Она приходит в сопровождении своей младшей сестры, старой девы Люсиль, которая из-за своей пассивности и безволия кажется при ней всего лишь служанкой. Как семейный оракул Бернарда привыкла не торопясь рассматривать каждый предложенный ей случай: обдумывать его несколько часов, разбирать на части и вновь складывать в единое целое, принимать во внимание ту или другую сторону, прежде чем она вынесет свой мудрый приговор, ни малейшего сомнения в котором она, естественно, не допускает. У Бернарды Кастеро на крепких крестьянских плечах сидит неглупая голова, в отличие от ее младших сестриц, которых она считает бестолковыми и недалекими. Лишь благодаря своим отлично работающим мозгам она не только не пустила на ветер состояние покойного мужа, но, напротив, значительно его приумножила выгодными перепродажами. Она стоит на собственных ногах, и стоит твердо. Несколько лет назад она без колебаний отклонила предложение руки и сердца. Слишком хорошо она знает неверный характер мужчин, их легкомыслие и непрактичность.

Бернарда неодобрительно осматривается в кашо. Луиза, в юности самая хорошенькая из сестер Кастеро, заслуживает, по ее мнению, лучшей участи. А все оттого, что девушки самонадеянно стремятся выйти замуж по любви, забывая о том, что замужество – дело серьезное и ответственное. Если мужчины в большинстве своем бездельники и тунеядцы, то уж красивые мужчины – все без исключения негодяи. Беглый взгляд на супружескую кровать убеждает Бернарду, что, судя по тому, как она небрежно и наспех застелена, Луиза выгнала своего красавчика из теплой постели лишь за несколько минут до их прихода.

– Где Бернадетта? – спрашивает крестная.

– Ее пригласила к себе пожить мадам Милле, – боязливо отвечает Луиза. – Она пробудет там пятнадцать дней.

– Ошибка! – изрекает разгневанная Бернарда.

– Почему ошибка, сестра?

– Потому что ты не видишь дальше своего носа...

Франсуа Субиру начинает раздраженно сновать по комнате. Желая показать свою супружескую самостоятельность в присутствии Бернарды, он всегда принимает ее сторону против жены.

– Именно так, ошибка! Я сразу сказал ей, что это ошибка. Но она, видите ли, действует по собственному разумению. Со мной не советуется. Отдать ребенка из дому – непростительная ошибка! Что скажут люди?

– Могу тебе заранее сообщить, зятек, что скажут люди, – язвительно усмехается Бернарда. – Они скажут, что Субиру ловко обдeldывают свои делишки, используя Бернадетту и ее даму.

– Да, именно это они и скажут, именно это! Я уже слышу их голоса, – ярится Субиру.

– Они скажут больше! Скажут, что Бернадетта все это выдумала, лишь бы втереться в дом к Милле и стать ее наследницей.

– Конечно, они и это скажут! – Субиру бросает свирепый взгляд на жену. – Какой позор! В каком мы окажемся дерьме!

Бернарда безжалостно окатывает сердитого зятя холодным душем:

– Вы и сейчас там – невелика честь жить в этом кашо.

– Но я всю свою жизнь был честен, – бьет себя в грудь Субиру, – и всегда больше давал, чем получал. С этим ты не можешь не согласиться, свояченица. Но теперь я сыт этой историей по горло. Не желаю больше об этом слышать! Кончено! Бернадетта отправится в Бартрес...

– Типичный безголовый мужчина, – кивает Бернарда. – Знакомая картина. У меня не так много времени, зятек, выслушай меня! Сядь наконец и успокойся! И вы все садитесь и дайте мне сказать! Сами просили меня прийти. Я не желаю, чтобы меня перебивали...

Все послушно садятся. Одна Бернарда остается неуклюже стоять посреди комнаты. Она даже не сняла головного платка и черного плаща.

– Бернадетта, – начинает она свое резюме, – милое дитя и совсем не плутовка; мозгов у нее не слишком много, что вовсе не удивительно. Я часто на нее смотрела и думала, что же в ней такое таится. Но могу голову дать на отсечение, что про даму она не лжет, хотя бы потому, что у нее ума бы не хватило на такую сумасшедшую и дерзкую выдумку. Она видит даму. Другие люди дамы не видят. Когда мы были детьми, бабушка нам рассказывала, что знала девочку, которой однажды в темных сенях явился Спаситель, явился во плоти, так что его можно было потрогать рукой. В прежние времена такие случаи бывали часто. Значит, вполне может быть, что дама нисходит с Небес. Но дама может приходить и из ада, хотя на это ничто не указывает, кроме скверного места ее появления. История действительно жуткая. Чем все это кончится, я не знаю, хотя думала об этом целых пять часов. Ради вас я надеюсь, что все постепенно затихнет и забудется. Но Бернадетте придется пятнадцать дней кряду ходить к гроту. Она должна это делать. Дама этого пожелала, а дама ведь могла явиться и с Небес. Никто не смеет мешать малышке исполнить желание дамы. Вот моя точка зрения. А совет мой при этом таков: мать должна быть на стороне дочери. Мать не должна, как страус, прятать голову в песок и делать вид, что дочь занимается безобидными шалостями, а ее это не касается. Ты очень глупо вела себя до сих пор, сестра. Теперь ты каждый день должна ходить вместе с Бернадеттой в Массабель и стоять с ней рядом. Все это достаточно серьезно. Подумай только, как много это значит для Бернадетты. Если ты будешь ее поддерживать, то и люди перестанут над ней смеяться. И не только ты, все женщины нашей семьи обязаны стоять за Бернадетту. И я, и Люсиль – мы обе после утренней мессы будем ежедневно ходить с ней к гроту. Таково мое твердое решение. А вы поступайте, как хотите...

Итак, «оракул» сказал свое мудрое слово. Супруги Субиру растерянно молчат. Луиза винит себя в том, что лишь сестра напомнила ей о ее материнском долге. Франсуа не вполне

убежден логикой свояченицы, но не находит сил противостоять судьбе. Для себя лично недовольный отец избирает такую линию поведения: держаться от этих вещей подальше, сколько будет возможно.

Глава тринадцатая

Посланцы науки

– В конце концов, мы живем во второй половине девятнадцатого века, – вздыхает владелец кафе Дюран, подавая директору лица Кларану его черный кофе, Эстраду, главе налоговой инспекции, – чашку шоколада, литератору де Лафиту – рюмку горькой настойки, а простуженному прокурору – дымящийся глнтвейн. Кафе «Французское» понемногу начинает наполняться. – Господа, читали сегодняшний номер тарбского «Интерэ пюблик»? – возбужденно вопрошает Дюран. – Там напечатана заметочка, озаглавленная буквально так: «Пресвятая Дева является школьнице из Лурда». И такое осмеливается печатать газетчик во второй половине девятнадцатого века...

– Не переоценивайте наш век и его зрелость, Дюран, – улыбается старый Кларан. – Нашему земному шару очень много миллионов лет. Мы же считаем несчастные девятнадцать столетий за огромный пройденный путь. Я всегда говорю своим мальчикам на уроках истории: «Не следует важничать. Человечество пока еще в детских башмачках».

Хозяин кафе, заслуженно именуемого также кафе «Прогресс», – не тот человек, который даст себя поколебать подобными глубокомысленными сентенциями. В его памяти вертятся передовицы множества газет, за чьи прогрессивные взгляды он выкладывает ежемесячно немало денег.

– Разве мы напрасно страдали? – декламирует он, воздев правую руку, как трагик, играющий на любительской сцене. – Для того ли были порваны оковы державшей нас в плену догмы, чтобы реакция снова пичкала нас отвратительными рассказами о религии?

Гиацинт де Лафит задумчиво смотрит на свою рюмку.

– Я лично нахожу, что это очень красивая сказка, – замечает он. – Вы правы, друг Кларан. Мы живем еще в самых ранних предрассветных сумерках древности. Почему, черт возьми, глазам бедного ребенка, дочери пастуха или ремесленника, не может явиться в заброшенном гроте какое-нибудь небесное божество – к примеру, Диана, или Пресвятая Дева, или хотя бы нимфа ближайшего источника? Это в духе Гомера, мой друг. За такую сказку я отдам семь сотен сцен из современных романов, в которых рыжекудрые жены банкиров изменяют своим мужьям с камердинерами или же бальзаковские и стендалевские выходцы из низов пытаются изменить социальный строй, обрюхатив какую-нибудь наивную аристократку...

Эстрад, глава налоговой инспекции, удивленно смотрит на поэта:

– Я правильно вас понял, Лафит? Вы верующий?

– Верующий? Я единственный истинно неверующий среди всех, кого я знаю, почтеннейший! Я не обожествляю ни четки, ни математические или химические формулы. Для меня религия всего лишь народный прообраз поэзии. Не смотрите на меня так неодобрительно, добрый Кларан, это вполне обоснованное определение. Искусство – это религия, вышедшая из-под влияния Церкви. Поэтому религия девятнадцатого века – это искусство.

Налоговый инспектор испуганно отодвигает от себя чашечку с шоколадом:

– То, что вы говорите, возможно, годится для Парижа, но не для нас, простых сельских жителей. Как добрый католик, а я таков, я открыто заявляю, что нахожу всю эту историю с видениями в гроте Массабель досадной и достойной сожаления...

– В этом я ничуть не сомневаюсь, – спешит ответить Лафит. – Ведь все, что сегодня называют религией, – не более чем механическое повторение, пустая условность и политический ход. Если некое человеческое создание, выделяющееся среди себе подобных, действительно

верит в своих богов и видит невидимых во плоти, как это часто бывало в прежние, истинно религиозные времена, то такой человек вызывает неудовольствие всех, кто лишь соблюдает обычай и бездумно повторяет молитвы. Ибо ничто так не противопоказано эпохе, которая сама есть бледная копия, но никак не оригинал.

– Господа, господа, – умоляюще взывает Дюран, который переводит взгляд с одного на другого, не в силах понять, о чем они спорят. – Господа, о чем тут рассуждать? Ведь это же чистой воды надувательство. Вы же знаете, в нашей местности сейчас дает представления цирковая труппа из По. Могу себе представить, что какая-нибудь хорошенькая циркачка решила подшутить над недалеким ребенком...

– Это уже что-то похожее на гипотезу, – смеется литератор Лафит. – Интересно было бы услышать гипотезы других господ. Какова ваша гипотеза, господин главный сборщик налогов?

– Гипотезы – дело прокурора, – отвечает господин Эстрад с вежливым поклоном в сторону Виталья Дютура, сверкающего рано облысевшей макушкой.

– Это заблуждение, господа, – звучит гнусавый голос простуженного прокурора. – Государственная власть действует не на основании гипотез... Что касается первичного дознания, то это прерогатива полиции. – И прокурор протягивает руку полицейскому комиссару Жакоме, который только что подошел к его столу. – Есть новости, милейший Жакоме?

Полицейский комиссар оттирает пот со лба, так как громадная печь Дюрана пышет жаром.

– Чистое безумие, – говорит комиссар, покачивая головой. – Я получил несколько донесений. Калле сообщает о демонстрации перед кашо. Моя дочь рассказывает, что завтра полгорода собирается отправиться вместе с малышкой Субиру к гроту Массабель. А бригадир жандармов д'Англа сообщает о большом волнении в деревнях Оме, Вигес, Лезиньян и многих других.

– И все это в середине девятнадцатого века! – вновь горестно восклицает владелец кафе. – Лурд приобретет в глазах всей просвещенной Франции дурную репутацию. Что напишут о нас передовые газеты: «Сьекль», «Журналь де деба» и особенно «Пти републик»?

– Ничего не напишут, – успокаивает его Лафит. – Не переоценивайте нашу значимость. Писать о нас будет разве что «Лаведан», который сегодня опять не вышел.

– Демонстраций я, однако, терпеть не намерен, – размышляет вслух полицейский комиссар. – А что думает об этом господин прокурор?

Виталь Дютур с трудом подавляет приступ кашля.

– Для нас, судей, – объясняет он, – первостепенное значение всегда имеет ключевой вопрос: *сui bono?* – то есть: кому выгодно? В данном случае: кто извлечет пользу с политической точки зрения? Ибо следует себе уяснить, что любой взмах ресниц имеет в наше время отношение к политике. И если Пресвятая Дева является сегодня дочери поденщика, то она делает это с вполне определенной политической целью: стремится оказать поддержку Церкви и, как следствие этого, упрочить власть духовенства, а тем самым усилить влияние роялистской партии, которая и есть партия Церкви, хотя в настоящее время по соображениям тактики клерикалы внешне поддерживают либеральный режим. Таким образом, явления в гроте Массабель служат делу реставрации Бурбонов, осуществить которую стремится французское духовенство. Как представитель императорского правительства я должен рассматривать эти явления и в особенности их возможные последствия как изменнические происки, которые в последнее время опасно усилились. Руководствуясь принципом «кому выгодно?», можно сделать логический вывод: за этой историей стоят какие-то священники, которые стремятся разжечь среди недовольного суеверного населения огонь фанатизма, чтобы добиться ослабления императорского режима. Вот каков, господа, мой основанный на размышлениях и отнюдь не гипотетический взгляд на вещи. Принесите мне, пожалуйста, еще один глинтвейн, любезный Дюран. Проклятый здешний климат вреден мне во всех отношениях...

– Вы склонны стрелять из пушек по воробьям, господин прокурор, – улыбается директор лица.

– Нет, все очень ясно и убедительно, – одобряет речь прокурора полицейский комиссар. Однако Эстрада эта точка зрения неприятно задевает.

– Фантазия ребенка – еще не религия, – возражает он. – Религия – не то же самое, что Церковь. Церковь – это не то же, что клерикалы. И клерикалы в большинстве своем – не роялисты. Я знаю священников, которые придерживаются даже республиканских взглядов.

Гиацинт де Лафит удовлетворенно потирает руки:

– Довольно, господа, не будем отвлекаться от сути дела. Итак, мы выслушали две криминалистические теории. Наш друг Дюран верит в красавицу-циркачку, которая ежедневно появляется перед девочкой в обличье Мадонны. Господин прокурор, в свою очередь, верит, что какой-то священник, предположим наш великан отец Перамаль, инсценирует эти явления в костюме Девы...

– Ваш юмор, месье, не кажется мне слишком забавным, – парирует Дютур с кислой миной. – Я не утверждал, что это явление – замаскированный священник, я лишь говорил, что священник стоит за ним.

– Итак, господа не сходятся во мнении, не так ли? – говорит только что вошедший доктор Дозу, услышавший лишь последние слова. С его редингота, который он в спешке не снимает, летят во все стороны дождевые брызги. Он присаживается к столику, как всегда, лишь на пять минут.

– Только пять минут, господа, у меня всего пять минут, вот несчастье... Если я не ошибаюсь, в этом просвещенном кругу говорят о том же, о чем говорят все на свете...

– Именно так, – кивает ему литератор. – И мы ждем не дождемся, когда наука объяснит эти чудеса.

– Я знаю, месье де Лафит, – отвечает доктор Дозу, – по отношению к науке вы убежденный атеист. Вы в нее не верите, недавно вы сами мне в этом признались между площадью Маркадаля и Старым мостом. Но в данном случае, возможно, наука будет как раз кстати: понятно, я имею в виду беспристрастную, критическую науку, которая готова признать любой феномен, даже самый невероятный, прежде чем сунуть его под микроскоп... Лично я еще не имел случая наблюдать подлинные галлюцинации. Я намерен послать об этом сообщение Вуазену в Сальпетриер.

– И вы действительно решитесь, милый доктор, стоять у грота вместе с толпой просто-народа? – удивленно спрашивает Эстрада.

– Не делайте этого, – предостерегает его Дюран, принесший напитки. – Это недостойно городского врача.

– В конце концов, я не только лекарь, – возражает Дозу. Меланхолическая тень сомнения пробегает по его бледному, все еще молодому лицу. – У меня есть кое-какие, хоть и скромные, авторские работы, и только этой осенью университет в Монпелье предложил мне должность профессора кафедры неврологии, а это не мелочь в медицинском мире, уверяю вас. Я отклонил предложение, потому что врос корнями в землю Лурда. Но я еще не настолько закопался, чтобы не испытывать интереса к столь редкому патологическому случаю...

– Так, по-вашему, речь идет о душевной болезни? – напряженно спрашивает Дютур.

– У меня нет права ставить диагноз, – осторожно отвечает врач. – Хотя во всех заведениях для душевнобольных полно параноиков, которых одолевают видения, но, вспоминая эту малышку, которую я лечу от астмы, я не склонен так легко согласиться с подобным приговором...

– Значит, каталепсия, месмеризм, истерия? – упорно допытывается Дютур.

– Это лишь термины, обозначающие весьма несхожие явления, дорогой прокурор. Сначала следует внимательно понаблюдать за пациенткой во время приступа... Как я слышал, походы к Массабьелю будут продолжаться две недели...

Прокурор делает пометку в своей записной книжке.

– Я был бы вам очень признателен, уважаемый доктор, если бы мог познакомиться с вашим отчетом о проделанном исследовании.

– Почему бы и нет, – бросает доктор, уже поднявшись с места и торопясь покинуть зал, – я ведь заскакиваю сюда ежедневно и, конечно, не стану скрывать от вас мою точку зрения.

Гиацинт де Лафит долго молчит, уставившись в пространство, залитое светом новомодных керосиновых ламп.

– Я полагаю, – внезапно говорит он, – что господа проглядели в этой истории главное. Я полагаю, что истинной проблемой является не юная ясновидица, а следующая за ней толпа...

Уже к четырем часам пополудни портниха Пере приносит переделанное на Бернадетту платье Элизы Латапи – роскошное белое платье «детей Марии». И вот девочка Субиру впервые в жизни стоит перед большим зеркалом в дверце шкафа, которое отражает ее в полный рост. Пере опускается перед ней на колени, чтобы лучше расправить складки.

– Я и не представляла себе, что ты можешь выглядеть такой хорошенькой, – говорит она, смиренно преодолевая себя.

Добрая Милле не скрывает восторга от этого превращения бедного нищего ребенка в настоящее «дитя Марии», превращения, заслуга которого принадлежит ей, и никому больше.

– Ну просто картинка! – восклицает она. – Наша маленькая ясновидица – настоящая картинка. Впору заказать литографию...

Бернадетта, лицо которой все больше заливается краской, смотрит на свое отражение как на мираж. Девочка так сильно взволнована потому, что до этого часа даже не представляла, как она выглядит во весь рост. В кашо есть только маленький четырехугольный осколок зеркального стекла, но никогда не было настоящего зеркала. Поэтому Бернадетта знает лицо, фигуру, одежду дамы куда точнее и подробнее, чем саму себя. Можно даже сказать, что Очаровательная в гроте для нее гораздо более реальна и гораздо меньше «видение», чем ее собственное отражение в зеркале. Проникнувшись сознанием неведомого прежде достоинства, она стоит и не может унять сердцебиение. Ее обуревают испуганный восторг и блаженное чувство праздника. Впервые она сможет отправиться завтра на встречу с обожаемым существом в достойном виде. Заметит ли дама праздничное платье, накидку из тюля, голубой пояс, поймет ли, что это подражание в ее честь, знак того, как безмерно преклоняется перед ней Бернадетта? Конечно, дама все заметит и поймет. Но понравится ли ей это? Будь ее воля, Бернадетта сейчас же побежала бы к Массабьелю, чтобы показаться даме. Она делает несколько маленьких шагов и поворачивается перед зеркалом, испытывая наслаждение удовлетворенного девичьего тщеславия. Никогда больше она не наденет старое уродливое платье и застиранный капюле. Прежняя одежда внушает ей сейчас отвращение. А что скажут завтра мама, Мария, Жанна Абади, матушка Николо, когда перед ними предстанет новая, преображенная Бернадетта?

Мадам Милле нашла в одной из своих бесчисленных, заботливо хранимых шкатулок искусственную белую розу и золотой булавкой приколотла на грудь девочки. У Бернадетты вырывается сдавленный крик восторга, так прекрасно и необычно это выглядит. Она не в силах оторваться от зеркала. Лишь надвинувшиеся сумерки кладут конец радостям примерки. После этого Бернадетта сидит (также впервые в жизни) в настоящей столовой за накрытым белой скатертью столом, на который подают настоящий обед. Филипп в перчатках разливает по тарелкам превосходный суп, затем следует отварная форель, политая растопленным маслом, и, наконец, восхитительный десерт, нечто взбитое и сладкое – ничего вкуснее Бернадетта еще никогда не пробовала. Все это они запивают белым бургундским вином, приятно щекочущим язык. Госпожа Милле очень ценит хорошую кухню, как многие души, чьи более сокровенные желания

радостей жизни удовлетворялись весьма неполно. Антуанетта Пере, которая благодаря своей способности без устали болтать также сумела оказаться за этим столом, зорко следит за поведением девочки. Она ожидала, что не получившая хорошего воспитания дочка поденщика будет сидеть развалиясь и, уж конечно, не сумеет правильно пользоваться ножом и вилкой. Но, к удивлению Пере, Бернадетта ведет себя безупречно. Она без стеснения наблюдает за движениями хозяйки дома и, подражая ей, как отмечает изумленный Филипп, ест ловко и красиво, как придворная дама. В портнихе вновь пробуждается подозрение, что эта девчонка – отчаянная и бессовестная лгунья, что она задумала ловкую аферу, а ее вялость и апатичность – всего лишь маска, помогающая скрыть незаурядный преступный талант. Ведь самой Антуанетте Пере, как-никак дочери судебного исполнителя, понадобилось не менее двух лет, чтобы научиться непринужденно вести себя в богатых домах Лафита, Милле, Сенака и других представителей лурдского высшего общества, а эта противная девчонка все усвоила в одну минуту.

– Откуда у тебя такие хорошие манеры, Бернадетта? – коварно допытывается портниха, делая вид, что дрожит от испуга перед неминуемым разоблачением девочки, при этом левое плечо подсакивает у нее чуть ли не до уха.

– Господь дает возлюбленному Своему сон, – цитирует Писание хозяйка дома, – ему не надо рано вставать и поздно просиживать...

После этих слов портниха решает держать свое недоверие и свою враждебность при себе. Милле, эта праздная, по-детски восторженная старуха, просто без ума от продувной девчонки. Антуанетта Пере достаточно хорошо знает свою покровительницу и понимает, что сохранить ее расположение можно, лишь потакая всем ее глупостям и экзальтированным затеям. К счастью, мадам непостоянна и забывчива.

Наконец Бернадетте разрешают выйти из-за стола. Мадам Милле сама ведет ее в комнату своей обожаемой племянницы, щедрой рукой зажигает там множество свечей, все показывает и объясняет, как будто она в музее, кладет на стол коробку с конфетами и на прощание обнимает девочку со слезами на глазах. И вот Бернадетта одна, одна также впервые в жизни, если иметь в виду замкнутое пространство. Одиночество кажется ей самым счастливым плодом богатства. Она чувствует себя так, словно с ее плеч сняли очень тяжелую ношу, и сразу же бросается к зеркальному шкафу Элизы Латапи, чтобы досыта наглядеться на себя в нарядном «Мариином» платье. Это удовольствие длится долго, очень долго. Затем она берет белый холщовый мешочек, который всегда носит при себе и содержимое которого придиричиво проверяет каждый вечер. В нем хранится ее вязанье – неоконченный чулок, две книжечки – азбука и катехизис, несколько пестрых шелковых лоскутков, которые ей когда-то подарила Мадлен Илло, побуревший кусочек леденца, сухая хлебная корка, три стеклянных шарика и крошечная фигурка из гуттаперчи, изображающая маленького мельничного ослика, нагруженного мешками с мукой. Ведь все ее первые воспоминания связаны с жизнью на мельнице Боли. Это ее сокровища, которые она хранит пуше глаза. Все на месте, ничего не пропало. Она растерянно оглядывает комнату, которая гораздо просторнее, чем их кашо, где живут шесть человек. Какая утомительная комната! Здесь нет причудливых сырых пятен на стенах, только шелковые обои с бесконечными веночками и гирляндами. Эти веночки – сами готовые картинки, им не надобно ее воображение, чтобы превращаться в картинки. Даже на потолке изображены фигуры ангелочков. Здесь, что ни день, придется лежать в кровати до десяти утра, чтобы хорошенько рассмотреть стены и потолок. Пока Бернадетта гасит одну за другой толстенные свечи из запасов Милле и переносит последнюю свечу на ночной столик, она вдруг замечает за стеклянной дверцей шкафа целое собрание маленьких кукол, которых хранила там Элиза Латапи. У нее самой и у ее сестры Марии кукол не было, ни больших, ни маленьких, если не считать тряпичного паяца, которого отец, еще в бытность мельником, как-то привез с ярмарки в Сен-Пе. Но паяц был несимпатичный, у него была огромная пасть щелкунчика и слишком яркие заплаты. Он был чем-то похож на злобного козла Орфида и явно происходил из царства демонов, обитатели

которого часто преследовали Бернадетту. А куколки Элизы Латапи были родом из веселого царства фей. Бернадетта смотрит на них не дыша и не может наглядеться. Особенно нравится ей маленькая тиролька в национальном костюме: в плоской зеленой шапочке и ярко-красном корсаже. Бернадетте приходится изо всех сил держать себя в руках и все время помнить о запрете матери трогать чужие вещи. Больше всего ей хотелось бы сунуть нарядную тирольскую крестьяночку в свой мешочек. Но ей вспоминается отец, которого по одному только подозрению в краже дубовой балки полицейский Калле увел в тюрьму.

С величайшей осторожностью Бернадетта снимает накидку, роскошное белое платье, откалывает искусственную розу, сбрасывает башмаки и стягивает белые шелковые чулки. Понемногу она вновь начинает ощущать себя прежней Бернадеттой. Но эта Бернадетта кажется ей теперь гораздо грубее, чем раньше, кажется похожей чуть ли не на темного лесного зверька, испуганно и неловко лежащего в огромной, невероятно мягкой и холодной постели. Ей теперь даже не хватает горячего тела спящей Марии, прикасаться к которому она избегала с прошлого четверга. Но ее усталость так велика, что она все же быстро засыпает в этой огромной жутковатой кровати с балдахином.

Когда в шесть утра в комнату входят хозяйка дома, Антуанетта Пере и Филипп, чтобы разбудить Бернадетту, девочка уже полностью одета. К их величайшему изумлению, на ней ее прежнее старенькое платье, капюле и деревянные башмаки.

– Что это значит? – вскрикивает Пере. – Почему ты не надела нарядное платье?

– Я его надевала, уверяю вас. Но потом снова сняла...

– И почему ты его сняла?

– Не знаю, мадемуазель...

– Что это за ответ: не знаю?

– Я должна была его снять...

– Тебе кто-нибудь велел? Может быть, дама?

– Нет, мне никто не велел. Дама же не здесь, она в гроте Массабель...

– Тебя, однако, не поймешь...

– Я понимаю нашу маленькую ясновидицу, – просияв, восклицает вдова Милле. – Платье председательницы «Союза детей Марии» кажется тебе недостаточно скромным, чтобы предстать в нем перед дамой. Ведь так, дитя мое?

Бернадетта мучается, пытаясь дать убедительное объяснение:

– Не могу точно сказать, мадам. Я просто почувствовала...

– Черствость и упрямство, обычные черствость и упрямство, – бормочет портниха, вновь забывая о своих добрых намерениях.

Перед домом на улице Бартерес уже собралась толпа в несколько сотен человек. Среди них немало мужчин. Дядюшка Сажу, Бурьет, Антуан Николо, пришедший с мельницы Сави, чтобы отправиться в путь вместе со всеми, и много других. Мадам Милле пристально вглядывается в толпу, пытаясь обнаружить присутствие каких-либо духовных лиц из города или окрестностей: ведь удивительный случай, собравший этих людей, несомненно относится к сфере церковных интересов. Но ни одной сутаны в толпе не видно. Матушка Субиру робко подходит к дочери, как будто ее дитя уже ей не принадлежит. Лишь присутствие сестры, Бернарды Кастеро, внушает ей некоторую уверенность, способную противостоять даже блеску богачки Милле. Бернарда и Люсиль, как и многие другие женщины, держат в руках свечи. Бернадетте тоже суют в руки свечу.

– Вперед, не будем терять времени! – командует старшая Кастеро и вместе с сестрами следует по пятам за Бернадеттой. По пути присоединяются соседки с улицы Пти-Фоссе, невнятный возбужденный говор становится все громче. Бернадетта между тем не произносит ни слова, ни с кем не здоровается, ни на что не обращает внимания. Она все убыстряет шаг, как будто за ней никто не идет и вся эта толпа взрослых, солидных людей – лишь второстепен-

ное, скорее докучливое явление. И вновь Антуанетту Пере возмущает независимое поведение девочки, которая считает возможным ни на кого не оглядываться, ни с кем не считаться. И Жанна Абади, которую вместе с другими школьницами изгнали из первых рядов, злобно шипит на ухо Катрин Манго: «Всегда и везде она хочет быть первой!»

Бернадетта в самом деле стремится первой прийти к гроту. Как ни безразличны ей идущие за ней люди, но если она появится в гуще толпы, это может расстроить даму. Врожденное чувство такта подсказывает ей, что общение с Очаровательной – дело весьма деликатное и может происходить лишь при соблюдении определенных правил, ощущаемых в глубине души, и, если вести себя не по правилам, это приведет к мучительным угрызениям совести. Подобно тому как Бернадетта постоянно дрожит за даму и беспокоится о ее самочувствии, не меньше страшится она и вызвать неудовольствие дамы. И вот девочка уже прыгает с камня на камень и, значительно опережая остальных, спускается по отвесной тропе к гроту. Милле останавливается, с трудом переводя дух. «Она летит, словно ласточка, – задыхаясь шепчет вдова, – словно листок, подхваченный ветром...»

Когда толпа с горящими свечами, распространяя на всю округу запах тающего воска, наконец спускается с горы и заполняет пространство перед гротом, Бернадетта давно уже стоит на коленях в состоянии отрешенности. Благосклонность к ней дамы проявилась сегодня сильнее, чем обычно. Это была не просто благосклонность, но искренняя сердечная радость, от которой как будто ярче засияло лицо дамы, ослепительней стали цвета ее одежды и даже чуть порозовели обычно белые руки и ноги. Дарующая Счастье сегодня впервые сама казалась Осчастливленной. Дающая казалась Берущей – возможно, потому, что благодаря исполнению ее желания начал осуществляться какой-то важный, далеко идущий план. Дама приблизилась к Бернадетте больше, чем когда-либо прежде, она ступила на самый край скалы и наклонилась так низко, что ее длинные нежные пальцы чуть ли не касались девочки. И сознание Бернадетты, которое, несмотря на безмерное наслаждение, обычно испуганно противилось состоянию полной отрешенности, на сей раз покорилось ему мгновенно.

– Она умирает, помогите, она умирает! – Это тихое восклицание срывается с уст Бернарды Кастеро, премудрой Бернарды, те же самые слова, что в прошлое воскресенье вырвались из глоток глупеньких школьниц. Луиза Субиру не кричит, она с ужасом смотрит на это распростертое существо, вышедшее некогда из ее чрева, на свою дочь, так похожую сейчас на умирающую, готовую принять блаженную кончину, преодолев все скорби мира, или даже на покойницу с заострившимся носом, на губах которой застыла непостижимая улыбка, улыбка освобождения от долгого и мучительного земного пути. Луиза Субиру беспрестанно качает головой, а губы ее беззвучно шепчут:

– Это не она... Это не Бернадетта... Я не узнаю свою дочь...

И вся толпа, стоящая сейчас на коленях вдоль берега ручья и вдоль берега Гава, испытывает глубокое потрясение. Каждое людское сборище составляет вместе некую общую личность, нервы которой в известном отношении тоньше и восприимчивее нервов отдельных людей. И эти общие нервы ощущают сейчас в пустой нише чье-то неопределенное, но весьма характерное присутствие. Как человеческая голова оставляет вмятину на подушке, некую полую форму, подобную гипсовому слепку, так и это характерное присутствие кого-то делается зримым в позе отрешенной девочки, которая уже не неподвижна, а, подобно зеркальному отражению, повторяет то, что видит: кивки, улыбки, приветственные жесты, то, как дама складывает руки и как она разводит их в стороны. Бернадетта становится как бы точным отпечатком Невидимой, которая благодаря этому оказывается для толпы на грани видимости. Среди собравшихся немало душ, склонных к вере, но есть и некоторое число скептиков, а также множество людей, пришедших сюда просто из любопытства. Но сейчас все они, затаив дыхание, переводят глаза от ниши к посреднице и обратно. Они уже не томятся от ожидания. Неожиданное свершается, оно здесь. Но вызывает оно не чувство небесного блаженства, а скорее некую вибрацию диа-

фрагмы, смешанную с покорностью неведомой силе. Причем в груди насмешников эта вибрация ощутимее всего. В каждом человеческом существе живет врожденная тяга к сверхчувственному. Там, где эта тяга таится глубже всего, она проявляется как недомогание и душевный разлад. Внезапно одна из женщин затягивает «Ave Maria». Тотчас же к ней присоединяется мощный хор голосов, как бы стараясь сделать Невидимое Зримым.

Бернадетта будто ничего не слышит. Другой шум вторгается в ее уши. Снова бунтует Гав. Снова он охвачен безумной паникой, снова чудится ей дикая скачка лошадей и грохот мчащихся повозок, звучат пронзительные крики: «Спасайся... прочь с дороги!» Бернадетта испуганно тянет руки к даме. Лицо дамы впервые делается строгим и горделивым, словно ее собственный жизненный путь еще не закончен и ей все еще приходится бороться и побеждать. Она морщит лоб и внимательно смотрит на бушующую реку, как бы укрощая ее взглядом лучистых голубых глаз. Это ей мгновенно удается. Пронзительные голоса стихают. Гав, как усмирленный волк, привычно рокошет и пенится, припадая к ногам дамы.

Внезапно Бернадетта поднимается с колен и принимает свой обычный вид. Она замечает отчаявшееся лицо матери, подходит к ней и обнимает ее за шею. Многие из присутствующих плачут...

В воскресенье на аперитив в кафе «Французское» сходятся уже в десять утра. Кафе переполнено, как никогда. Заранее договорено, что доктор Дозу огласит сегодня результаты своего исследования. Прокурор Виталь Дютур и комиссар полиции Жакоме нетерпеливо поглядывают на часы. Оба господина к одиннадцати часам приглашены в мэрию на секретное совещание. В последние три дня события у грота Массабьель приняли такие масштабы, что властям более не пристало отмалчиваться и пассивно наблюдать. Например, сегодня в самую рань в городе собралась толпа, в которой было не менее двух тысяч человек, они приблизились к гроту и стали широким полукругом, уже по обоим берегам реки и ручья Сави. Большими группами со всех сторон туда же подходили деревенские жители. Настало время выработать тактику и принять действенные меры. С точки зрения официальной власти, эта проклятая история – случай весьма затруднительный и неясный. Закон предусматривает достаточное количество карательных мер за всякого рода нарушения общественного порядка. Но можно ли считать нарушением общественного порядка предполагаемое явление Пресвятой Девы, в которое не только верит значительная часть городского и сельского населения, но которое оно, собираясь в толпы, страстно приветствует? Дютур и Жакоме сильно нервничают, особенно прокурор, подхвативший инфлюэнцу, его сотрясает озноб, и ему впору бы лежать в теплой постели, а не сидеть за столиком кафе. Но оба надеются, что сообщение городского врача прояснит ситуацию и подскажет им план действий. А Дозу именно сегодня заставляет себя ждать. Тем временем прибывает другой посланец науки, историк Кларан; вчера после полудня он посетил грот Массабьель и исследовал его с геологической и археологической точки зрения. Кларан рассказывает, что известняковая скала в гроте особым образом запотевают, это сразу бросилось ему в глаза.

– Особенно с правой стороны, – уточняет он, – под нишей, под кустом дикой розы, там на камне будто выступают крупные капли пота.

Гиацинт де Лафит протестует против такой формулировки:

– Почему вы говорите «капли пота»? Почему не слезы? Вы тоже подверглись влиянию писак из реалистической школы...

– Если вам больше нравятся слезы, мой друг, пусть будут слезы... *Saxa loquuntur*. Камни говорят. Поистине так! Камни в наше время имеют основание не только говорить, но и плакать...

– Это все несущественно, господа, – прерывает их спор Виталь Дютур, который всегда мрачнеет, когда Лафит и Кларан демонстрируют друг перед другом свою образованность и тонкий вкус. – Больше вы ничего не обнаружили?

Исследуя грот, Кларан, по его мнению, сделал не такое уж пустяковое открытие. Он убежден, что в древние времена здесь отправляли языческий культ и совершали жертвоприношения. Белая каменная глыба под порталом ниши, вероятно, была жертвенником, на нее клали злаки и фрукты, приносимые в дар какому-то примитивному божеству. Кларан давно уже понял в результате своих исследований, что Трущобная гора – не простое место, здесь находилось древнее святилище. Эта теория легко объясняет нынешнюю дурную славу грота. Душа народа, принявшего христианство, хранит неясные воспоминания о прежних святых местах и испытывает перед ними страх. Ибо старые боги, вытесненные новыми, обычно переходят в разряд демонов. Поэтому Церковь издавна стремилась уничтожить все языческие святыни и ставить на их место свои храмы.

Гиацинт де Лафит ликует:

– Этой теорией, мой друг, вы подтверждаете то, что я всегда говорил, а именно что провинция Бигорр по сути своей земля дохристианская. Здесь дочери пастуха или поденщика вполне может явиться богиня Диана или же нимфа местного источника. Между крестьянской девочкой первого века до Рождества Христова и такой же девочкой в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году нет такой уж большой разницы ни в душевном, ни в умственном развитии.

– Эти интересные выводы, господа, ни на шаг не продвигают нас к нашей цели, – страдальчески морщится Виталь Дютур. – Вы не отдаете себе отчета, какие неприятные последствия может иметь это безумие...

– Если это будет продолжаться, – вторит ему полицейский комиссар, глядя на свои грозные, но в данном случае бесполезные кулаки, – если все это будет продолжаться, придется вызвать армию и применить против демонстрантов военную силу. Никакое государство не может терпеть ежедневных сборищ такого масштаба. Я уже жду нагоняя от префектуры, за этим дело не станет. Барон Масси шутить не любит...

– Прямо-таки вопиющий скандал, – жалуется хозяин кафе. – Вчера даже «Меморьяль де Пирене» поместил об этом статью в два столбца под заголовком «Лурдские явления». А в последнем «Лаведане», кстати, имеется престранная испуганная статейка. Ходит слух, что ее сочинил и поместил под чужим именем аббат Пен по приказу Перамалья, дабы предотвратить худшее.

Виталь Дютур оглядывает присутствующих и понижает простуженный голос до хриплого шепота:

– Эти явления направлены лично против особы императора...

– Как так против особы императора? – недоуменно спрашивает кто-то. – Ведь императрица Евгения сама чрезвычайно религиозна...

– Как прокурор, я, вероятно, лучше знаю наш народ, господа. Император правит, опираясь на стоящую выше закона тайную полицию. А мы, французы, все без исключения, в душе анархисты. И если уж мы хотим подорвать авторитет правящей персоны, то для нас хороши все средства. Социализм, республиканизм – все это скучно, господа, все это приелось. Почему бы нам не воспользоваться мистицизмом?.. Но вот и доктор. Где вы пропадаете, Дозу?

Сегодня врач снимает свой редингот и задумчиво вешает на крючок. После чего присаживается к столу, уже не на бегу и не на пять минут. Настроен он, как кажется, отнюдь не лучшим образом. Дютур тотчас берет его в оборот:

– Ну, доктор, вы провели свое исследование?

– Насколько это было возможно, – лаконично отвечает Дозу.

– И каков результат?

– Результат, увы, не слишком значительный.

– Можно ли это назвать душевным заболеванием в медицинском смысле?

– Я считаю, что эта девочка не более сумасшедшая, чем вы или я, месье.

– Значит, она обманщица?

– У меня нет ни малейших оснований для подобного вывода.

– Тогда я могу предположить, любезный доктор, что вы принадлежите к тем, кто верит в чудо?

– О Пресвятая Дева! – в ужасе восклицает Дюран, молитвенно складывая руки. А Дозу кланяется прокурору, как бы представляясь:

– Мое имя – Дозу, я сотрудник «Курьер медикаль» и состою в переписке с известными учеными и общественными деятелями. Имею честь принадлежать к последовательным естествоиспытателям...

Виталь Дютур начинает терять самообладание:

– Но поскольку вы не подтверждаете ни душевной болезни, ни обмана, то вы должны считать эти видения подлинными.

– Видения могут быть подлинными в субъективном смысле, не существуя как объективная реальность.

– Кто видит объективно несуществующее, тот и есть сумасшедший...

– Тогда к сумасшедшим можно отнести Шекспира к Микеланджело, – резонно замечает Лафит.

Дозу вытаскивает из кармана три мелко исписанных листочка.

– Я набросал небольшую памятную записку о том, чему был свидетелем сегодня утром. Возможно, я пошлю ее в Париж Вуазену. Будет лучше, господа, если вместо бесполезных дискуссий я зачитаю вам свои краткие заметки... – Врач снимает пенсне, подносит записки прямо к близоруким глазам и бесстрастным голосом начинает их расшифровывать, запинаясь и не глядя на своих слушателей. – «Двадцать первое февраля тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года, семь часов десять минут утра. Вместе с большой толпой я подошел к гроту Массабель. Мне сразу удалось протиснуться вперед и оказаться рядом с Бернадеттой Субиру, которая достигла грота раньше всех остальных. Позади девочки стояла на коленях вся ее родня с горящими свечами в руках. Сама Бернадетта тоже держала свечу. Она непрерывно кланялась, не сводя глаз с ниши в стене грота, причем делала это самым непринужденным и почтительным образом. Эти поклоны показались мне смешными и трогательными одновременно, ведь они предназначались пустой темной дыре. Бернадетта держала в руке четки, но казалось, что она не молится. Очень скоро на ее лице появились те изменения, о которых мне уже рассказывали. Они самым наглядным образом отражали то, что девочка видела внутри скалы...»

В этом месте Жакоме недоверчиво кашляет, но Дозу не дает себя сбить и продолжает монотонно читать свой текст:

– «...Казалось, можно почти увидеть то, что видела девочка. Обмен приветствиями, радостные улыбки, восторженное вслушивание, осмысленные кивки в знак согласия – все это проделывалось так естественно и правдиво, как было бы не под силу самому величайшему актеру. Постепенно щеки девочки сделались белее мрамора, а кожа так натянулась, что на висках проступили кости черепа. Такое же изменение тургора, то есть натяжение кожного покрова, я наблюдал у чахоточных больных в последней стадии болезни. Казалось, наступило то месмерическое состояние, которое с недавних пор называют „трансом“. Я наклонился над пациенткой, чтобы провести исследование. Пульс у нее был хорошего наполнения, лишь немного учащенный, я насчитал восемьдесят шесть ударов в минуту. Насколько я мог определить, у нее не было ни повышения, ни понижения кровяного давления, какое обычно наблюдается при сильных мозговых спазмах. Следовательно, бледность щек и натянутость кожи на лице не были следствием нарушения кровообращения. Мне доводилось не раз наблюдать в Монпелье каталептиков во время приступа, и всегда я констатировал общее расстройство нервной системы, резкое изменение пульса и кровяного давления. В случае Бернадетты Субиру едва ли можно говорить о заболевании, связанном с изменениями в нервной системе, то есть о катаlepsии или истерии. Чтобы вполне в этом убедиться, я проверил также, насколько было возможно, глаз-

ные рефлексy. И тоже не заметил особых отклонений от нормы. Зрачки, правда, были немного расширены, радужная оболочка чуть стянута, а белки глаз казались блестящими и влажными. Но эти признаки можно наблюдать у любого человека, который пристально и с напряжением во что-то вглядывается. Для транса, в который впала Бернадетта, вообще было характерно не столько отключение сознания, сколько напряжение и огромная концентрация внимания. К примеру, девочка держала в руке горящую свечу. Погода была довольно ветреная. Иногда порыв ветра с Гава задувал пламя. Бернадетта каждый раз это замечала и, не поворачиваясь, протягивала свою свечку стоящим сзади, чтобы они вновь ее зажгли. Когда я осматривал пациента, у меня создалось впечатление, что она знает, что именно с ней происходит...»

– У меня тоже такое впечатление, что она точно знает, что происходит, – язвительно замечает Дютур, но Дозу, оставив его реплику без внимания, продолжает чтение:

– «...Только когда я закончил свой осмотр, она поднялась с колен и на несколько шагов приблизилась к нише. Поскольку я стоял к ней ближе всех, я расслышал, как из ее груди дважды вырвалось протяжное „да“. Когда она снова повернулась к нам, ее лицо совершенно изменилось. Раньше оно выражало застывшую радость, теперь превратилось в трагическую маску страдания и печали. Крупные слезы текли по ее щекам... Несколько минут спустя видение, вероятно, исчезло. Бернадетта, вновь порозовевшая, жестом дала это понять. „Почему ты перед тем плакала?“ – спросил я ее. Она тотчас, ничуть не смутившись, ответила: „Потому что дама больше на меня не смотрела, она глядела поверх голов на остров Шале и на город. И на лице у дамы вдруг возникла такая скорбь, и она мне сказала: «Молитесь за грешников»“. Поскольку я хотел проверить ее умственные способности, я тут же задал вопрос: „А ты знаешь, кто такой грешник?“ – „Знаю, месье, – быстро ответила она. – Грешник тот, кто любит дурное“. Хороший ответ. Мне понравилось, что она сказала „любит дурное“ вместо привычного „поступает дурно“. Ее слова убедили меня, что нет никаких оснований говорить о слабоумии. Взволнованная толпа между тем с напряженным вниманием следила за происходящим, словно присутствуя на необычайном богослужении. Когда все кончилось, толпа разразилась стихийной бурей аплодисментов, и это произвело на меня гнетущее впечатление, словно опасное явление природы. Бернадетта, однако, не обращала ни малейшего внимания на похвалы и благословения, которые сыпались на нее со всех сторон. Казалось, девочка даже не подозревает, что она значит для всех этих людей. Она явно торопила свою свиту побыстрее уйти, чтобы ускользнуть от обременительных знаков расположения». Это все, я кончил, – сказал доктор Дозу, который с величайшим трудом и многими паузами дочитал наконец свою довольно неразборчивую, но чуть ли не стенографическую запись. Все растерянно молчали. Даже владелец кафе, человек хоть и просвещенный, но простодушный, на этот раз не знал, что сказать. После продолжительной паузы слово взял прокурор.

– Если я правильно понял науку, – суммировал он услышанное, – то она в равной степени исключает как обман, так и душевное заболевание или чудо. Но позвольте мне задать вопрос уважаемой науке: что же тогда остается?

– Да, что же тогда остается? – задумчиво повторил доктор Дозу.

Глава четырнадцатая

Секретное совещание, которое оказывается прерванным

Мэр Лакаде нервно расхаживает по своему кабинету на улице Бур. На нем привычный черный сюртук, ведь еще полчаса назад, украсив себя широкой трехцветной лентой, он проводил очередную праздничную церемонию. В петлице, как всегда, пылает розетка Почетного Легиона. Но физиономия мрачная, словно вокруг сгустились тучи. Гладко выбритые отвислые щеки, под которыми торчит остроконечная борода с проседью, кажутся еще более сизыми, чем обычно. Причина его дурного настроения лежит тут же, на зеленом сукне стола, за кото-

рым сидит его помощник Курреж, отец рыжеволосой Аннет из свиты Жанны Абади. Причина эта – официальное письмо из Аржелеса, подписанное собственноручно господином Дюбоз, супрефектом.

«Мэру Лурда вменяется в обязанность незамедлительно подать донесение о фактах нарушения общественного порядка в городе Лурде, а также о мерах, принятых для пресечения подобных нарушений и несанкционированных народных сборищ».

– Что же мне теперь, засадить в кутузку Пресвятую Деву? – бушует Лакаде. – Но это не в моей компетенции. Такие полномочия имеет лишь прокурор. Только он может потребовать ее привода силами жандармерии. Государство – это одно, а местное самоуправление – совсем другое. Я представляю общину. Неужели почтенному супрефекту это не ясно?

– Но нам все же придется что-нибудь предпринять, господин мэр, – говорит Курреж.

– Увы, кто это знает лучше меня? – Лакаде в ярости вытаскивает из ящика и бросает на стол целую кипу газетных вырезок. – Вся местная пресса оттачивает на нас зубы, а уж Париж – так просто хохочет...

Курреж, который время от времени поглядывает на дверь, осторожно откашливается.

– Думаю, господин мэр, господа уже ждут...

Лакаде выпрямляется, вытаскивает из кармана расческу и начинает поспешно приводить в порядок свою строптивую бородку.

– Ну что же, Курреж, попросите их войти. Хоть совещание и секретное, но на всякий случай побудьте в приемной, вдруг мне понадобится свидетель.

Мэр протягивает обе руки навстречу имперскому прокурору и комиссару полиции.

– Я нарушил ваш воскресный отдых, господа, – говорит он звучным голосом оратора. – Но как глава здешней общины я не могу больше обходиться без поддержки гражданских властей. Случай очень сложный. Я уже получил официальный запрос господина супрефекта. В нем, конечно, наши беспорядки сильно преувеличиваются. Этим, кстати, грешит вся либеральная пресса, для которой наш бедный Лурд стал лакомой поживой. Мы сделались средоточием огорчительного общественного интереса. Честно вам признаюсь, что для меня небольшой бунт лесорубов или рабочих сланцевых карьеров был бы легче, чем эта кошмарная история, к которой не знаешь, как подступиться. Уж позору-то точно было бы меньше. Я, который прилагает все силы, дабы приобщить наш бедный Лурд к цивилизации, предвижу сейчас полный крах своих планов. Разве после этой шумихи мы получим разрешение на постройку железнодорожной ветки к Лурду? Да мне сразу же дадут от ворот поворот. А новый водопровод? На этой идее можно просто поставить крест. А гости из Парижа? А открытие целебных источников с помощью ученых? Все летит к черту! Какие парижане рискнут приехать в наше захолустье, где нет ни курзалов, ни лечебных заведений, зато есть грязные пещеры, где справляют свой шабаш средневековые призраки? Тут речь идет о куда более серьезных вещах, чем просто о болтовне маленькой лгуни или идиотки...

– Предлагаю, – прерывает эти стенания прокурор, – для начала ознакомиться с возможностями, которые дает нам закон...

– Это уж ваша область, господа, – вздыхает мэр, откидываясь в кресле, прикрывая глаза и смиренно складывая руки на объемистом животе.

С любовью к эффектным выводам, которая не покидает хорошего юриста даже при остром гриппе, Виталь Дютур, приятно оживившись, приступает к делу:

– Итак, господа, состав преступления следующий. Четырнадцатилетняя девочка низкого происхождения и отнюдь не выдающихся умственных способностей утверждает, что периодически видит некое сверхъестественное существо. Пока в этих голых фактах, согласно нашему кодексу, еще нет ни проступка, ни преступления, которое могло бы быть основанием для вмешательства закона. Даже если девочка станет уверять, что к ней является не кто иной, как Пресвятая Дева, или Богоматерь, то и тогда лишь с величайшим трудом ее можно обвинить в

нарушении религиозных правил. Но девочка Субиру, насколько мне известно, говорит только о «даме», о «молодой даме», о «необыкновенно красивой даме». Как ни досадны могут быть эти наивные, я бы сказал, наивно-бесстыдные выражения для истинно верующей души, но назвать их святотатством в чисто юридическом смысле нельзя, так как молодая красивая дама есть всего лишь молодая красивая дама. Следовательно, голые факты, с которыми мы имеем дело, не годятся для возбуждения судебного преследования...

– Если господин имперский прокурор позволит мне сделать замечание, – с подобающей скромностью вмешивается Жакоме, – то голых фактов было бы достаточно для задержания девчонки, если бы можно было бы доказать обман или сумасшествие...

– Но, любезный Жакоме, – с досадой останавливает его прокурор, – это все уже обсуждалось. Вы же слышали пятнадцать минут назад мнение нашего городского эскулапа, который категорически отрицает и то и другое. Должен сказать, поведение этого представителя науки меня немного огорчило...

Мэр бросает на обоих собеседников утомленный взгляд:

– Господа считают голыми фактами только эти видения. Но видения как таковые не интересуют ни городские власти, ни государство. Конечно, было бы полезно некоторые видения запретить. Но даже самое суверенное правительство не располагает для этого необходимыми средствами. Я рассуждаю не как юрист, а как простой гражданин. Здравый рассудок подсказывает мне, что инкриминировать следует не сами видения, а вызванное ими непонятное народное движение...

– Если бы меня не перебивали, – досадливо говорит Дюран, – я бы сразу же перешел к пункту второму. К народному движению я отношусь, вероятно, куда серьезнее, чем господин мэр. Я вижу в нем вредоносную, подрывную тенденцию, направленную против государства. Что ж, рассмотрим факт наличия этих возмутительных сборищ с точки зрения закона! Что делают эти люди? Они встречают малышку Субиру у ее дома, совершают вместе с ней паломничество к Трущобной горе, стоят там на коленях, держа в руках зажженные свечи, молятся по четкам, не скупятся на аплодисменты и под конец мирно расходятся по домам... Как это можно запретить?

– Это нужно запретить! – ожесточенно восклицает Лакаде.

– Но каким образом, уважаемый? Вы можете мне назвать параграф, налагающий запрет на такие действия?

– Боюсь, что такого параграфа нет, – нерешительно говорит мэр.

Прокурор делает ироническую паузу и затем сухо поясняет:

– Таких параграфов два, господин мэр, и первый вы должны были бы знать лучше меня. Он содержится в «Королевском указе о практике городского управления» от восемнадцатого июля тысяча восемьсот тридцать седьмого года.

– Тотчас же велю Куррежу разыскать этот указ...

– Нет надобности, – скромно говорит Дютур, – я помню его наизусть. Он предоставляет мэрии право закрывать для общественного движения все дороги, тропинки, мосты, перекрывать доступ в любую местность, если только здоровью и жизни жителей на этих дорогах или в этой местности грозит опасность.

– Черт возьми, превосходно, господин прокурор! – кивает мэр. – Сразу видно блестящего юриста! Где была моя собственная голова! Приказа о закрытии дороги, который я вправе отдать, вполне достаточно. Рискованная лесная тропа через гору действительно опасна для жизни. Сегодня же прикажу Калле объявить о том, что эта дорога закрыта...

Прежде чем вставить слово, прокурор ведет долгую утомительную борьбу со своим насморком.

– Этого в настоящее время я вам решительно не рекомендую.

– Но я понял, что вы сами советуете мне использовать этот параграф, и тогда...

Виталь Дютур обращает внимание на портрет Наполеона III, где в бледном зимнем свете можно различить лишь бело-голубую орденскую ленту на груди императора.

– Его я сделал своей путеводной звездой во всех политических вопросах, – объявляет прокурор. – «Власти не должны предпринимать шаги, цель которых достаточно прозрачна». Если закрыть доступ к Массабьелю, все верующие в чудо станут говорить, что мы боимся Пресвятой Девы. И неверующие скажут то же самое. Те и другие будут над нами смеяться. Кроме того, когда вы закроете путь через гору, останутся еще три дороги, о которых никто не может сказать, что они опасны... Вторая возможность, о которой я говорил, кажется мне гораздо более серьезной. Вероятно, вы догадываетесь, что я имею в виду, любезный Жакоме?

– О господи, я всего лишь простой полицейский, господин прокурор...

Виталь Дютур снимает с пальца перстень с печаткой и стучит им по столу, требуя внимания.

– Господам, наверно, известно, – торжественно начинает он, – что правительство Франции заключило конкордат с папским престолом. Вчера я не поленился специально перечитать текст этого конкордата. Девятая статья в нем гласит, что церковная сторона обязуется не открывать новых мест для богослужений без предварительного согласия министерства по делам культов... Понимаете, господа, к чему я веду?

– И эту статью, по вашему мнению, можно применять? – осторожно спрашивает Лакаде, опасаясь снова попасть впросак.

– И да, и нет. Все зависит от позиции Церкви.

– За всей этой аферой наверняка прячутся сутаны, – уверенно заявляет Жакоме.

– Надеюсь, что так, друг мой, – снисходительно говорит прокурор. – Но Перамаль далеко не дурак.

Адольфа Лакаде внезапно одолевает смех.

– Подумайте, кого только не переполошила эта маленькая идиотка! Император и папа лично подписали конкордат...

В эту минуту дверь приоткрывается, и в щель просовывается голова Куррежа.

– Вы назначили еще одну встречу, господин мэр?

– О чем вы, Курреж? Вы же знаете мое расписание не хуже меня...

– С вами желают поговорить, и весьма настойчиво...

– К чему эти обиняки? У меня нет тайн...

– К вам посетитель, – выпаливает наконец помощник мэра. – Декан Перамаль собственной персоной.

Лакаде поднимается и спешит в приемную со всей скоростью, какую допускают его комплекция, достоинство и возраст. Из приемной доносится его голос, в котором звучат самые теплые ноты.

Декану Перамалю сорок семь лет, это человек огромного роста и необыкновенно могучего телосложения. У него страстное лицо, не по годам изборожденное морщинами. В шубе и меховой шапке он напоминает скорее отважного путешественника, исследователя дальних земель, чем лурдского викария. Между духовенством и светскими властями Южной Франции отношения почти всегда напряженные. Это результат испытанной тактики правительства, которое, не чувствуя себя в полной безопасности, не устает натравливать друг на друга враждебные силы, чтобы держать их всех в узде. Жители Южной Франции пропитаны духом строгого католицизма и мало затронуты новомодными нигилистическими веяниями. Вследствие этого на государственные должности здесь назначают преимущественно так называемых «вольтерьянцев». Лурдский декан – не тот человек, чтобы страшиться или хотя бы избегать «вольтерьянцев», ибо, в отличие от многих из них, занимающих важные посты, он читал Вольтера. Робость и страх вообще несвойственны этому отважному мужу. Время от времени он рискует даже показываться в кафе «Прогресс», в этой львиной пещере либерализма, когда,

возвратившись из своих поездок по сельским церквям и промерзнув до костей, заходит туда пропустить стаканчик кальвадоса. Забавно видеть, с какой поспешностью львы либерализма устремляются к этому Даниилу, чтобы приветствовать его и удостоиться рукопожатия. Перамаль подчеркнуто терпим, как все глубоко пристрастные и нетерпимые люди. Это лишний раз доказывает, что только колеблющиеся, способные отступить от своей веры, склонны всегда и везде выставлять наружу яростную нетерпимость. Такую закаленную личность, как Перамаль, воззрения противника с толку не сбывают. Он знает, что истина есть истина, и эту истину он не только принял за долгие годы своей духовной карьеры, но и привык добросовестно защищать. Он не из тех, кто всем сомнениям этого века подставлял непробиваемый медный лоб. Но теперь его борения давно позади. Львы не вгонят его более в жар, зато его гнев может обрушиться на иных агнцев из его паствы, которые боятся малейшего холодного дуновения. Вообще-то, Перамаль при известных обстоятельствах становится настоящей бочкой с порохом. Так бывает, когда кто-либо, пусть даже его начальник, осмеливается влезать в его церковные и благотворительные дела. Особенно последние являются предметом нападок высшего света, олицетворением которого в Лурде является многочисленное семейство де Лафит. В этих кругах считают, что любовь декана к низшим классам не обязательно должна сопровождаться резкостью по отношению к верхам, тем более когда человек происходит из такой превосходной семьи ученых, как Перамаль. Декан не просит богачей о милостыне, он требует с них обязательную дань. Аббат Помьян, признанный сочинитель афоризмов, назвал его как-то «поджигателем на ниве милосердия».

– Вы простудитесь, ваше преподобие, – говорит Лакаде, уговаривая декана снять шубу. – Взгляните только на нашего бедного прокурора...

У декана звучный бас, металл которого приглушается легкой хрипотцой. Этот голос приводит в восторг всех женщин Лурда. Своими раскатами он заполняет кабинет мэра.

– То, что мне нужно сказать, я скажу быстро. Я знаю, господа пытаются разгрызть твердый орешек. И я пришел, чтобы вам помочь. Вы допустите огромную ошибку, если вообразите, что мои капелланы и я сам придаем хоть какое-нибудь религиозное значение так называемым явлениям в Массабьеле...

– Стало быть, вы отрицаете возможность сверхъестественного феномена, ваше преподобие? – перебивает его Виталь Дютур.

– Стоп, сударь. Я никоим образом не отрицаю возможность появления сверхъестественных феноменов. Я лишь сомневаюсь, что Господь Бог решил ниспослать чудеса именно на нас. Важнейшая предпосылка сверхъестественного явления есть готовность душ к его восприятию. До этой готовности нам так же далеко, как до Небес. Я вообще не хотел бы употреблять в данных обстоятельствах высокое слово «чудо». Случай в Массабьеле, если это не чистое надувательство, чего я не исключаю, можно отнести скорее к области спиритизма, оккультизма, духовидения и тому подобного бабского колдовства, от которого Церковь с возмущением отворачивается.

– Как интересно и как отраднo это слышать, – с одобрением кивает Лакаде. – Вы знаете девочку Субиру, господин кюре?

– Не знаю и не желаю знать.

– А не стоит ли вашему преподобию лично провести с ней беседу и хорошенько ее отчитать? – спрашивает прокурор.

– Это совершенно не входит в мои намерения, господа. Пощадите меня! Дело властей, и только властей, урезонить эту малолетнюю преступницу или психопатку.

– Но, господин декан, вы же хотели помочь властям, – напоминает Жакоме.

– Я уже сделал это, запретив всем священникам моего прихода ходить к гроту и уделять этой истории хоть малейшее внимание. В том же духе я отправил сообщение господину епископу. Далее, я настоятельно рекомендовал святым сестрам, преподающим в школе, и прежде

всего классной наставнице девочки сестре Возу, употребить весь свой авторитет вплоть до самых строгих мер воздействия, чтобы положить конец этой безобразной истории. Это все, что я мог сделать.

– Ваша власть над здешними людьми безмерна, господин декан, – льстит ему Лакаде. – Вы апостол простых людей. Разве не пошло бы на пользу дела, если бы вы сами возвысили свой голос...

– Я не намерен лично раздувать значение этого фиглярства, – обрезает Перамаль и нахлобучивает на голову меховую шапку. – Засим желаю приятного воскресенья.

– Так можно ли нам применить статью девять из конкордата? – спрашивает прокурора мэр, проводив Перамалья до самой лестницы.

– В том-то и парадокс, – ворчит Дютур. – Выступив на нашей стороне, этот хитрец закрыл нам лазейку. Борьба с церковными властями была бы решительно выгоднее, чем это его согласие. Теперь мы одни за все в ответе.

– Черт побери, – стонет Лакаде. – Нынче там было две тысячи человек, завтра их будет три, послезавтра – пять тысяч, а у нас – один Калле да несколько жандармов.

– Не разрешите ли вашему покорному слуге внести одно предложение? – внезапно вмешивается Жакоме. – Я не слишком-то разбираюсь в высокой политике, но наш брат постоянно имеет дело с преступным элементом: с грабителями, ворами, бродягами, пьяницами и всякого рода негодяями. Поневоле выучишься давить на людей и внушать им страх. Черт меня побери, если я не сумею так запугать девчонку Субиру, что она прекратит свои игры еще сегодня. А если девчонка не осмелится больше ходить к гроту, то вся бесовская канитель закончится уже завтра. Прошу имперского прокурора и господина мэра доверить это дело мне...

– С этим можно согласиться, любезный Жакоме, – отвечает Дютур после некоторого раздумья. – Кроме того, процедура вполне законная, ибо вы представитель власти низшей инстанции. Только мне хотелось бы составить о девочке собственное мнение. Поэтому я тоже намерен ее допросить, еще прежде вас, но в непринужденной обстановке, у меня дома. Примите, пожалуйста, необходимые меры, чтобы ее доставить. Вы не возражаете, господин мэр?

Лакаде давно уже сидит как на иголках. Колокола звонят полдень, у него кисло во рту, Бернадетта лишила его привычного удовольствия выпить стаканчик мальвазии.

– Действуйте без промедления, господа! – призывает он, хватаясь за шляпу. – Ведь от вас зависит, получит ли Лурд железную дорогу...

Глава пятнадцатая

Объявление войны

Портниха Антуанетта Пере очень надеялась, что капризной вдове скоро надоест Бернадетта и она рано или поздно откажет ей от дома. Как многие выходцы из низов, она не может допустить, чтобы другой выходец из низов охотился в тех же угодьях, что и она, и, как нарочно, по ее собственной вине. Если бы она могла предвидеть, какие это возымеет последствия, она никогда в жизни не высказала бы свою догадку о бедной скорбящей душе, явившейся из чистилища. К несчастью, Милле просто втюрилась в «маленькую ясновидицу», как она ее называет, и когда произойдет перемена в ее настроении и девочку выставят, не может предсказать никто, даже Пере, столь близко знающая свою покровительницу. Но к великому удивлению Пере, происходит обратное: не мадам Милле отказывает Бернадетте от дома, а Бернадетта отказывается от гостеприимства мадам Милле. И это случается, вернее, уже случилось, вчера, в субботу, перед самым обедом, на который Пере даже не пригласили. Бернадетта, которая перед этим коротко совещалась с тетей Берnardой, сделала глубокий книксен перед мадам Милле и сказала:

– Тысячу раз благодарю вас за вашу доброту, мадам, но я думаю, будет лучше, если я вернусь к родителям...

Милле испугалась, ее двойной подбородок задрожал.

– Господи Всемогуший, что все это значит, дитя мое? Разве тебе у меня не хорошо?

– Да, мне здесь нехорошо, – свободно и непринужденно призналась Бернадетта и тут же добавила: – Но только по моей вине.

– Разве тебе у меня не нравится? Разве здесь не красиво?

– Слишком даже красиво, мадам, – признается Бернадетта.

Присутствующая при этой сцене портниха изумленно хлопает глазами. Она ожидала гневного словоизвержения, которое так часто обрушивалось на нее самое. Но вновь происходит обратное: богатая вдова начинает хлопать носом.

– Ты благословенное дитя, Бернадетта. Я уважаю твое решение. Увидимся завтра утром у грота...

– Да, мадам, увидимся завтра утром у грота.

Милле крепко держит руки девочки в своих руках, как будто не может с ней расстаться.

– Но, надеюсь, на обед ты еще останешься, дитя мое. Будет рагу из зайца...

– Рагу из зайца, – мечтательно повторяет Пере, большая любительница гастрономических радостей.

– Большое спасибо, но я лучше сразу пойду домой, мадам, – просит Бернадетта. – Можно мне попрощаться с месье Филиппом...

После ухода девочки Милле отсылает и портниху:

– Лучше бы вам оставить меня сейчас одну, любезная Пере. Мне сегодня не требуется общество за столом...

По дороге домой тетя Бернарда говорит Бернадетте:

– Я охотно пригласила бы тебя к себе, и не только потому, что ты моя крестница. Ты могла бы спать наверху, вместе с тетей Люсиль. Но думаю, ты правильно поступишь, если вернешься к родителям, так как языки у людей очень злые. На тебя сейчас все смотрят. Постарайся, чтобы это не вскружило тебе голову...

Это предостережение совершенно излишне. Непохоже, чтобы слава могла вскружить Бернадетте голову. Девочка ее просто не замечает. Гораздо больше ее тяготит, что отношения в кашо окончательно лишились былой естественности. Мать все еще держится скованно, молча возится по хозяйству, а когда встречается взглядом с дочерью, у нее сразу же текут слезы. У отца крайне удрученный вид, он молчит, как и мать, и его напускная болезнь сменилась вовсе не напускным смущением, от которого у Бернадетты сжимается сердце. Какой печальный симптом: Субиру стесняется перед дочерью своей излюбленной привычки – забраться днем в постель и сладко поспать. Ведь его дочь, возможно, ясновидящая, а возможно, и того почище, как болтают старые женщины. Господи, за что ему такое? У бывшего мельника это просто в голове не укладывается. Во всяком случае, ему легче забиться в уголок у папаши Бабу, чем постоянно иметь перед глазами такое необыкновенное существо, как Бернадетта.

Даже сестра Мария, самая близкая, держится до ужаса замкнуто и неестественно. В разговоре с Бернадеттой она все время перемежает привычный диалект французскими фразами, заученными в школе. И братья, Жан Мари и Жюстен, стараются по возможности улизнуть от Бернадетты. Любимая прежде сестричка внушает им робость и страх. К тому же в кашо теперь постоянно толкуются посетители. Не говоря уже о ближайших соседях, таких как супруги Сажу или Бугугорты, к ним заглянул и сам почтмейстер, господин Казенав, за ним последовали булочник Мезонгрос, Жозефин Уру, Жермен Раваль и даже такая состоятельная дама, как Луиза Бо, притащившая с собой свою камеристку Розали на том основании, что у той тоже бывают видения. Постучался к ним в дверь и почтенный сапожных дел мастер Барренг, чьи руки уже трясутся от старости. Он принес Бернадетте в подарок кожаный пояс, изготовлен-

ный этими трясущимися руками. Роскошная фарфоровая пряжка на поясе украшена ликом Мадонны.

– Вот тебе твоя дама, – говорит Барренг, отдавая ей пояс.

– Но это вовсе не моя дама, – говорит Бернадетта, к досаде мастера.

При таких обстоятельствах семья рада-радешенька, когда матушка Сажу предлагает освободить для Бернадетты крохотную каморку под крышей. И Бернадетта тоже рада, что сможет в уединении непрерывно думать о том, что из пятнадцати обещанных ей дней любви и счастья прошло только три. «Еще двенадцать, еще целых двенадцать раз!» – повторяет она про себя.

В это воскресенье Луиза Субиру превосходит самое себя. Она готовит к обеду бараний бок, который ей почти что даром навязал мясник Гозо. Луиза щедро сдобрила мясо кореньями и чесноком. И только семья садится за этот сказочный обед, как в дверь входит полицейский Калле, всегдашний вестник несчастья.

– Вашей малышке придется пойти со мной, – бормочет он, сдвигая трубку в угол рта.

– Я знал, – горестно стонет Франсуа Субиру, – я знал, что этим кончится... – Он видит перед собой того же посланца суда, который когда-то по подлому доносу посадил его в тюрьму.

– Не бойтесь, – смеется Калле, – на этот раз еще нет приказа об аресте. Господин имперский прокурор просто хочет посмотреть на вашу малышку...

– Но дайте ей по крайней мере закончить обед, месье Калле, – молит Луиза, для которой в данный момент важнее всего на свете, чтобы дочь не лишилась изысканного блюда.

– Дело терпит, – добродушно кивает блюститель порядка. – Ешьте спокойно и с удовольствием. Суд подождет.

Несмотря на свою добродушную снисходительность, Калле удивлен, что злоумышленница спокойно, почти лениво опустошает свою тарелку.

Виталь Дютур, которому все еще нездоровится, решил ограничиться на обед чашкой горячего бульона. Но как только ему докладывают о приходе Бернадетты, он тут же оставляет бульон и спешит в кабинет. Освещение в этой комнате скудное. Но в камине ярко пляшет огонь над четырьмя лиственничными поленьями – таких роскошных дров Бернадетта еще не видела. Государство снабжает своего слугу прекрасными дровами в качестве «прибавки к жалованью». С той поры как Дютур подхватил тяжелую простуду, он велел передвинуть свой стол поближе к камину. Сидя спиной к окну, он разглядывает злоумышленницу в лорнет и приказывает ей подойти к столу. Первое впечатление говорит: все в порядке. Обычный здешний бедняцкий ребенок, похожий на сотни других. Затем он замечает, как бедно она одета: ее детскую, не лишенную привлекательности фигурку прикрывает не платье, а какая-то нелепая роба. Это все тот же старенький капюле. Дютур, который живет в этой провинции недавно и не очень разбирается в одеждах, принимает его за некое восточное покрывало или накидку, какие, к примеру, носят женщины Мадраса. Но эта накидка так застирана, так вылиняла, что узор на подоле уже невозможно разглядеть. Круглощекое лицо девочки под накидкой оказывается в глубокой тени, что придает ее чертам особую миловидность. Длинный подол свисает чуть ли не до щиколоток, из-под него торчат ножки в маленьких деревянных башмачках. Вся эта девичья фигура похожа на незаконченное творение скульптора, которое он начал, а затем посреди работы отставил. Каждая складка одежды, каждая светотень говорят о начале, о незрелости, о том, что это творение пока не завершено и многое в нем передано только намеком. Правда, глаза, огромные черные глаза под накидкой, не производят впечатления незрелости. Прокурор никак не может отделаться от мысли, что видит глаза любящей женщины. Сколько раз он видел такие женские глаза в судебных залах, они всегда глядят зорко, они настороже, ибо защищают главное сокровище своего сердца.

– Ты знаешь, кто я, дитя мое? – начинает разговор Дютур, сверкая лысиной и нервно одергивая крахмальные манжеты.

– Да, конечно, знаю, – медленно, раздельно произносит Бернадетта. – Месье Калле сказал мне, что вы – господин имперский прокурор.

– А ты знаешь, кто такой имперский прокурор?

Бернадетта легонько касается стола и внимательно смотрит на Дютура:

– Нет, совсем точно я этого не знаю...

– Тогда я скажу тебе, дитя мое. Меня назначил сюда лично его величество император Франции, наш повелитель, и обязал меня следить за тем, чтобы всякое неправо дело было раскрыто и виновный понес наказание. А среди таких неправых дел можно назвать ложь, обман, от которого страдают другие люди... Теперь ты знаешь, кто я такой?

– Да, вы то же самое, что господин Жакоме.

– Нет, моя милая, я выше господина Жакоме, я его начальник. Он разыскивает преступников и обманщиков и передает их мне, чтобы я отдал их под суд, а затем отправил в тюрьму. Еще сегодня господин Жакоме вызовет тебя на допрос. Я же говорю с тобой не как начальник господина Жакоме, а потому, что мне тебя жаль, я хочу тебя предостеречь и помочь тебе. Если ты скажешь мне всю правду и будешь вести себя разумно, я, пожалуй, сумею избавить тебя от допроса у господина Жакоме. Посмотрим, что можно будет для тебя сделать.

Глаза девочки, защищающие великую любовь, внимательно вглядываются в лицо мужчины, они по-прежнему настороже. Прокурор немного понижает голос:

– Вокруг твоей персоны, малышка, в городе очень много шума. Разве это тебя не пугает? Ответь мне, Бернадетта, я задам тебе сейчас очень серьезный вопрос: ты собираешься завтра утром снова идти к Массабьелю?

Обычно спокойные глаза Бернадетты загораются, девочка не может этого скрыть.

– Конечно, – быстро отвечает она. – Я должна еще двенадцать раз ходить к гроту. Дама так пожелала, а я дала ей слово...

– Вот мы добрались и до дамы, – говорит Дютур разочарованным тоном, показывая девочке, что он ожидал от нее лучшего ответа. – Ты должна согласиться со мной, малышка, что ты еще очень глупа и необразованна. В школе ты самая плохая ученица. Суду все известно! Ты признаешь, что все твои одноклассницы, даже те, кто младше тебя, обогнали тебя и в чтении, и в письме, и в счете, и в изучении религии?

– Это правда, сударь, я глупа.

– Следовательно, ты согласна, что все твои соученицы умнее тебя. А теперь подумай, дитя мое, как обстоит дело со взрослыми? Особенно с теми, кто много лет учился, кто узнал все, что можно было узнать. Я говорю о таких людях, как аббат Помьян или я сам. И эти ученые люди, которые все знают, скажут тебе, что дама, которую ты якобы видишь, – всего лишь детская фантазия, нелепый сон...

Бернадетта потерянно глядит на часы, которые усердно тикают на каминной полке.

– В первый раз, когда я увидела даму, – говорит она, – я тоже сначала подумала, что это сон...

– Вот видишь, девочка, тогда ты была не так уж глупа... А теперь ты не веришь тому, что говорят тебе взрослые и ученые люди?

Бернадетта улыбается своей умудренной женской улыбкой:

– Сон можно принять за действительность один раз, но не шесть раз подряд.

Виталь Дютур поражен. Какой меткий, убийственный ответ. Действительно, галлюцинации отличаются от снов. Поскольку господин прокурор не имеет опыта ни в том, ни в другом, он вступает здесь в незнакомую область.

– Но сны иногда повторяются, – говорит он.

– Я видела это вовсе не во сне, – объясняет Бернадетта звонким уверенным голосом. – Еще сегодня я видела даму, как вижу всех остальных. И я говорила с ней, как говорю с другими людьми...

– Оставим это, – прерывает ее Дютур, чувствующий, что в области трансцендентного он значительно уступает своей собеседнице. – Расскажи мне лучше, как живет твоя семья. Я имею в виду, как у вас сейчас дома...

Бернадетта отвечает с откровенностью, свойственной простым людям, которым не знакомо буржуазное тщеславие. Она честно признается:

– Еще десять дней назад мы жили очень плохо, месье. Из еды у нас была только мучная похлебка. Но теперь мама три раза в неделю ходит работать к мадам Милле, и отец тоже работает на почтовой станции у месье Казенава...

Этим ответом прокурор как будто очень доволен.

– Ага, стало быть, знакомство с дамой имеет и свою практическую сторону... Что это за история с мадам Милле?

Бернадетта долго глядит на прокурора, прежде чем ответить:

– Не знаю, что вы имеете в виду, месье...

– Ты очень хорошо знаешь, малышка. Вспомни, суду известно всё, абсолютно всё! Ты утаила от меня, что живешь в доме мадам Милле...

– Но это неправда. Я уже там не живу. Я ночевала там всего две ночи, в прошлый четверг и в пятницу.

– Этого вполне достаточно. Тебя пригласили в один из самых богатых и роскошных домов Лурда. Без своей дамы ты бы никогда туда не попала.

Бернадетта резко встряхивает головой, так что ее капюшон съезжает, открывая темно-волосую, причесанную на пробор головку.

– Мадам Милле сама меня пригласила. Она просила маму, чтобы я у нее пожила. Я сделала это не для себя, а чтобы доставить радость мадам Милле. Мне это особой радости не доставило...

– А белое шелковое платье? – спрашивает прокурор инквизиторским тоном.

– Я его не носила. Оно висит в шкафу мадемуазель Латапи.

Отодвинув кресло, прокурор встает:

– Остерегись, Бернадетта! Ты ведь знаешь: суду известно всё! Суд знает и о подарках, которые многие люди приносят тебе и твоим родителям. Если суд придет к выводу, что твоя дама – всего лишь ловкий и выгодный обман, ты погибла... Но я хочу протянуть тебе руку помощи, хочу тебя спасти. Хочу даже уберечь от допроса у господина Жакоме, ведь это первый шаг на пути в тюрьму. То, что я от тебя требую, выполнить легко. Ты не должна ни от чего отрекаться, не должна давать никаких объяснений. Пообещай мне только, что отныне ты будешь меня слушаться, ведь я и есть суд, который тебе грозит...

– Если я смогу, месье, я буду вас слушаться, – звучит невозмутимый ответ Бернадетты.

– Тогда дай мне руку и скажи, что не пойдешь больше к гроту.

Бернадетта отдергивает руку, как от огня:

– Этого я не могу вам обещать, сударь. Я должна выполнить желание дамы.

Прокурор сердито выпячивает нижнюю губу:

– Итак, ты отклоняешь руку, готовую тебе помочь. Подумай хорошенько! Предостерегаю тебя в последний раз!

Бернадетта опускает голову. Ее лицо розовеет.

– Я должна ходить к гроту еще двенадцать дней, – шепчет она.

Прокурор с удивлением констатирует, что ему трудно сохранять хладнокровие.

– Мы кончили! – говорит он, повысив голос. – Ты мне больше не нужна. Ты сама стремишься к своей гибели...

Оставшись один, прокурор чувствует смущение и стыд. Он так привык к своему превосходству, к легким победам в зале суда. Но там ему приходится иметь дело главным образом с людьми запуганными и сломленными, у которых все поджилки трясутся, которые молят о

жалости и сострадания. «Я протягиваю вам руку помощи, чтобы спасти вас» – это его обычная фраза, которая почти никогда не подводит. Обвиняемые обычно проливают обильные лживые слезы. Удивительно, что девочка не пролила ни слезинки. Несмотря на испытанную сотни раз ядовитую смесь из угроз и предложений помощи, девочка осталась тверда. Хуже того, не он вселил в нее неуверенность, а она в него. Этот допрос оставил у него в душе неприятный осадок, имеющий отношение к его собственной жизни. На мгновение Дютуру становится ясно, что упрек в приспособленчестве, в притворстве, который он бросил этому изголодавшемуся созданию, в полной мере относится к нему самому. Разве его так называемая карьера – не ловкая спекуляция с целью извлечения выгоды, не беспринципная сделка с теми силами, которые в данный момент находятся у власти? Странно, этой девочке было что защищать, пусть даже призрак, плод ее больного воображения. «Именно этот призрак и сделал ее сильнее меня, – думает прокурор. – То, что защищаю я, мне совершенно безразлично. Сегодня это Наполеон, вчера был Луи Филипп, завтра у руля может оказаться Бурбон или какой-нибудь ловкий адвокатика. Государство, ха-ха, государство...»

Дютур испуганно застывает у зеркала. Какая ничтожная физиономия ухмыляется ему оттуда, какое недовольное бесцветное лицо с пылающим распухшим носом! И господин прокурор не может удержаться и не показать своему отражению язык. После чего мало-помалу успокаивается: ничего, Жакоме добьется того, чего не смог он, Жакоме более крепкий парень, и кожа у него более толстая.

С этой уверенностью в душе он глотает лекарство и ложится в постель.

Между тем Бернадетта после этой первой успешной схватки прокрадывается в церковь. Там, забившись в темный уголок, она чувствует себя в большей безопасности, чем дома. Она очень боится Жакоме, бывшего беспощадного преследователя ее отца. Но комиссар Жакоме отлично знает, где находится девочка. Он лично следил за каждым ее шагом. Когда после вечерней службы Бернадетта старается незаметно выйти из церкви в толпе прихожан, Жакоме с приветливой улыбкой подходит к ней и по-отечески кладет руку ей на плечо.

– Вынужден просить тебя пойти со мной, малышка. Это не займет много времени.

Таким образом, это не арест, а всего лишь любезное приглашение. Однако эта пара сразу же привлекает внимание людей. Бернадетта кажется спокойной и невозмутимой. Она только просит тетю Люсиль, стоящую рядом, известить обо всем родителей. Но толпа, собравшаяся вокруг, явно настроена враждебно к комиссару. Слышатся насмешливые возгласы: «С детьми вы сильны воевать, но, когда они с голоду мрут, вам и дела нет». Чьи-то голоса шепчут: «Осторожнее, Бернадетта, держи язык за зубами! Кажется, они хотят упрятать тебя в кутузку...»

Кабинет, как и вся квартира полицейского комиссара Жакоме, расположен в первом этаже дома, принадлежащего семье Сенак, которые наряду с Лафитами, Милле, Лакрампами и Бо относятся к высшим кругам Лурда. В этом же доме на площади Маркадаль, на втором этаже, проживает налоговый инспектор Эстрад вместе со своей сестрой, старой девой. Эстрад заранее попросил у соседа Жакоме разрешения присутствовать при допросе Бернадетты. Памятная записка Дозу и восторженный рассказ сестры, принимавшей участие в последнем походе к гроту, пробудили в нем немалый интерес, хоть и с примесью неприятия. Будучи образованным экономистом и большим любителем хорошей литературы, Эстрад терпеть не может бредовых увлечений оккультизмом и прочими экстравагантными суевериями. Когда Жакоме в сопровождении своей жертвы входит в кабинет, Эстрад уже сидит там в большом черном клеенчатом кресле для посетителей. Кабинет Жакоме – небольшое помещение с одним окном, где, кроме упомянутого кресла, имеется письменный стол с креслом поменьше, для самого комиссара, два шкафа, в которых хранятся уголовные дела, корзина для бумаг и плевательница. Мест для сидения всего два. Бернадетте, следовательно, придется стоять.

После того как Жакоме очинил карандаш и положил перед собой лист простой писчей бумаги, он приступает к привычному ритуалу допроса:

– Итак, твое имя?

– Вы же знаете, как меня зовут.

Бернадетта тотчас пугается своего ответа. Ей уже ведомо действие таких прямых заявлений, хотя и содержащих чистую правду. Поэтому она быстро добавляет:

– Мое имя – Субиру Бернадетта.

Полицейский комиссар кладет карандаш и добродушным отеческим голосом пускается в разъяснения:

– Милая Бернадетта, ты, верно, не совсем поняла, что здесь происходит. Видишь ли, этим самым карандашом на этом листе бумаги я буду записывать твои показания. Они составят документ, который называется протокол. Этот протокол станет частью твоего досье, на обложке которого будет стоять твое имя: «Бернадетта Субиру». Когда на человека заводят досье в полиции, поверь мне, малышка, это не очень приятно. На приличных людей, в особенности на молодых девушек, досье не заводят. Теперь слушай дальше! Твои показания я еще сегодня вечером пошлю в Тарб его превосходительству господину префекту. Его зовут барон Масси, и он очень важный и строгий господин, с которым лучше вообще не иметь дела... Надеюсь, теперь ты поняла, что происходит? Тогда продолжим! Сколько тебе лет?

– Мне четырнадцать, сударь.

Жакоме прекращает писать и смотрит на девочку:

– Не может быть! Я думаю, ты себе прибавила...

– Нет, не прибавила, мне уже пошел пятнадцатый.

– И ты все еще не разделалась со школой, – вздыхает комиссар. – Да, родителям с тобой нелегко. Тебе бы лучше подумать о том, чтобы поскорее начать им помогать. Что ты делаешь дома?

– О, ничего особенного. Мою посуду, чищу картошку, часто приходится присматривать за братишками...

Жакоме отодвигает кресло от стола и садится так, чтобы смотреть Бернадетте прямо в лицо.

– А теперь, дитя мое, расскажи мне подробно о том, что с тобой было в гроте Массабель...

Бернадетта стоит, скрестив руки на животе, как стоят простые женщины во всем мире, когда рассказывают у городских ворот какую-нибудь захватывающую новость. Чуть склонив голову набок, она неотрывно смотрит на белый лист бумаги, который комиссар по мере ее рассказа быстро заполняет буквами. Удивительно, каким гладким, почти механическим сделался ее рассказ от неоднократных повторений.

– История действительно невероятная, – одобрительно кивает Жакоме, когда Бернадетта умолкает. – А эту даму ты знаешь?

Бернадетта удивленно смотрит на комиссара:

– Да нет же, конечно, не знаю.

– Странная дама, не так ли? Такая элегантная и бродит в таких местах, где Лерис пасет свиней... Сколько ей примерно лет?

– Лет шестнадцать или семнадцать.

– И ты говоришь, что она очень красива?

При этом вопросе девочка горячо прижимает ладонь к сердцу.

– О да, на свете нет никого красивее!

– Скажи, Бернадетта, ты ведь помнишь мадемуазель Лафит, ту, что две недели назад венчалась в церкви. Дама красивее, чем мадемуазель Лафит?

– Нельзя даже сравнивать, месье! – смеется Бернадетта, которую развеселило такое нелепое сравнение.

– Но ведь твоя дама неподвижна, как церковная статуя.

– Это неправда, – обиженно возражает Бернадетта. – Дама живая, она двигается, подходит ближе, говорит со мной, приветствует всех пришедших и даже смеется. Да, она даже смеется...

Жакоме, не отрывая глаз от бумаги, рисует на своем протоколе звезду. Затем, немного помедлив, слегка меняет тональность:

– Некоторые люди говорят, что дама доверила тебе какие-то важные секреты? Это правда?

Бернадетта долго не отвечает. Затем говорит очень тихо:

– Да, она мне кое-что сказала, что предназначено только мне и что я никому не должна рассказывать...

– Не должна рассказывать даже мне или господину прокурору?

– Даже вам и господину прокурору.

– А если у тебя потребуют ответа сестра Вазу и аббат Помьян?

– Я все равно не смогу им сказать...

– А если тебе прикажет сам папа римский?

– И тогда не смогу. Но папа римский мне этого не прикажет...

Полицейский комиссар подмигивает Эстраду, который молча сидит в стороне, держа на коленях цилиндр, а в руке трость.

– Ну и упрямое создание, что вы скажете?.. А теперь, малышка, еще один вопрос. Что говорят обо всем этом твои родители? Они в это верят?

Бернадетта мучительно долго обдумывает этот ответ, дольше, чем все предыдущие.

– Я думаю, мои родители в это не верят, – признается она, немного колеблясь.

– Вот видишь, – улыбается Жакоме, все еще не отказываясь от отеческого тона. – А я должен верить тому, во что не верят даже твои родители. Если твоя дама – настоящая, ее должны видеть и все остальные. Так любой может прийти и сказать что угодно: например, что он ежедневно, как стемнеет, видит в своей комнате таинственного трубочиста и тот шепотом дает ему всякие указания, о которых он никому не должен говорить. На глупых людей это произведет то же впечатление... Разве я не прав, Бернадетта? Скажи сама...

Хитроумие комиссара погружает Бернадетту в молчаливую апатию. Комиссар же решает перейти в наступление, пустив в ход испытанный набор уловок и трюков, на которые попадают обычно мелкие жулики.

– Теперь будь повнимательнее, Бернадетта! – предупреждает ее Жакоме. – Сейчас я зачитаю тебе твои показания, чтобы ты подтвердила, что все записано верно. Затем сразу же отошлю протокол господину префекту. Ты готова?

Бернадетта подходит еще ближе к столу, чтобы не упустить ни словечка. Комиссар начинает читать свои записи сухим, официальным тоном. Дело доходит до описания внешности дамы.

– «Бернадетта Субиру показывает, что на даме была голубая накидка и белый пояс...»

– Белая накидка и голубой пояс, – немедленно уточняет Бернадетта.

– Невозможно! – восклицает Жакоме. – Ты сама себе противоречишь. Признайся, что ты говорила о белом поясе.

– Вы, должно быть, неправильно записали, месье, – спокойно заявляет девочка.

Но у комиссара слишком большой опыт в расставлении подобных силков, чтобы так быстро сдаться. Он мчит дальше по камням и ухабам, чтение протокола все ускоряется. Подозреваемая вынуждена слушать с величайшим напряжением.

– «Бернадетта Субиру утверждает, что упомянутой даме около двадцати лет...»

– Я этого не утверждала! Даме не больше семнадцати.

– Не больше семнадцати? Откуда ты это знаешь? Кто тебе сказал?

– Кто мог мне это сказать? Ведь даму вижу я одна.

Жакоме бросает быстрый взгляд на Бернадетту. Затем, прочитав длинный пассаж совершенно точно, делает третью попытку сбить ее с толку:

– «Бернадетта Субиру утверждает, что дама выглядит точно так же, как статуя Пресвятой Девы в городской церкви».

Бернадетту охватывает такой гнев, что она даже топает ногой.

– Такого вздора я не говорила, месье! Это ложь. Дама совсем не похожа на Пресвятую Деву из церкви.

Тут уж Жакоме сердито вскакивает, чтобы перейти к допросу второй степени.

– Довольно! – ревет он. – Я сыт по горло! Не воображай, что можешь меня дурачить. Здесь, в ящике моего стола, лежит полная правда. Горе тебе, если ты будешь лгать! Только чистосердечное признание может тебя спасти. Назови имена всех людей, находящихся с тобой в сговоре. Я знаю их всех наизусть...

Бернадетта отступает от стола. Ее лицо становится белей бумаги. Никогда еще никто так на нее не кричал. В ее голосе звучит крайнее удивление, но он остается спокойным:

– Я не понимаю того, что вы мне сейчас сказали, месье...

Жакоме слегка умеряет наигранный гнев:

– Если ты не понимаешь, я тебе объясню. Некие люди, имена которых мне точно известны, подговорили тебя распространять эту отвратительную историю. С превеликим трудом они вдолбили ее в твою бедную голову, и ты повторяешь, как попугай, заученную басню. Думаешь, я не слышал собственными ушами, что это все заучено?..

Но Бернадетта уже вновь овладела собой.

– Месье, спросите Жанну Абади, подучил ли меня кто-нибудь, – просит она. – Жанна была со мной в тот, первый раз...

– Мне, в конце концов, безразлично, признаешься ты или отправишься в тюрьму, – говорит Жакоме, хватая девочку за руку и тащит ее к окну. – Ответь, что ты там видишь!

– Перед вашим домом стоит очень много людей, месье, – отвечает Бернадетта.

– И все эти люди ничуть тебе не помогут, моя милая. Ведь перед моим домом стоят еще и три жандарма. Ты их видишь? Это бригадир д'Англа и рядовые Белаш и Пеи. Они ждут только моего приказа, чтобы отвести тебя в тюрьму. Не будь сама себе врагом, Бернадетта! Сам прокурор, господин Дютур, приказал тебе больше не ходить к Массабьелю. Скажи мне сейчас перед этим свидетелем, господином Эстрадом, что не ослушаешься.

– Но я должна сдержать свое обещание даме, – еле слышно шепчет Бернадетта.

Тут в первый и единственный раз за время допроса вмешивается Эстрад.

– Господин комиссар желает тебе добра, милое дитя, – увещевает он. – Послушайся и дай обещание ему.

Бернадетта быстро окидывает незнакомца взглядом. Она сразу видит, что он не имеет полномочий вмешиваться в ее тяжкую борьбу. Поэтому она даже не удостоивает его ответом. Эстрад ощущает внезапный стыд, как будто его справедливо поставили на место.

– Позвать жандармов? – спрашивает Жакоме.

Пальцы Бернадетты судорожно стискивают холщовый мешочек.

– Если жандармы уведут меня в тюрьму, я ничего не смогу сделать, – признает она.

– Это еще не все, – усиливает нажим комиссар. – Я прикажу посадить в тюрьму и твоих родителей. Мне нет дела, что твои младшие братья могут умереть с голоду. Твоего отца уже арестовывали по более мелкому подозрению, чем этот грандиозный обман...

Бернадетта так низко опускает голову, что ее лица совсем не видно. Несколько долгих минут длится молчание. Жакоме применил пытку третьей степени. Чтобы она подействовала, требуется некоторое время. Но вместо ответа девочки раздается тихий стук в дверь, один раз, другой.

– Войдите, – хрипит комиссар, с трудом переводя дыхание. В дверном проеме появляется долговзая фигура Франсуа Субиру. Он держится неуверенно, отчаянно пытаясь сохранить достоинство, и нервно мнет в руках шапку. В его глазах поочередно вспыхивают то страх, то возмущение. Скорее всего, он выпил для храбрости, но немного.

– Черт побери, что вам здесь нужно, Субиру? – кричит на него комиссар.

Тяжело дыша, Франсуа Субиру протягивает руки к Бернадетте:

– Мне нужна моя дочь, мое бедное дитя...

Внезапно Жакоме вновь становится обходительным.

– Послушайте, Субиру, – настойчиво убеждает он. – Это свинство у грота должно кончиться. Я этого больше не потерплю. Завтра же все должно быть тихо! Понятно?

– Видит Бог, господин комиссар, я ничего другого и не желаю. Эта история доконает меня и мою бедную Луизу.

Жакоме собирает со стола бумаги.

– Девочка – несовершеннолетняя, – с угрозой в голосе говорит он. – Вы как отец несете за нее полную ответственность. Вам следует запретить ей куда-либо ходить, кроме школы. Если по-другому не получится, посадите ее под замок. Иначе я посажу вас, всю вашу семейку, клянусь! Оснований более чем достаточно. С этой минуты вы все будете находиться под строжайшим наблюдением. А теперь с богом, убирайтесь оба! Желаю никогда вас здесь больше не видеть.

Все еще низко опустив голову, Бернадетта вместе с отцом выходит из дома Сенаков. Она закусывает губу, чтобы не разрыдаться на улице и дотерпеть до своей каморки. Площадь перед домом черна от людей. Девочка пробивается сквозь невнятный говор множества голосов. Доносятся отдельные выкрики:

– Не сдавайся, Бернадетта!.. Ты здорово держалась... Они не могут тебе ничего сделать...

Но Бернадетта слышит только страдальческий голос отца, повторяющий снова и снова:

– Видишь, доченька, что из-за тебя вышло, какой скандал...

До улицы Пти-Фоссе с ними добираются самые верные и преданные. Во главе их шагает Антуан Николо. Он размахивает дубинкой.

– Я бы тебя отбил, Бернадетта, клянусь честью...

Но Бернадетта едва ли замечает своего верного рыцаря, у нее перехватывает дыхание, начинается удушье...

– Ну, сосед, что вы об этом думаете? – спрашивает комиссар Жакоме налогового инспектора.

Эстрад усердно трет лоб, как бы прогоняя головную боль.

– Девочка определенно не лгала, – наконец отвечает он.

Жакоме раздражается раскатистым хохотом:

– Вот и видно, до чего легковерна наша публика. Среди всех закоренелых преступников, прошедших через мои руки, я не встречал более прожженного, умного и упорного, чем эта малышка. Вы не заметили, как она обдумывала каждый ответ и просчитывала его последствия? Она не попала ни в одну из расставленных ловушек. Следует признать, она так до конца и не сдалась. Если бы не появился ее папаша, не знаю, как бы я выпутался...

Эстрад пожимает плечами:

– А какой ей смысл продолжать этот опасный обман?

– Успех, мой дорогой, аплодисменты, возможность играть роль, не говоря уже о подарках. Человеческая душа для нас, полицейских, не такая уж загадка... Кстати, как вы думаете, святые столь же изворотливы на допросе, как эта маленькая мошенница, спекулирующая на вере в Небеса?

– Но, любезный сосед, кто говорит о святых и о Небесах? Побойтесь Бога! Ведь не эта же малышка. Убежден, она даже не задумывается о непонятной природе своего видения. Она

воспринимает его как данность. Она очарована и потому так легко очаровывает других. Вот что я чувствовал на протяжении этого часа...

Комиссар Жакоме снисходительно улыбается:

– Дорогой мой сосед, ваше дело – налоги, а мое – полицейский надзор. Вы глубоко проникли в механизм финансового управления. Я же немного разбираюсь в душах маленьких людишек. Когда речь заходит об их психологии, можете смело положиться на старика Жакоме.

Глава шестнадцатая

Дама и жандармы

Сестра Мария Тереза Возу стоит перед классом. Ее благородное лицо, от природы красивое, осунулось еще более обычного. Ввалившиеся глаза, плотно сжатые тонкие губы. Даже девочки замечают, как плохо выглядит сегодня их учительница. Причина в том, что сестра Мария Тереза бодрствовала всю ночь до утра.

Декан Перамаль дал некое поручение капеллану Помьяну, а преподаватель катехизиса, которому вдруг срочно понадобилось отбыть в Сен-Пе, в свою очередь возложил его на классную наставницу Возу. Задание, от которого так ловко увернулся Помьян, при всем желании нельзя назвать легким. Сестра Возу всю ночь прокорпела над труднейшими книгами, которые – увы! – ей не помогли. Задание Перамалья состоит в том, чтобы Бернадетте перед всем классом было надлежащим образом указано, каким бесстыдным высокомерием – и это в лучшем случае! – со стороны незрелой, даже еще не допущенной к первому причастию девочки является ее утверждение, что она запросто общается и ведет разговоры с Пресвятой Девой. Перамаль особенно уповает на то, что на первый план будет выставлен весь комизм прискорбного помрачения юного ума. Ведь эта афера началась именно среди соучениц Бернадетты. Декан выразил надежду, что под их дружный смех все и закончится. Для таких возвышенных историй нет ничего губительнее смеха. Возложив поручение на доброго Помьяна, декан сделал правильный выбор, так как Помьян – неплохой юморист, хотя и в иной манере, чем сам Перамаль, чей юмор, пожалуй, более сочен и даже простонароден. Но вот сестра Мария Тереза не обладает ни малейшим чувством юмора, ведь она происходит из самых строгих и чопорных кругов Франции, где шуток не понимают. Ее отец – генерал, верный королевской династии, бывший преподаватель военной академии Сен-Сир, удостоенный императорской пенсии; мать ее – из семьи профессора государства и права, отъявленного консерватора, по сравнению с которым известный ретроград де Местр – просто бунтовщик и якобинец. Военная и профессорская добросовестность у нее в крови. Поэтому, готовясь сегодня ночью к выполнению ответственного задания, она погрузилась в неведомые ей глубины и прочла много возвышенных и мудреных страниц о таких понятиях, как милость, свобода, грех, заслуги и тому подобное. Особенно трудным для постижения оказалось понятие милости. Поэтому сестра Возу в этот час сильно взвинчена и крайне утомлена, и в душе у нее нет ни мира, ни согласия. В глубине своего растревоженного сердца она чувствует то, с чем никогда не согласится ее ум: она подвергает сомнению свою великую жертву – жизнь, принесенную в дар Господу. Честолюбие сильной натуры побуждает ее стремиться к достижению самой высшей из возможных целей на выбранном ею пути. Достаточно ли строгой жизни, молитв, труда, отрешения от мирской суеты, умерщвления плоти, чтобы достичь этой высшей цели?

Учительница бросает взгляд на левое место за шестой партой в среднем ряду. Бернадетта Субиру – здесь, после целой пропущенной недели. Пока другие девочки, как обычно, перешептываются друг с дружкой, она сидит молча, опустив глаза на крышку парты. Должно быть, она сильно напугана, после того как вчера, в воскресенье, власти вмешались и положили конец ее проделкам.

– Субиру Бернадетта, – вызывает учительница, – подойди сюда и стань перед классом!

Бернадетта, сопровождаемая громким перешептыванием девочек, медленно выходит вперед и становится перед первой партой, в пустоте, где ей предстоит подвергнуться испытанию. Сестра Мария Тереза, однако, на нее не смотрит, а обращается к остальным:

– Дорогие дети! Сегодня мы поговорим о том, что не входит в программу и не относится к катехизису. Аббат Помьян не будет вас опрашивать по этой теме, и вам ничего не надо заучивать. Но болтать при этом все равно не стоит, вам следует внимательно слушать и напрячь свои головки, ибо то, что я скажу, действительно очень важно. Вы знаете, девочки, – ведь я вам сотни раз это говорила, – что все люди – грешники, все без исключения, одни больше, другие меньше. Если вы, как предписывает нам святая религия, каждый вечер, прежде чем прочесть молитву и лечь спать, станете строго вопрошать свою совесть, как вы думаете, что обнаружится? Уж непременно в течение дня вы не раз лгали родителям и другим людям и совершали этот грех почти каждый час. Возможно, вы желали несправедливо нажитого добра. Безусловно, были недостаточно внимательны во время святой мессы, рассеянны при чтении молитв, допускали леность, неискренность, дерзость, вас посещали дурные мысли и вы уступали какой-либо из мелких дурных привычек, которые всех вас одолевают. Например, Катрин Манго и сейчас грызет ногти. А теперь слушайте меня внимательно! Господь не сотворил всех людей одинаковыми. У одних на совести более тяжкие грехи и проступки, у других – более легкие. Вероятно, есть и в нашем городе люди, не совершавшие ошибок и менее грешные, чем остальные. Но я полагаю, что здесь, среди нас, таких нет. Ты меня поняла, Бернадетта Субиру?

– Да, я вас поняла, мадемуазель наставница, – отвечает Бернадетта.

– Может быть, ты думаешь, что среди нас есть кто-то, кто стоит гораздо большего, чем остальные?

– Нет, мадемуазель наставница, – механически отвечает Бернадетта.

– Благодарю тебя за твою скромность, Субиру, – кивает учительница, пожиная в награду смешки учениц. – Тихо! Пойдем дальше! За долгое время Господь по своей неизреченной доброте допускал немногие, совсем немногие исключения и посылал в мир особенные существа в образе человеческом. Это были люди, каких мы не знаем, люди, которые почти не совершают грехов и дурных поступков, которые не лгут и не желают несправедливо нажитого добра, не бывают рассеянными во время молитвы, а также неискренними, ленивыми, дерзкими и не скребут себе голову ногтями, как это делает сейчас Аннетт Курреж. Эти редкие исключения, эти почти безгрешные существа знакомы вам по житиям святых. Кто назовет хоть одного из таких святых? Субиру!

Бернадетта молчит и смотрит в пол. Но уже привычно взметнулась вверх рука Жанны Абади. Учительница благосклонно обращается к ней:

– Ну, Абади, кого ты можешь назвать?

– Святого Иосифа, – выпаливает Жанна.

– Почему ты выбрала именно этого святого? – удивляется монахиня. – Ну хорошо, оставим это и пойдем дальше. Даже и в более поздние времена в мире появлялись такие удивительные люди, им приходилось тяжелее, чем тем, кого мы знаем из Священной истории... Я говорю о святых заступниках, которых мы призываем в наших молитвах. Об этих избранных я хочу вам сейчас немного рассказать. То были в большинстве своем люди, посвятившие себя служению Господу: отшельники, затворники, монахи и монахини различных орденов. Они удалялись в скит, в пустыню, в безлюдные скалистые горы вроде наших Пиренеев. Там они питались акридами, диким медом и выпивали за день не более глотка воды. Часто они подолгу постились и совсем ничего не ели. Ночи напролет они бодрствовали и читали все молитвы, какие только есть на свете. Многие из них сочиняли новые молитвы. Другие носили под грубой рясой тяжкие вериги с ржавыми остриями, которые впивались им в тело. Знаете, почему они все это делали? Они это делали, чтобы побороть в себе нечестивые помыслы и желания, хотя греховности в них было совсем чуть-чуть. Они делали это, чтобы прогнать дьявола, которого злило их

благочестие и который постоянно их преследовал и искушал. Такой образ жизни святых людей называется аскезой. Запомните это слово! И после того как эти люди с величайшим трудом и муками достигали решающих побед в аскезе и преодолевали все уловки и козни дьявола, случалось, что иные из них обретали возможность видеть то, что не дано видеть нам, обычным людям. Они видели просветленные, озаренные сиянием фигуры: то были небесные ангелы, что окружают нас везде. У святых бывали и иные видения. Им являлся Спаситель в терновом венце, со стигмами и в сиянии лучей. Или Пречистая Дева, чье обнаженное сердце было пронзено мечами, руки молитвенно сложены, а скорбный, но просветленный взгляд устремлен к Небу... Субиру, ты все поняла?

Бернадетта вздрагивает. Она ничего не слышала, ничего не поняла, она тревожилась о прекрасной даме, которая понапрасну ждет ее в гроте. Девочка с тупым безразличием смотрит на учительницу и не произносит ни слова. Вozу качает головой:

– Она даже не старается понять!

Девочки насмешливо ерзают на партах. Сестра Мария Тереза подступает к Бернадетте и кричит:

– Значит, ты равняешь себя с этими святыми людьми?

– Нет, мадемуазель наставница.

– Может, ты заслужила видения тем, что исправно сосала леденцы?

– Нет, мадемуазель наставница.

При этом ответе класс разражается хохотом. Девочки, бывшие с Бернадеттой у грота, просто визжат от смеха, даже Мария не может удержаться от кисловатой ухмылки. Вozу переживает эту бурю.

– Видишь, Субиру, твое поведение вызывает смех даже у твоих подруг. Вместо того чтобы заняться серьезной работой, ты выдумываешь чудовищную ложь, только чтобы как-нибудь выделиться. До сих пор я считала тебя глупой. Но это не глупость, это гораздо хуже. Многого я от тебя никогда не ждала. Но я и помыслить не могла, что ты посмеешь издеваться над самым святым и паясничать перед ограниченными и праздными людьми... Вот так, а теперь садись на место, и пусть тебе будет стыдно, что ты осквернила время святого поста бесовственным балаганом!

После обеда Бернадетта вновь пробирается к школе, стараясь остаться незамеченной. Ее плечи опустились под тяжестью навалившегося на нее горя. Она бредет одна. Никого не хочет видеть. Даже общество Марии для нее сегодня невыносимо. Но по дороге ей встречается Пере и некоторое время тащится рядом. Голова кособокой девицы трясется, она вся кипит от благородного гнева.

– А ты, оказывается, обманщица, Бернадетта! Ты подвела даму, подвела свою благодетельницу мадам Милле. Мы напрасно ждали тебя утром у Массабьея: мадам Милле, я и множество других людей. «Я готова спорить на сто франков, – сказала мадам Милле, – что Бернадетта не нарушит слова, не обманет...»

– Но мне же запретили, – невольно вырывается из груди девочки.

Портниха, которая ради сенсации готова уцепиться за любой повод, продолжает ехидничать:

– Вот как, тебе запретили? Скажите пожалуйста! Кто может тебе запретить идти, куда ты захочешь? Не позволяй Жакоме себя дурачить. Просто он хотел тебя запугать. Сделать он тебе ничего не может. В чем, интересно, тебя обвиняют? И даже если тебя действительно посадят в тюрьму, что ж, тогда придется посидеть за решеткой, ибо долг превыше всего...

– Но они хотят посадить в тюрьму и моих родителей, тогда братишки умрут с голоду...

– Ну и что, ну и что? – горячится Пере. – Пусть сажают и родителей. Все равно ты не смеешь нарушить свое слово, долгом нельзя пренебрегать...

Не попрощавшись с Пере, Бернадетта пускается бежать, только чтобы отделаться от портнихи. Кроме того, она боится опоздать на занятия. Часы на больничной башне уже пробили два. Теперь девочку отделяет от школы только уличная эстакада. Едва Бернадетта хочет на нее ступить, как что-то ее останавливает, и она, тяжело дыша, не может сделать ни шагу. Что-то невидимое лежит на ее пути. Как будто ей не дает пройти огромная балка, через которую она никак не может переступить. Одновременно какая-то сильная рука словно хватается ее за плечи и заставляет повернуть обратно. Медленно бредет она назад той же дорогой, какой пришла. Но, не дойдя до площади Маркадаль, слышит за собой гулкий топот подбитых железом сапог. Ее преследуют. Это жандармы Пеи и Белаш, которым поручено за ней следить. Дюжие мужчины в новенькой форме, с саблями на боку и в шляпах с плюмажем нагоняют девочку и идут с ней рядом.

– Что с тобой, солнышко? – спрашивает ее чернобородый Белаш. – Тебе же было приказано идти в школу, и никуда больше...

– Я и хотела идти в школу, – правдиво рассказывает Бернадетта, – а на мосту что-то лежит, похоже огромная балка, прозрачная, как воздух, но пройти нельзя...

– Какая еще прозрачная балка? – ворчит сухопарый Пей, отец пяти дочерей. – Имей в виду, меня ты своими бреднями не проведешь...

– А теперь, солнышко, ты идешь домой, не так ли? – спрашивает более молодой и мягкий Белаш, известный в городе бабник и любитель слабого пола.

– Нет, не домой, – говорит Бернадетта, подумав. – Я иду к гроту...

– К гроту, мое сокровище? Тогда подожди минутку... Эй, Пеи, быстро приведи бригадира!

Через три минуты Пеи возвращается вместе с бравым бригадиром д'Англа, на бегу прицепляющим саблю и дожевывающим хлеб с колбасой; с набитым ртом бригадир повторяет как заведенный:

– Это еще что за новость? Прозрачная балка, прозрачная балка...

– Позвольте мне пойти к гроту, – просит девочка.

– Ты пойдешь туда, но на свой страх и риск, – решает бригадир, пощипывая свой светлый ус. – Кроме того, мы, все трое, пойдем с тобой.

Чтобы – не дай бог! – не остаться в стороне, чуть позже к вооруженной охране присоединяется Калле.

Итак, малышка Субиру в сопровождении четырех жандармов идет к гроту, эта необычная процессия будоражит и приводит в волнение весь город. Первой их увидела Пигюно. Со всех ног она мчится оповестить тетю Бернару, а уж оттуда опрометью бежит в кашо. Повсюду распахиваются окна. Любопытные женщины выскакивают из ворот, наспех вытирая о передник мокрые руки. Уже на улице Басс за Бернадеттой и жандармами поспешают человек восемьдесят – девяносто. Девочка сегодня не летит, как ласточка, не порхает, как лист на ветру. Она ступает тяжело, ноги у нее словно налиты свинцом.

Добравшись до грота, она как подкошенная падает на колени и с мольбой простирает руки к нише. Но ниша темна, ниша пуста, пустее не бывает. Торчащая из куста ветка дикой розы угрюмо дрожит под порывами ветра с Гава. Река шумит сегодня безучастно. Начинается дождь, и грот становится прозаическим укрытием для пришедших сюда людей.

Из груди Бернадетты вырывается возглас ужаса:

– Я ее не вижу... Сегодня... Я не могу ее увидеть...

Бернадетта вытаскивает четки и судорожно протягивает их к нише. Но каменный овал по-прежнему безнадежно пуст, его заполняют безобразные бурые сумерки, тусклые останки минувшего дня, двадцать второго февраля. Только каменная глыба за порталом мерцает, словно белая кость. Отверстие в скале сейчас не более чем грязная дыра, и то, что из этой дыры могла являться дама, кажется сейчас действительно невероятной ложью или порожде-

нием больной фантазии. Бернадетту сотрясает бесконечное раскаяние, трагичнейшее отчаяние любящей, безвинно потерявшей свою любовь, потому что все земные силы помешали ей сдержать слово. Дама в ней горько разочаровалась. Дама возвратилась из грязного, неудобного грота туда, где обычно живет, в места, более ее достойные. Сердце Бернадетты беззвучно кричит в темную нишу:

«Разве вы не знали, что господин Жакоме пригрозил посадить в тюрьму меня, и отца, и маму, если я пойду к вам? И все же я к вам пришла. Разве вы не могли немножко меня подождать, прежде чем окончательно уйти?»

Но вдруг Бернадетте в голову приходит новая мысль, и она хватается за нее, как утопающий за соломинку.

– Конечно, я не могу видеть даму, – громко жалуется она. – Она прячется, потому что рядом со мной так много жандармов...

Это нелепое объяснение вызывает в толпе громкий смех. Раздаются реплики:

– Поймите же наконец, что у Бернадетты не все дома!.. Но вчера в полиции она отвечала очень хитро... Не обманывайтесь, она всего лишь несчастный ребенок...

Некий шутник берет в оборот чернобородого жандарма:

– Послушай, Белаш, ты слишком похож на черта. Потому дама и убежала.

Белаш поглаживает свою бандитскую бородку. Общась с острыми на язык каменщиками, дорожными рабочими, бродягами, трактирщиками и завсегдатаями трактиров, он приобрел завидную сноровку и за словом в карман не лезет.

– Конечно, я похож на черта, – парирует он. – Да я и есть черт. Но, к сожалению, я бедный черт, бедолага, я чертовски беден. Прекрасной Деве следовало бы помочь мне разжиться деньгами, а не бежать от меня без оглядки...

Эта шутка в тот же день обходит весь город. Спустя час хозяин кафе Дюран встречает своих гостей вопросом:

– Вы уже знаете, что Пресвятая Дева не хочет иметь дела с жандармерией?

Среди гостей в кафе присутствуют Дютур и Жакоме. Хотя пренебрежение их запретом означает конфуз для властей, они все же не имеют оснований быть недовольными тем, как обернулось дело. Подействовало сильнейшее противоядие, столь уважаемое деканом Перамалем, – смех. Случилось самое лучшее: игру прекратила сама дама. Прокурор велит Жакоме продолжать наблюдение за семейством Субиру, однако не препятствовать девочке, если она захочет снова пойти к гроту. После ее сегодняшнего провала, считает Дютур, люди сами пресытятся этим спектаклем.

В это время Бернадетта, ее мать, тетки Бернарда и Люсиль и некоторые другие люди находятся на мельнице Сави. Девочка вдруг почувствовала, что она не в силах идти. Ее уложили на кровать матушки Николо. Она лежит там с землисто-серым лицом, с закрытыми глазами и тяжело дышит. Выражение ее лица – полная противоположность тому, какое у нее бывает, когда она охвачена экстазом. Кожа на лице не натянута, наоборот, сделалась дряблой, губы отеки, рот приоткрыт и жадно глотает воздух. Антуан положил ей на лоб мокрый платок. Мадемуазель Эстрад, присутствовавшая при сцене у грота, обращается к бледной, глубоко удрученной женщине, стоящей у кровати:

– Вы, верно, близко знаете этого ребенка?

– Как не знать, – стонет Луиза Субиру. – Я ведь ее несчастная мать. Это продолжается уже целых одиннадцать дней, мадемуазель. Одни над нами смеются, другие жалеют. Можно с ума сойти оттого, что в доме постоянно чужие люди. А полиция грозит нам тюрьмой. О Пресвятая Дева, за что мне такие страдания? Поглядите на девочку, мадемуазель! Ведь она тяжело больна... – И Луиза Субиру, потеряв власть над собой, с воплем припадает к кровати. – Скажи мне хоть что-нибудь, доченька, вымолви хоть словечко!

Поскольку отчаяние Бернадетты не проходит и она по-прежнему не говорит ни слова, Антуан бежит на почтовую станцию за Франсуа Субиру. Теперь и отец сидит у кровати дочери, слабый, растерянный человек, впервые ощутивший в полной мере тяжесть ее страданий. Грубыми руками он гладит ей колени, по его щекам непрерывно текут слезы.

– Ну что такого страшного случилось с дочуркой, – запинаясь бормочет он. – Ну не послушалась... Но дочурочку любят... Ее не дадут в обиду... Скажи, родименькая, что бы ты сейчас хотела...

Бернадетта не отвечает и не открывает глаз. Только когда Антуан Николо предлагает сходить за доктором Дозу, она чуть-чуть шевелится и еле слышно произносит:

– Если я ее больше не увижу, я умру...

Субиру берет Бернадетту на руки и нежно прижимает к груди:

– Ты увидишь ее, дочурочка, я обещаю. Никто не смеет тебе мешать. Даже если они посадят меня в тюрьму, а мне это не в новинку, все равно ты ее увидишь...

По дороге домой Франсуа уже и сам не понимает, как он мог в порыве сочувствия дать такое неосторожное обещание. Чтобы подавить мучительное недовольство собой, он, даже не заходя в кашо, напрямик отправляется к папаше Бабу.

Глава семнадцатая

Эстрад возвращается от Грота

После этого трагичного понедельника уже на следующее утро Бернадетту ожидает великая радость свидания с дамой. И какого свидания! Ей кажется, что разлука с Обожаемой длилась не один день, а бесконечно долгое время, которое можно обозначить только мерой бед и страданий. Дама тоже как будто радостно взволнована встречей со своей избранницей. Хотя на ней тот же наряд, что и в прошлые разы, ее красота и очарование кажутся просто невыносимыми. Ее щеки свежее и румянее, чем когда-либо, светло-каштановые локоны свободнее выбиваются из-под накидки, а золотые розы просто горят на мраморно-белых ногах. Сила и прелесть ее голубых глаз таковы, что Бернадетта сегодня почти сразу впадает в транс, который длится не меньше часа.

Сегодня к гроту пришло не более двухсот человек – так сказать, ближайшее окружение. Среди них, разумеется, портниха и мадам Милле, веру которой не поколебало ни вчерашнее отсутствие дамы, ни насмешки жандармов. Жандармерия также на посту, на сей раз в лице бригадира д'Англа, откомандированного начальством для наблюдения. Д'Англа горячо надеется, что сегодня сумеет отрапортовать комиссару Жакоме об окончательном провале нелепого театра перед гротом Массабель. Но к его досаде, сегодняшнему спектаклю, как видно, провал не грозит. Как всегда, когда экстаз совершенно преображает черты Бернадетты, когда девочка начинает выполнять пред нишей свой наивный и немудреный ритуал, по телам коленопреклоненных женщин словно пробегает электрическая искра. Как ни подвержена колебаниям всякая свита, как ни готова разразиться насмешками при малейшей неудаче, но, когда в лице и жестах «маленькой ясновидицы» ощущается реальное присутствие дамы, ее чары действуют безотказно. Бригадир, один из друзей и постоянных посетителей Дюрана, чуть не лопается от злости, когда все это видит. «Итак, балаган начинается сначала, – думает он с досадой. – Дютур и Жакоме – слабаки, почему они не разрешили мне применить силу, как при разгоне политических демонстраций». Тут в д'Англа словно вселяется бес, и он совершает серьезную ошибку.

– Подумать только, – громко кричит он в толпу, – чтобы в девятнадцатом веке было столько идиотов!

По толпе проходит волна гнева. Чей-то голос громко запекает в ответ одну из популярнейших песен, сложенных в честь Девы Марии. Мощный хор подхватывает песню, и вот она уже звучит над скалами, над островом Шале, над Гавом:

Мы Господа жаждем! Дева благая,
Мария Пречистая, слух к нам склони!
Заступница наша, дыханием Рая,
Небесным дыханием нас осени!
Дева Мария, нежная Мать,
Мы не устанем к тебе взывать...

Бернадетта совершенно безучастна к этим событиям. Она совершает свои поклоны, встает на колени, поднимается с колен, улыбается, слушает с открытым ртом, пугается, успокаивается, пугается снова, и ей представляется, что это любовное свидание происходит вне времени. Ее преданная, истинно женская любовь изводит себя постоянными попытками понять предмет своей любви, глубже проникнуть в его столь чуждую ей сущность: не из любопытства, а лишь для того, чтобы успешнее ему служить. Бернадетта уже открыла для себя многие характерные особенности дамы. Она знает, что дама чрезвычайно скупа на слова и ничего не говорит без определенной цели. Она знает – и это ее боль! – что дама пришла не только для того, чтобы воспламенить ее душу, но ради выполнения хорошо обдуманного плана, который Бернадетте еще неизвестен и лично с ней не связан. Ей представляется далее, что даме не так уж легко совершать ежедневные путешествия в грот, это требует от нее большого самоотвержения и серьезных усилий. Бернадетта знает также в глубочайшем прозрении любви, что дама, несмотря на ее радостные приветствия, кивки и улыбки, что-то скрывает – возможно, легкое отвращение ко всему, что ей приходится здесь видеть. Бернадетта догадывается об этом на основании собственного опыта: каждый раз, когда ее любовное общение с дамой прерывается и она возвращается в свою жизнь, она вынуждена преодолевать подобное отвращение и мучительное ощущение чуждости окружающего ее мира. Вероятно, подозревает девочка, отвращение, которое дама испытывает лично к ней, в тысячу раз сильнее того неприятного, брезгливого чувства, какое она сама испытала однажды к сестре Марии. Этим можно объяснить некоторые особенности в поведении дамы. Она не любит, например, когда к ней подходят слишком близко. Только в наиболее ответственные моменты она подзывает Бернадетту к самой скале, сама становится на край уступа и наклоняется к девочке. Поэтому нельзя быть навязчивой, дама этого не терпит. Она не любит также, когда ее поступки начинают считать предсказуемыми и само собой разумеющимися. Она свободна. Она не знает за собой никаких обязательств. Она приходит и уходит, когда сочтет нужным. Поэтому Бернадетта не высказала ей ни малейшего упрека за ее вчерашнее отсутствие. Дама не такая, как все. Она точно знает, чего стоит. Поэтому наиболее правильная поза в ее присутствии – преклонить колени и, если можно, держать в руке горящую свечу. Если топтаться перед гротом или повернуться к ней спиной, ее лицо вдруг мрачнеет, становится страдальческим и нервным. Если же начать делать что-то трудное и неприятное – Бернадетта это уже знает, – например, ползти к гроту на коленях по мелким и острым прибрежным камням, – лицо дамы сияет от радости. Должно быть, это связано с тем словом, которое дама уже не раз произносила шепотом: «Искупление». Хотя сестра Мария Тереза упоминала это слово на уроке катехизиса, у Бернадетты нет ясного представления о том, что оно может значить. Лишь постоянное стремление угодить даме заставляет девочку смутно догадываться, что же это такое. Искупление – это все трудное, обременительное, болезненное, к чему прибегают, чтобы побороть собственную безмятежность и лень. Если от ползанья по камням на коленях остаются кровавые рубцы, значит искупление было особенно успешным. В этом случае дама часто делает странный жест: как будто она черпает в ладони воду (невидимую воду искупления), а потом поднимает и протягивает сложенные ладони, словно давая понять, что эту воду она черпала не для себя. Неустанное любовное старание девочки отгадать, чего хочет дама, помогло ей проникнуть еще глубже. Несомненно, слово

«искупление» как-то связано с тем легким отвращением, которое временами появляется на прекрасном лице дамы. Несколько дней назад дама приказала ей: «Молись за грешников», – и почти неслышно, как бы для себя самой, добавила: «За больной мир». Казалось, произнося эти слова, она увидела перед собой вещи, настолько ее ужаснувшие, что это заставило ее внезапно побледнеть. Грех – это нечто злое, скверное, дурное. Это Бернадетта уже хорошо усвоила.

Благодаря стремлению проникнуть в мысли любимой дамы Бернадетта постигает – и это соответствует ее собственным ощущениям, – что злое и скверное – не что иное, как безобразное, что и вызывает видимое отвращение на лице Прекраснейшей. Благодаря искуплению это отвращение уменьшается, возможно, уменьшается и причина, его вызвавшая.

Сегодня дама, как видно, хочет, чтобы Бернадетта призвала собравшихся к искуплению. Впавшая в транс девочка со слезами на глазах поворачивается к толпе и три раза подряд шепчет единственное слово: «Искупление». Это первое из событий, которыми отмечен этот вторник. Второе событие – злодейское нападение на даму, вызвавшее у Бернадетты страх и возмущение. Какой-то незнакомец входит в грот и начинает длинной палкой простукивать его стены. При этом он тихонько насвистывает. Бернадетта уже настолько освоилась с состоянием экстаза, что способна зорко следить за всем, что происходит, хотя чаще всего она этого не показывает. Свистун, исследующий стены грота, приближается к нише. Его палка уже терзает куст дикой розы. У девочки обрывается сердце, когда наглец ударяет палкой по нежным ножкам дамы, которая сразу же отступает в глубь ниши.

– Уходите! – громким, срывающимся голосом кричит Бернадетта. – Вы причинили даме боль. Вы ее ранили...

Между тем Антуан и два других парня уже схватили злоумышленника за руки и вывели из грота.

– Если еще раз повторятся такие дела, – зычно оповещает присутствующих бригадир д'Англа, – я немедленно прикажу всем разойтись...

В ответ на угрозу толпа запекает новый гимн в честь Девы Марии:

О Мария, о Дева Благая,
Свою жизнь я тебе предлагаю.
Моя жизнь и мои стремленья —
Все отныне в твоём владенье.

Однако третье событие этого дня является для Бернадетты самым важным, причем оно страшит ее даже больше, чем новая встреча с Дютуром или Жакоме. Дело в том, что дама впервые дает ей практическое задание. Если прежде девочка страдала лишь от последствий выпавшего ей на долю счастья, то теперь она будет вынуждена совершить некое активное действие, отчего ее заранее бросает в дрожь. После того как дама оправилась от атаки незнакомца с длинной палкой, она кивком подзывает Бернадетту к себе. Она внятно говорит Бернадетте, и ее голос звучит очень серьезно:

– Пойдите, пожалуйста, к вашим священнослужителям и скажите им, что здесь надо построить часовню. – Затем, не так разборчиво и гораздо тише, добавляет: – Пусть сюда приходят процессиями.

Налоговый инспектор Эстрад, поддавшись уговорам сестры, решил сегодня принять участие в походе к гроту, хотя и не без тяжких душевных колебаний. Уже в прошлое воскресенье, когда он присутствовал на допросе у Жакоме, он был очарован – по его собственным словам – очарованностью Бернадетты. В этом незрелом создании, почти ребенке, он обнаружил такую убежденность и непоколебимую уверенность в себе, что его холодный ум попросту не мог этому противостоять. Налоговый инспектор страшился собственной чувствительности, и именно по этой причине сестре так трудно было уговорить его взглянуть собственными гла-

зами на спектакль, разыгрываемый перед гротом. Подобно Дютуру и Жакоме, в глубине души он надеялся на окончательное поражение Бернадетты.

Эстрад, несомненно, относится к тем людям, которых называют «умеренными католиками». Он принадлежит к Католической церкви по убеждению и, как положено, выполняет все ее требования. Поскольку Церковь была духовной родиной его родителей, его дедов и прадедов, Эстрад, как скромный человек и чиновник среднего уровня, не строит из себя невесту, что и не считает нужным быть исключением из общего правила. Для него, как и для многих, приверженность к Римской церкви есть своего рода патриотизм, то есть приятная своей определенностью привязанность в такой неопределенной жизненной сфере, как вечность. К этому следует добавить, что, будучи натурой уравновешенной и склонной к меланхолии, в политике Эстрад – заядлый консерватор, что также определяет его верность самой консервативной силе на земле – Церкви. При этом Эстрад человек мыслящий и начитанный. А посему его молчаливый ум доступен воздействию критической исторической школы, подобно умам всех мыслящих и начитанных людей этой эпохи. Но Эстрад достаточно силен – или достаточно слаб, – чтобы решительно отстраняться от неприятных крайностей как веры, так и сомнения и как добрый гражданин и католик оставаться в безопасном пространстве золотой середины.

Эстрад не может поверить в объективное существование Бернадеттиной дамы. Не может поверить и сейчас, после того как побывал у грота и стремительно бежал оттуда, даже не попрощавшись с сестрой. Он выбирает самую нехоженую дорогу вдоль мельничного ручья, чтобы не возвращаться в город вместе с толпой. Нельзя отрицать, что увиденное лишило его душевного равновесия. Он вспоминает свои юные годы, когда «божественное» – так он это тогда называл – порой пробуждало в его душе возвышенные, охватывающие весь мир чувства. Это «божественное» ушло из его жизни вместе с юностью, ибо оно вряд ли пристало зрелому мужчине. В юности, да, в юности «божественное» постоянно посещало его и постоянно уносилось прочь, то вдруг приближаясь, то удаляясь. Непонятная дрожь сотрясала тогда его душу, ощущение вечности выдавливало горячие слезы из глаз. Что это было такое? Эстрад хватается за лицо и с удивлением обнаруживает, что и сейчас его глаза полны горячих слез.

Куда подевалось его хваленое хладнокровие, как мог так подействовать на него вид этой несчастной девочки, скованной каталепсией? Он еще мысленно видит, как Бернадетта несколько раз подряд осеняет себя крестом, широким, медленным крестом через все лицо. Если существует Царствие Небесное, думает Эстрад, и в нем прогуливаются и приветствуют друг друга души праведников, то они непременно должны осенять себя при встрече таким же медленным, благородным крестом. Эстрад не может постичь ту диковинную силу, с которой это невежественное дитя Пиренеев каждым своим взглядом, каждым шагом, каждым жестом подтверждает реальность того, чего быть не может. Как, например, Бернадетта вопросительно подняла глаза, якобы не поняв даму, с каким напряжением вслушивалась, а потом, наконец поняв, в порыве детской радости наклонилась и поцеловала землю. Весь этот наивный церемониал был проникнут такой близостью божественного, таким ощущением его присутствия, что по сравнению с ним даже торжественная месса вдруг представилась ему пустой и бессодержательной демонстрацией пышности.

Эстрад так погружен в свои беспокойные мысли, что долго не замечает пешехода, идущего ему навстречу от лесопилки. Пешеход – не кто иной, как Гиацинт де Лафит, закутанный в свою широкую пелерину. Этот предмет одежды, столь модный в прежние времена, некоторые господа, среди них Лакаде, Дютур и даже Дозу, придирчиво критикуют и считают вызовом общественному мнению. Но дамам пелерина, напротив, очень нравится, и они томно вздыхают при виде закутанного в нее поэта. «Бедный Лафит, – говорят добросердечные дамы, – он, верно, был очень несчастен в любви». В печаль, проистекающую из чисто духовных источников, дамы не верят.

– Так рано и уже на ногах, друг мой? – приветствует Лафит налогового инспектора.

– Ваш вопрос я возвращаю вам, дорогой. Уж вы-то, как я полагал, наверняка должны быть в этот час еще в постели.

– На сей счет многие заблуждаются, а я никогда не ложусь ранее девяти часов.

– Как, вы ложитесь в девять вечера?

– Что вы – упаси боже! – не ранее девяти утра... Ночь – моя главная покровительница и подруга. Она удваивает мои духовные силы. Ночи я провожу за сочинительством и занятиями наукой. Сегодня, например, я написал несколько совсем недурных александрийских стихов. Но ничто не сравнится со временем между пятью и семью утра после проведенной таким образом бессонной ночи. Только в эти часы ясность восприятия достигает возможного человеческого предела...

– Не могу сказать, что сегодня в эти часы я чувствовал себя так же хорошо, как вы. Дело в том, что я иду от грота...

– Все теперь ходят к гроту, – улыбается Лафит. – Сначала Дозу, теперь вы, следующий будет Кларан, а закончат это паломничество Лакаде и Дюран...

– Я даже не подозревал, что увижу там нечто незабываемое...

– Да, я знаю. Девочка-пастушка из древних времен, которая анно 1858 видит нимфу здешнего источника, проскучавшую в заточении две тысячи лет.

– Возможно, любезный друг, вы не стали бы так шутить, если б сами были свидетелем необыкновенного экстатического состояния этой девочки. Вы поэт. Ваш долг увидеть все собственными глазами...

– Довольно, Эстрад! – серьезно и горько говорит Лафит, крепко ухватив своего спутника за рукав. – Если не ошибаюсь, кажется, в Евангелии от Иоанна есть такой стих: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Я применяю это к литературе. Те, кому непременно надо увидеть, чтобы изобразить, – жалкие дилетанты. Я с насмешкой отвергаю утверждение, что надо что-то испытать, чтобы понять...

– Но есть опыт, который не заменит никакая фантазия, – настаивает Эстрад.

Лафит останавливается и глубоко вдыхает чистый зимний воздух. Сегодня первое погожее утро после недель февральского ненастья. Сделав небольшую паузу, он говорит резко и категорично:

– Вы все никак не избавитесь от прежних религиозных иллюзий. Вот в чем дело! В наш век боги умирают. Надо много сил, чтобы пережить смерть богов и не впасть в грех идолопоклонства. История учит, что, когда боги умирают, наступают скверные времена. Взгляните на современную Церковь, хотя бы на католическую, не говоря уж о прочих. Что она собой представляет? Она отпускает нам христианство по сниженным ценам, идет большая распродажа Бога. Иначе и быть не может, ибо основа всего, мифология, уничтожена. Всемогущий, всезнающий, вездесущий Бог Отец, по воле которого непорочная девственница, свободная от первородного греха, родила сына, родила затем, чтобы Он спас несчастный мир, так неудачно сотворенный Отцом, – вы должны признать, что поверить в это так же трудно, как в Минерву, рожденную из головы Юпитера. Человек даже в своей мистике – раб привычки. Древним было так же тяжело расставаться со своей Минервой, как нам с Пресвятой Девой. Чтобы подпереть развалины веры, возводят шаткие леса деизма, но это не поможет, ибо все стоит на очень непрочном фундаменте. На этих лесах вы все и раскачиваетесь. Не считайте меня, пожалуйста, простаком эпохи Просвещения. Я точно знаю, что мистицизм есть одно из прекраснейших человеческих свойств и что он никогда не исчезнет полностью ни в каком столетии. Но если вы со своих лесов вдруг увидите что-то мистическое, у вас тут же закружится голова, ибо вы недостаточно сильны, чтобы смотреть в бездонную пустоту, не шатаясь и не теряя частицы своего разума...

– Это правда, Лафит, сегодня перед Массабьелем у меня закружилась голова. Я не знаю, почему это произошло. Не знаю даже, имеет ли то, что я там видел, какое-либо отношение к

религии. Во всяком случае, Бернадетта вернула меня в мир чувств, которые я – слава господу! – еще не совсем утратил...

Они молча доходят до Старого моста. Волны Гава яростно бросаются на мостовые опоры. Не в силах замаскировать свои чувства и скрыть теплоту, Эстрад спрашивает:

– Скажите, Лафит, у вас есть надежда когда-нибудь вернуться домой?

– Куда? – вопрошает Лафит, взмахнув на прощанье шляпой. – Желаю вам доброго утра, милый Эстрад, а я отправлюсь спать. Ибо мой единственный дом – сон и безнадежная пустота...

Глава восемнадцатая

Декан Перамаль требует чудесного пробуждения розы

День почти весенний. Еще две-три недели, и можно будет надеяться, что с зимой покончено. Большой сад при доме лурдского декана достоин всяческого внимания, ибо он пробуждается к жизни. Трепетно ждет, раскинувшись между каменными стенами. Он подобен квартире, которую спешно готовят к приезду новых жильцов. Бурий газон местами вскопан, красноватая земля на грядках разрыхлена лопатой, кусты раkitника и сирени подстрижены. Прошлогодняя листва сметена в кучи, свежий речной песок привезен и скоро будет скрипеть на дорожках не хуже гравия. Шпалеры розовых кустов, конечно, еще прикрыты от февральской стужи. Розы – любовь и гордость Мари Доминика Перамалья. Сейчас он пристально разглядывает каждый из этих кустов, закутанных в солому или, если речь идет об особенно ценных и нежных сортах, завернутых в мешковину. Правая рука Перамалья тщательно ощупывает защитное покрытие, словно хочет ощутить спрятанную под ним дремлющую жизнь, удостовериться, что она уже готовится к пробуждению. При этом правая рука, видно, и вправду забыла, что делает левая. А левая в это время сжимает письмо. Очень важное письмо, так как написал его сам монсеньор Бертран Север Лоранс, епископ Тарбский.

Лишь закончив проверку намеченных для осмотра розовых кустов, Перамаль ломает епископскую печать. Письмо прибыло сегодня утренней почтой. Это ответ на его донесение и на просьбу об указании касательно последних событий в Лурде. Как Перамаль и ожидал, монсеньор остается на своей прежней позиции. Так называемые «видения в Массабьеле» пока еще не дают повода для заявлений, а тем более для действий церковных властей. Каноническое право требует вмешательства лишь в случаях «доказанной ереси, губительных суеверий и серьезной смуты среди верующих». Ни один из указанных случаев здесь не имеет места. Речь идет всего лишь об утверждении четырнадцатилетней девочки, что ей якобы является какая-то неизвестная, не называющая своего имени дама, и это заявление не поддается проверке. Поведение декана Лурда – с одобрением пишет его преосвященство – полностью отвечает интересам епархии. Итак, позиция остается прежней – никакой реакции и никакого участия со стороны духовенства. Господину декану следует постоянно напоминать всем священнослужителям, что им строго запрещено появляться в толпе у грота. На вопросы, которые могут быть заданы во время исповеди, предлагается давать примерно такой ответ: «Во все времена возможно появление на земле посланцев Неба и совершение чуда. Но нет никаких свидетельств, что подобное происходит в гроте Массабьель». Епископ Тарбский, однако, вовсе не относится к этой истории слишком легко. Он напоминает о неприятном прецеденте: несколько лет назад некая Роза Тамизье из Авиньона разыгрывала подобную же комедию, притворяясь, что ей является Пресвятая Дева. Глава той епархии, наделенный более энтузиазмом, чем разумом, попался на крючок мошенницы, претендовавшей на святость, и оказался в ужасном тупике. В результате мошенничество раскрылось, был нанесен огромный урон авторитету Церкви, в провинции произошло заметное усиление атеизма, а в политике триумфальную победу всюду одержали злейшие

враги Церкви. Вот почему следует соблюдать величайшую осторожность и постоянно молиться о просветлении умов и об отвращении подобной напасти.

Перамаль складывает письмо. Хотя в нем и содержится похвала ему лично, оно привело декана в скверное настроение. Этим важным господам легко рассуждать об осторожности и о такте. Они, как генералы, сидят в штабах, куда пули не долетают. Грубая жизнь доходит до них только в виде писанины. А наш брат должен собственной задницей сидеть в дерьме.

У Перамалья, знатока человеческих душ, есть известное подозрение, что к этой отвратительной глупости, творящейся в гроте, причастны некоторые богатые дамы. Этот «поджигатель на ниве милосердия» хорошо знает своих благочестивых овечек, опору Церкви, вроде мадам Бо или мадам Милле. Эти праздные дамочки рассматривают церковь как свой салон или клуб, где в волнах фимиама и блеске свечей они могут удовлетворять свои властные притязания, страсть к сплетням и жажду сенсаций. Когда требуется исполнить завет Господа о любви к ближнему и хоть немного облегчить безысходную физическую и духовную нужду народа Пиренеев, эти дамы хором вопят, как много денег они уже пожертвовали на праздник в честь святой Анны или на украшение алтаря. Зато они всегда готовы раскошиться там, где речь идет о сверхъестественном, и даже могут сотворить в свою честь небольшое чудо. Декану уже доложили о странных отношениях между Бернадеттой и мадам Милле. Епископ прав, напоминая о случае с обманщицей Розой Тамизье...

Перамаль вновь обращает взгляд к особенно нежному сорту роз – «Ла Франс»: он опасается, что они не выдержали суровую зиму, и уже хочет сделать ножом надрез на стебле, чтобы проверить, зелен ли он внутри, как вдруг до него доносится глухой шум шагов. Этот шум приближается к садовым воротам. Декан вдруг понимает: это Бернадетта Субиру! И оказывается, бесстрашный декан не в силах подавить в себе волнение по поводу прихода этого бедного комичного ребенка. Его пальцы, словно пойманные за дурным делом, поспешно лезут в карман за молитвенником. Священник не должен быть застигнут с праздными глазами и пустыми руками. Перамаль злится на себя из-за того, что так поспешно вытащил молитвенник. Однако, по виду погруженный в чтение, он начинает прогуливаться по аллее, обсаженной акациями и ведущей к воротам.

Догадка принадлежала тете Бернарде, именно она решила, что в словах дамы «пойдите к священнослужителям» речь, без сомнения, идет о декане Перамале. Дама явно не могла иметь в виду обходительных священников Помьяна, Пена и Санпе, ведь они всего лишь простые капелланы, помощники Перамалья. Из-за лаконичной манеры выражаться слова дамы, к несчастью, оказываются слишком неопределенными и общими. Она, например, ни разу не назвала ни одного имени, ни своего, ни чужого. Обращаясь к Бернадетте, ни разу не сказала ей «Бернадетта», но прибегала лишь к вежливому и некатегоричному: «Я вас прошу» или «Мне бы хотелось». Может быть, даме просто трудно удержать в голове непривычные для нее имена здешних людей. Но этому противоречит тот факт, что дама безупречно владеет диалектом провинции Бигорр и говорит на нем так свободно, как редко удастся чужестранцу или аристократу. Возможно, ей запрещено называть имена, так как называемые могли бы слишком возгордиться таким отличием.

Во всяком случае, Бернадетте было бы куда легче, если бы тетя Бернарда посчитала, что слово «священнослужитель» можно отнести к трем капелланам, а не обязательно к декану Перамалю. В облике декана Перамалья для нее воплотились все страхи ее детства. Бернадетта видела декана лишь изредка на улице и на церковной кафедре. Но когда она вместе с другими школьницами слушала его проповеди и он возвышал свой хриплый громовой голос до крика, девочку сотрясала дрожь. Даже сама его величественная фигура, изборожденное морщинами лицо, стремительная размашистая походка – все это внушало девочке почтительный страх. Одним словом, бравый Перамаль был слишком велик для маленькой Бернадетты. Он был для нее «черным человеком», которым пугают детей. И перед ним она должна сейчас предстать

посланицей дамы. Сердце готово выпрыгнуть у нее из груди. Охотнее всего она бы повернула назад. Но энергичная Бернарда Кастеро, взяв дело в свои руки, не отступится. А она ведь и вправду взяла дело с дамой в свои руки, поверив Бернадетте больше, чем родная мать. Безжалостным тычком в спину она подталкивает племянницу вперед, так что Бернадетта, споткнувшись на выщербленном каменном пороге, влетает в сад.

Там в конце аллеи во всей своей мощи стоит великан Перамаль, читает молитвенник. К Бернадетте святой отец обращен спиной. «Ох, хоть бы он никогда не оборачивался!» – молит про себя девочка, в горле у нее першит, во рту пересохло. Маленькими шажками она продвигается вперед, навстречу опасности. Ей представляется, что она идет не по садовой дорожке, а пересекает ледяное течение Гава. Она стремится не производить ни малейшего шума. Ох уж эти деревянные башмаки! Лучше бы ей идти босиком. На некотором расстоянии от Перамалья она останавливается, сердце ее бешено колотится.

Священник резко поворачивается. Его глаза мечут молнии. Этого Бернадетта и ожидала. Он выпрямляется и становится еще выше, как будто и так не был достаточно высок для маленькой Бернадетты.

– Что тебе здесь нужно? Кто ты такая? – напускается он на девочку.

– Я Бернадетта Субиру, – заикаясь от страха, лепечет она.

– Ах, какая честь! – насмехается Перамаль. – Новая знаменитость пожаловала ко мне в гости... Ты всегда приводишь с собой свиту?

Бернадетта молча глядит себе под ноги. Священник между тем повышает голос:

– Если кто-нибудь из пришедших осмелится войти в мой сад, я позову жандармов. Ротозеям здесь не место!

Не оборачиваясь и не приглашая свою знаменитую гостью следовать за собой, Перамаль гигантскими шагами идет в дом. Бледная и потерянная Бернадетта поспешает за ним. Приемная декана – просторная холодная комната, хотя в камине пылает жаркое пламя. Полнокровному декану холод, видимо, нипочем. Его лицо побагровело от гнева, полные губы приоткрылись. Он возвышается над девочкой, как будто хочет раздавить ее.

– Значит, ты и есть та самая бессовестная девчонка, – бурчит он, – та лгунья, которая распространяет все эти занятные истории? Ведь так? – Поскольку Бернадетта не отвечает, его голос опять начинает сотрясать стены. – Говори! Раскрой же наконец рот! Чего ты от меня хочешь?

– Дама мне сказала... – начинает девочка, давясь слезами.

Священник сразу же обрывает ее:

– Что это значит? Какая дама?

– Дама из грота Массабьель...

– Мне она неизвестна.

– Та красивая дама, что всегда ко мне приходит...

– Эта дама из Лурда? Ты ее знаешь?

– Нет, дама не из Лурда. Я ее совсем не знаю.

– Ты спрашивала, как ее зовут?

– О да, я спрашивала даму, как ее зовут. Но она не ответила...

– Может быть, дама глухонемая?

– Нет, не глухонемая. Она со мной говорит.

– И о чем она с тобой говорит?

Бернадетта пользуется удобным поворотом разговора и быстро выпаливает:

– Сегодня дама сказала: «Пойдите, пожалуйста, к вашим священнослужителям и скажите им, что здесь надо построить часовню...»

Бернадетта облегченно вздыхает. Слава Всевышнему, слова произнесены. Поручение выполнено.

Перамаль придвигает стул и удобно усаживается перед запуганной девочкой, испепеляя ее своим горящим взглядом.

– Священнослужители? Что это значит? Твоя дама, как видно, закоренелая язычница. Священнослужители могут быть и у каннибалов. У нас, у католиков, есть духовенство, и каждое духовное лицо имеет свой сан...

– Но дама сказала «священнослужители», – настаивает Бернадетта, у которой чуть полегчало на душе, после того как она передала декану послание дамы.

– Ты обратилась не по адресу, – вновь мечет грома и молнии Перамаль. – Кстати, у тебя есть деньги на строительство часовни?

– О нет, у меня нет денег.

– Тогда передай своей даме, пусть она сначала раздобудет деньги для часовни. Сделаешь?

– Конечно, месье кюре, я передам, – быстро и вполне серьезно заявляет Бернадетта.

Перамаль недоверчиво смотрит на нее, удивляясь наивности этого создания.

– Что за вздор! – кричит он и вскакивает со стула. – Передай своей даме следующее: лурдский декан не привык получать задания от незнакомых дам, которые к тому же не называют своего имени. Далее, лурдский декан находит не очень-то приличным, что босые дамы лазают по скалам и посылают с поручениями несовершеннолетних. И под конец, лурдский декан покорнейше просит даму раз и навсегда оставить его в покое. Это все. Ты поняла?

– О да, я все передам, – с готовностью кивает Бернадетта, для которой важна лишь сама дама, а не отношения дамы с миром. Девочка едва ли не в полуобморочном состоянии от волнения и страха и совершенно не сознает, какой оскорбительный отказ получает Очаровательная от декана Перамали. А тот в заключение указывает пальцем на большую метлу, которую забыла в углу его экономка.

– Видишь эту метлу, малышка? – снова грохочет он, доводя грозу до апогея. – Этой метлой я тебя собственноручно вымету из храма, если ты еще раз осмелишься мне докучать!

Но такие грома Бернадетте уже не по силам. Разрыдавшись, она пускается бежать.

У декана Перамали сегодня выдался плохой день. При ближайшем рассмотрении оказалось, что шесть самых старых розовых кустов погибли. Поистине невосполнимая потеря! Сколько лет заботы и ухода требует жалкий черенок, прежде чем из него разовьется гибкий и пышный куст, который с апреля по ноябрь будет непрерывно выбрасывать бутоны и покрываться изумительными благоуханными цветами. Но не только эти шесть розовых кустов, годных теперь разве что на растопку, огорчают декана. Не меньше угнетает его собственное поведение в присутствии Бернадетты Субиру. Хорошо, пусть она маленькая лгунья или, вернее сказать, пассивный инструмент в руках Милле и других честолобивых дам. Это еще не причина, чтобы лурдский декан изображал из себя перед этим слабым запуганным ребенком заправского людоеда или черта из театра марионеток. Когда малышка с рыданиями бросилась бежать, он бы охотно вернул ее, погладил бы по голове, подарил бы картинку с изображением святого, ведь Бернадетта принадлежит к беднейшим из бедных. О господи, мягкость, конечно, не лучший способ обращения с этим народом. Он знает, он усвоил это до самых глубин своей скрытной души.

Но есть и другие мысли, которые не дают ему покоя. После визита этой уличной девочки его уверенность в собственной правоте несколько поколебалась. Благодаря посредничеству Бернадетты даме удалось угнездиться в его мозгу. Он невольно думает о многочисленных явлениях Девы в прошлые времена. Чем, например, Англез из Сагазана, эта гасконская пастушка, которую Царица Небесная много раз удостоивала своими посещениями, – чем она так уж отличается от Бернадетты Субиру? А Катерина Лабурде из Сен-Северена? А Мелани, девчушка из Ла-Салет, хуторка, затерянного высоко в Альпах в провинции Дофине? Церковь признала достоверность явлений в Ла-Салет и оценила их целительное воздействие на веру. И самое поразительное, что эти явления случились не так уже давно. Всего двадцать один

или двадцать два года назад. Таким образом, имеется не только прецедент Розы Тамизье, но и вызывающий куда большее беспокойство прецедент Мелани из Ла-Салет? Епископ требует соблюдать величайшую осторожность. Мари Доминик Перамаль решает дополнить завтрашнюю утреннюю мессу особой молитвой: «О раскрытии истины в гроте Массабьель», а в душе он злится на маленькую колдунью, которая действует такими бесхитростными методами и несколькими словами сумела заставить его, нестигаемого, отойти от первоначально твердых позиций.

Между тем Бернадетта чувствует себя намного хуже, чем декан Перамаль. Едва она, все еще всхлипывая, успела в сопровождении тети Бернарды и тети Люсиль отойти на сто шагов, как в ужасе поняла, что допустила чудовищную ошибку. Ведь она передала не все послание дамы, она позабыла о его второй части: «Пусть сюда приходят процессиями».

«Семейный оракул», Бернарда Кастеро, придерживается мнения, что передавать эту вторую часть не так уж обязательно, поскольку господин декан с насмешками и бранью отклонил необходимую предпосылку этих процессий, то есть строительство часовни. Но Бернадетта не так резонерски умна, как ее тетя. Столь скупая на слова дама знает, чего хочет. Она требует процессий. Поэтому желание дамы следует незамедлительно передать, чтобы можно было предстать перед ней завтра утром с чистым сердцем. Образ действий дамы трудно предугадать. Если она почувствует разочарование из-за оплошности Бернадетты, может произойти несчастье, дама исчезнет на несколько дней или, страшно даже подумать, навсегда.

Вновь пойти к декану, да еще через несколько часов после того, как ее выгнали, для Бернадетты не легче, чем пойти на казнь. Великан, без сомнения, впадет в ярость и, как обещал, изгонит ее из храма метлой. А может, еще и хорошенько отлупит ее той же метлой. Но что она может поделать, ей остается только сжать зубы и приготовиться к худшему. Бернадетта молит добродушную тетю Люсиль смело войти в сад и на некотором расстоянии переждать грозу. Поход на казнь решено совершить часа в четыре, ближе к вечеру, ибо к этому часу, как они рассчитывают, декан устанет и потеряет охоту впасть в ярость.

В выбранный ими час Перамаль снова стоит перед своими розовыми кустами и угрюмо разглядывает, какой урон им нанесла зима. На этот раз Бернадетта застает его врасплох; она появляется перед ним – сплошной комочек страха – и с видом жертвенного агнца пылливо глядит на него своими темными глазами. Тетя Люсиль, переступив через порог и сделав несколько шагов, дальше идти не решилась.

– Должен сказать, ты обладаешь недюжинной храбростью, малышка, – грохочет знакомый хриплый голос.

– Месье кюре, мне необходимо вас побеспокоить, – говорит Бернадетта, дрожа от страха. – Это моя вина. Я кое-что позабыла...

Декан в кожаных рукавицах, а в руках он держит большой садовый нож, отчего кажется девочке еще страшнее. Словно гонимая фуриями, она выпаливает вторую часть своего послания:

– Дама сказала: пусть сюда приходят процессиями.

– Процессиями? – Перамаль не может удержаться от громкого смеха. – Это лучшее из того, что ты мне сказала! Процессиями? Значит, даме нужны еще и процессии? Но ты же производишь их ежедневно. Мы дадим тебе смоляной факел, и ты будешь собирать и водить свои процессии, когда и куда захочешь. Зачем тебе священнослужители, жалкая жрица? Как я слышал, ты сама себе епископ и папа, и ты устраиваешь перед Массабьелем такие дикие церемонии, что люди смеются и плачут! – Вопреки своим добрым намерениям Перамаль снова поддается гневу. Затем вновь переходит к насмешкам. – Дама, возможно, хочет увидеть свои процессии уже завтра?

Бернадетта кивает с величайшим простодушием:

– Думаю, да. – Сделав несколько книксенов, она начинает осторожно отходить к воротам. – Еще раз прошу прощения, – лепечет она. – Теперь я передала все...

– Эй, постой! – окликает ее декан. – Здесь я решаю, когда тебе уходить! Ты еще помнишь, что нужно передать от меня даме?

– Да, помню...

– Это не всё. Есть еще одно поручение, – глухо говорит Перамаль, глядя на закутанные соломой кусты роз. – Дама действительно ни разу не намекнула, кто она такая?

– Нет, ни разу не намекнула.

– Но если она та, за кого ее принимают люди, она должна разбираться в розах, не так ли?

Бернадетта тупо смотрит на Перамаль, не понимая, к чему он клонит. А Перамаль, то ли с мрачной серьезностью, то ли с мрачной насмешкой, вдруг задает вопрос о месте, где появляется дама:

– Мне рассказывали, что в гроте на скале растет куст дикой розы. Это правда?

– Да, правда, – заверяет Бернадетта, обрадованная, что опасность грозы, кажется, миновала, – Прямо под нишей, где всегда стоит дама, тянется длинный побег дикой розы...

– Все сходится, – кивает декан, явно обрадованный этим сообщением. – Навостри свои ушки, девочка, ты должна передать даме следующее: «Милая дама, лурдский декан настоятельно просит вас совершить небольшое чудо: сделать так, чтобы куст дикой розы расцвел сейчас, в конце зимы. Вам, должно быть, совсем нетрудно исполнить это скромное желание декана»... Ты поняла, девочка?

– О да, я все поняла.

– Тогда повтори то, что я сказал.

И Бернадетта с облегчением и без единого пропуска повторяет поручение Перамаль к даме.

Глава девятнадцатая

Вместо чуда – позор

Весь город говорит о просьбе декана к даме. Мари Доминик Перамаль оказался достойным своего высокого поста и показал пример, как следует вести себя в трудных ситуациях. Вольнодумцы и антиклерикалы видят в его просьбе лишь смачную шутку, они смеются и в то же время смущены, потому что теперь не так-то легко утверждать, что Церковь покровительствует видениям в Массабьеле, если даже не сама их сотворила. С другой стороны, известие об этом вызове приводит в волнение широкий круг верующих. В самом деле, если дама из Массабьеля – Пресвятая Дева, то она сама есть Небесная Роза и Царица Роз, недаром молитвы, которые читают по четкам, составляют «розарий». Упустит ли дама случай совершить это скромное «чудо розы», тем более что на пороге уже март и все почти в пределах возможного. Ведь требуется не так уж много, чтобы Небеса смогли оказать хоть небольшую поддержку своим приверженцам и укрепили их шаткое положение в безбожном мире. Да, лурдский декан – большой хитрец, это следует признать.

Хозяин кафе Дюран встречает своих гостей веселым подмигиванием.

– Держу пари, – говорит он, – скоро мы с вами станем очевидцами славенького чуда. Почему бы и нет, господа, погода прекрасная, солнышко пригревает, особенно в полдень, а через четыре дня – март. Все, что еще требуется, обеспечат некоторые дамы. Например, поставят под нишу таз с горячими углями или запрячут в куст пару грелок! Казенав делает все это в своей оранжерее и получает к Рождеству прекрасные фиалки и гладиолусы. Держу любое пари!

Этими словами добрый дух кафе «Прогресс» призывает к осторожности.

Но другим чудом является всеобщий вопль, всеобщее моление о чуде, которое звучит во всех областях Пиренеев, когда их с быстротой молнии облетает весть о разговоре декана с

Бернадеттой. Об этом становится известно в самых отдаленных горных деревушках. Все эти крестьяне с натруженными руками, пастухи, батраки, дорожные рабочие, лесорубы, горняки словно вдруг пробудились от спячки и пришли к ужасному осознанию кратковременности человеческой жизни и своей отверженности на этой земле. На короткое время они перестали равнодушно принимать проклятие Господа, осудившего их на страдания и муки. Подобно потерпевшим кораблекрушение, они возжаждали узреть в бесконечном тумане земной жизни знамение Небес, которое сулит им спасение: случится чудо, дикая роза зацветет в конце февраля.

Меньше всего беспокоится о чуде сама Бернадетта. Уже на следующее утро, едва придя к гроту, девочка поспешно выпаливает даме все, что велел ей передать декан. На этот раз ей не дано погрузиться в состояние экстаза и только созерцать, только слушать. Мирская суэта тревожно вторгается в ее общение с дамой. Она бубнит слова декана глухо, без остановок, потому что многие из них она едва осмеливается произнести, настолько грубыми, высокомерными и властными кажутся ей требования Перамалия. Разве можно таким образом обходиться с дамой? «Лурдский декан сказал, чтобы вы сами раздобыли деньги для вашей часовни». «Лурдский декан сказал, что он не принимает заданий от незнакомых дам». «Лурдский декан желает, чтобы вы впредь оставили его в покое». «Лурдский декан настоятельно просит вас сделать так, чтобы куст дикой розы под вашими ногами расцвел». Дама спокойно выслушивает все эти грубости. Ее лицо ни на миг не омрачается, не бледнеет, как бывало прежде, когда происходило или говорилось нечто неподобающее. Время от времени торопливое сообщение Бернадетты вызывает на ее лице беглую рассеянную улыбку. Только быстрый взгляд на куст розы доказывает, что она приняла к сведению требование Перамалия. Дама сегодня рассеянна. Она не наклоняется к своей избраннице. Ее кристально ясные глаза страдальчески устремлены вдаль. Кажется, словно перед дамой, о которой говорят, что она всего лишь видение, проносятся ее собственные видения, исполненные ужаса и муки, ибо ее уста непрерывно произносят одно только слово: «Искупление». Дама испытывает сейчас сильное отвращение, догадывается Бернадетта и пытается с помощью искупления, как она его понимает, облегчить Обожаемой пребывание в этом отвратительном мире. Бернадетта непрерывно целует землю, до крови стирает себе колени, ползая по камням. Она не успокаивается, пока ее ладони не покрываются ранами. Она хочет собственным примером побудить толпу к такому же искуплению, в надежде, что это облегчит муки дамы. Но она достигает немногого, так как только единицы понимают ее намерения, да и вообще люди пришли сюда смотреть на чудо, а не причинять себе ради дамы всякие неудобства. Несмотря на хорошую погоду, дама явно мерзнет. Розы на ее ножках постепенно теряют блеск. Уже через двадцать минут она исчезает. Люди рассказывают, что сегодня лицо Бернадетты не претерпело никаких изменений.

Верующие заранее определили четверг двадцать пятого февраля как день совершения «чуда розы». Начиная с одиннадцатого февраля, когда дама впервые предстала перед Бернадеттой, это третий по счету четверг. Волнение жаждущих чуда, которые так смело предсказывают поведение дамы, вполне понятно. Не только крестьянки долины Батсюгер, но и мадам Милле, тетя Бернарда, Бугугорты, тетушка Николо, Сажу и многие другие убеждены, что нечто великое произойдет сегодня или никогда.

Между мэром и прокурором с одной стороны и комиссаром полиции с другой дело доходит до бурных объяснений. Каждый перекладывает на другого ответственность за неприятное положение, в котором оказались власти. Прежде всего пришла в неистовство вся парижская пресса. Политический инстинкт Дютура его не обманул. Крупные газеты используют эту огорчительную, но, в сущности, безобидную историю, чтобы лицемерно, из-за угла, атаковать абсолютистский режим императора, который сам обязан своим приходом к власти путчу. «Подобно сверкающей молнии, — пишет „Журналь де деба“, — эти печальные события в Лурде высветили всю материальную и духовную отсталость, в которой вынуждено прозябать население

наших южных провинций. Что сделано больше чем за десятилетие для того, чтобы одаренный пиренейский народ смог приблизиться к современности? Ничего, меньше чем ничего! И так поступают намеренно, руководствуясь холодным расчетом. Народ, чье школьное образование отдано в руки монахов и монахинь, никогда не достигнет вершин свободомыслия, что означало бы конец любой тирании. Возбуждение религиозного фанатизма – вернейший способ отвлечь человечество от его высочайших целей, то есть от организации разумной жизни на земле. Министру культуры и просвещения месье Руллану следовало бы принять эти строки близко к сердцу».

Месье Руллан принимает эти строки так близко к сердцу, что в ужасе молит премьера своего кабинета: «Помогите мне избавиться от этих сумасшедших видений!» При этом он, конечно, допускает серьезную ошибку, не подсказывая, как это сделать. Премьер-министр обращается в Министерство внутренних дел и к министру юстиции Деланглю. Министерство внутренних дел сочиняет язвительные запросы, которые ложатся на стол барона Масси, префекта в Тарбе. Министр Делангль, в свою очередь, отдает приказ главному имперскому прокурору в По немедленно разобраться и навести порядок. Рассерженный префект посылает все более строгие запросы супрефекту Дюбоэ в Аржелес и комиссару полиции в Лурд. Одновременно главный имперский прокурор Фальконе требует от имперского прокурора Дютура отчета о том, как идет расследование и кто привлечен к ответственности. Одним словом, служебные запросы и служебные ответы ползут вверх и вниз по бюрократической лестнице, подобной лестнице Иакова, соединяющей Землю и Небо, а до решений, не говоря уж о принятии мер, дело не доходит. И поскольку даже высшая инстанция, Министерство по делам культов, не осмеливается перейти к решительным действиям, низшие власти чувствуют себя все менее уверенно. Ведь против видений с того света, посещающих этот свет, трудно применить какой-то параграф. Желая сохранить лицо, власти сходятся на том, что будут продолжать осуществлять «строгий надзор» за семейством Субиру, за девочкой Бернадеттой и фиксировать все связанные с означенной девочкой чрезвычайные происшествия. Но так как в общественной, равно как и в государственной, жизни всегда страдает крайний, все беды обрушиваются на невинную голову мелкого полицейского чиновника Жакоме. Бедняга видит, что из-за упрямства дамы ему грозит увольнение со службы. Если все так и будет продолжаться, его отправят на нищенскую пенсию. Жакоме переживает тяжелые дни. Он крайне обозлен и одновременно напуган. Спасти его может только величайшая решительность, которой нет у его начальства. В этот четверг он намерен показать пример. Для этой цели он решает использовать не только все местные полицейские силы, то есть семерых жандармов и Калле, но запрашивает еще и подкрепление из Аржелеса. Тамошняя бригада посылает трех жандармов. Поэтому уже в шесть утра перед гротом Массабель выстраивается внушительный отряд из одиннадцати вооруженных людей, готовых призвать к порядку даму, Бернадетту и всех ее почитателей.

Жакоме, однако, не предусмотрел, что в этот день, день предполагаемого чуда, здесь соберется примерно пять тысяч человек. Они идут к гроту по всем проселочным дорогам, пересекают гору, проходят общинный лес Сайе и остров Шале. Жакоме приказывает жандармам установить кордон и перекрыть доступ к гроту. Через кордон пропускают только Бернадетту и ее ближайшее окружение, а также доктора Дозу, брата и сестру Эстрад и некоторых других именитых людей Лурда. Мельнику Антуану Николо, постоянному посетителю Массабеля, начавшему ходить сюда одним из первых, Жакоме грубо преграждает путь. В ответ на это Антуан становится на колени перед бригадиром д'Англа и упрямо запекает одну из песен в честь Марии. Большая часть толпы тут же следует его примеру. Комиссар полиции своими распоряжениями не только не ущемил интересы дамы, но даже оказал ей услугу. Портал грота сравним по размерам с театральной сценой. Сегодня толпа вынужденно не рвется вперед, а располагается перед сценой широким полукругом, причем передние ряды опускаются на колени, а

задние стоят, так что всем всё видно гораздо лучше, чем обычно. Жакоме невольно установил перед ненавистной ему сценой строгий порядок.

Сегодня Бернадетта опять видит перед собой совершенно новую даму. (О, никогда ее трепетная любовь не познает Возлюбленную до конца!) Сегодня дама определенно явилась не для того, чтобы осчастливить свою избранницу. Поэтому Бернадетта опять не впадает в состояние экстаза, которое дает толпе возможность узреть Незримое. При этом дама никогда еще не была такой торжественной, как в этот четверг. Вернее сказать, она впервые кажется торжественной. Ее неотразимое очарование получает сегодня оттенок строгости и решительности. Даже ее улыбки и приветственные кивки, эти сердечные знаки, отмечающие каждую новую встречу, кажутся сегодня более скупыми, официальными и в то же время едва заметными, лишь намеками на улыбку или приветствие. Складки ее платья сегодня неподвижнее, чем всегда, края накидки не трепещут от ветра, а локоны, прежде всегда выбивавшиеся на лоб, тщательно спрятаны.

Бернадетта сразу чувствует, что сегодня ей придется делать нечто иное, чем обычно. Многие ночи подряд она уже прикидывала, как в случае нужды подобраться к нише. У скалы валяется много каменных глыб, по которым можно легко подняться, по крайней мере до побега дикой розы, растрепанной бородкой окаймляющего нишу снизу. Дама осеняет себя первым крестом, Бернадетта в точности его повторяет. Затем дама указательным пальцем манит к себе Бернадетту. И вот уже Бернадетта наяву карабкается по камням, без труда забирается все выше и наконец оказывается на уровне куста. Без ясно выраженного желания дамы она никогда не осмелилась бы так приблизиться. Ведь ее макушка всего в нескольких сантиметрах от бескровных ножек дамы, на которых пылают золотые розы. В приступе страстной преданности, выражающей и нетерпеливую готовность к искуплению, Бернадетта погружает лицо в колючий куст и пылко его целует. К счастью, щеки ее не очень испарапались, на них выступают лишь две или три капельки крови. Гул тысячеголосой толпы за ее спиной становится громче. Уже стремительная грация, с какой девочка в линиялом капюле вскарабкалась по камням и подобралась к нише, вызывает восхищение. Что же касается бесстрашного соприкосновения с кустом дикой розы, то здесь уже содержится указание на чудо, которое произойдет, как ожидают зрители, в течение ближайших минут. Волнение толпы опережает события. Особо впечатлительные уже видят, как куст, политый кровью маленькой ясновидицы, окрашивается в ярко-алый цвет от множества лопающихся на нем бутонов. Это величайший до сей поры миг в «диких церемониях» Бернадетты, как называл их Перамаль.

Но дама, похоже, не обращает особого внимания на ее импровизацию. У нее другие планы. Четко и ясно произнося каждый слог – таким тоном отдают важные распоряжения детям, – дама говорит на чисто пиренейском диалекте, который звучит в ее устах необычно благородно:

– Annat héoué en a houn b'y-laoua!

Эти слова означают:

– Подойдите к источнику, напейтесь и омойте лицо и руки!

Бернадетта в один миг оказывается внизу, не отрывая глаз от дамы. «Источник? – думает она. – Где здесь источник?» Сначала она в растерянности замирает. Затем ей приходит на ум, что дама, возможно, не вполне освоила диалект и путает понятия «источник» и «ручей». Бернадетта быстро опускается на колени и начинает ползти – в этом ползание она уже достигла немалого совершенства – по направлению к ручью Сави. Одолев некоторое расстояние, она вновь поворачивается к нише. Дама качает головой и проявляет явное недовольство. «Ага, – думает девочка, – она хочет, чтобы я пила воду не из Сави, а из Гава». Бернадетта быстро меняет направление и начинает ползти к реке, берег которой примерно в тридцати шагах. Но голос дамы зовет ее назад:

– Пожалуйста, не к Гаву!

В этих четырех словах, в их предостерегающей интонации звучит даже известное осуждение Гава, который не пригоден для целей дамы. Хотя строптивый горный поток, бурно проносящийся мимо, и заключает в себе, по мнению Кларана, вечное «Ave», воды его порой становятся, очевидно, местом сосредоточения враждебных сил. «Куда же теперь?» – недоумевает Бернадетта и, открыв рот, глядит в нишу. Дама еще раз повторяет ей фразу об источнике и, как бы для того, чтобы помочь, добавляет:

– *Annat minguia aquero hierbo que troubéret aquiou!*

Это означает:

– Идите в грот и ешьте растения, которые вы там найдете!

Бернадетта долго осматривается в гроте, прежде чем обнаруживает в углу, в самой глубине, местечко, где нет песка и гальки, зато есть немного травы и несколько жалких растений, в том числе скромный цветочек, называемый в народе камнеломка, за то упорство, с каким он пробивается сквозь камни к свету. Бернадетта быстро ползет туда. Она начинает со второй части приказа: сорвав несколько травинок и стебельков растений, она запихивает их в рот и с трудом проглатывает. При этом в ней оживает одно детское воспоминание. Однажды родители навестили ее в Бартресе. Она как раз вывела овечек на лужайку, и отец, тогда еще браваый самоуверенный мельник, прилег возле нее на траву. У некоторых овечек были на спине зеленоватые пятна. «Взгляни, Бернадетта, – в шутку сказал тогда Субиру с нарочито кислой миной, – взгляни на этих бедных тварей. Они так налопались этой отвратительной травы, что она уже лезет у них сквозь шкуру». Бернадетте, которая не понимает шуток и верит всему, что ей говорят, становится жалко своих овечек, и она заливается слезами. Сейчас ей вспоминаются эти зеленоватые овечьи спины и собственные слезы, потому что, по желанию дамы, ей самой приходится глотать эту отвратительную траву.

Но ей предстоит нечто еще худшее, так как она должна выполнить и первую, самую важную часть приказа: «Пойдите к источнику, напейтесь и омойте лицо и руки». Раз дама говорит об источнике, значит где-то должен быть источник, это Бернадетте ясно. Если источника не видно, значит он течет под землей. Девочка внимательно вглядывается в клочок земли, с которого она только что рвала и ела горькую траву. Затем она начинает обеими руками копать и выбрасывать землю, как крот. В глубине грота прислонены к стене лопаты и заступы дорожных рабочих. Но Бернадетте в голову не приходит взять одну из лопат и облегчить себе работу. С яростным усердием она продолжает руками раскапывать землю, все время страшась, что дама потеряет терпение, глядя, как медленно она продвигается к цели. Даже сейчас, выполняя непонятное ей задание, пытаясь найти источник, которого нет, она ни на секунду не задумывается о намерениях дамы. Насколько чутко она пытается проникнуть в отношения, связывающие ее одинокое «я» с одиноким «ты» дамы, настолько же мало ее волнуют сокровенные цели дамы. Девочка повинуетась слепо и бездумно, поскольку любовь ее безгранична. И в этом она типичная женщина, которой, в сущности, безразличны планы любимого, лишь бы они давали ей возможность снова и снова доказывать свою преданность.

Когда размеры вырытой ямки чуть превосходят объем миски для молока, девочка натывается на влажную почву. Следующие комья земли она вытаскивает гораздо легче. Она переводит дыхание и делает небольшой перерыв, так как работа ее утомила. На дне ямки образуется маленькая грязная лужица, воды в ней не наберется и на полрюмки. Но этой влаги хватит, чтобы смочить губы и увлажнить лоб и щеки. Без сомнения, дама, приказывая Бернадетте «напиться и омыть лицо и руки», как раз и имела в виду подобное, чисто символическое действие. Но даме, конечно, легче иметь дело с символами, чем девочке Бернадетте Субиру. В том возвышенном мире, откуда она пришла, к символам, очевидно, вполне привыкли. Но в мире Субиру всё понимают практически и буквально. Девочка сочла бы выполнение приказа чистейшим обманом, если бы не сумела взаправду напиться и омыть лицо и руки.

Поэтому она еще немного углубляет ямку, в результате чего лужица воды, вероятно просочившаяся в почву во время последнего наводнения, исчезает, смешавшись с грязью. Что остается Бернадетте – только взять в руки влажный комок грязи и размазать его по всему лицу, а другой комок запихнуть в рот и постараться проглотить. Последнее удастся ей только после многих безуспешных попыток, отчего с чудовищно измазанного лица девочки не сходит гримаса отвращения и одновременно страшного напряжения воли. Но едва отвратительный комок после многих глотательных движений удастся протолкнуть в пищевод, как против этой пищи мертвых начинает бунтовать пустой желудок. Приступ рвоты сотрясает Бернадетту. Ее рвет на глазах пяти тысяч зрителей, жаждавших увидеть чудо. Рвет долго, снова и снова, пока весь комок земли не извергается наружу.

Мать, тетя Бернарда и тетя Люсиль бросаются к Бернадетте. Кто-то приносит бутылку воды из мельничного ручья. Девочке оттирают лицо и руки, застирывают платье. Всем за нее стыдно. Только сама Бернадетта, смертельно измученная, положившая голову на колени матери, не ощущает стыда, у нее нет для этого сил. Она даже не замечает, что дама ее покинула.

Но что видят люди, которым неведом приказ дамы, которые понятия не имеют, что Бернадетте велено «напиться, омыть лицо и руки, есть траву»? Сначала они видят, как Бернадетта, не убоившись шипов, окунает лицо в колючий куст. Этот аскетический жест очаровывает толпу. Все воспринимают его как преддверие чуда. Но затем происходит беспрецедентная перемена тональности. Бернадетта растерянно ползет на коленках прямо к толпе, хотя до сих пор она, подобно священнику во время богослужения, большей частью была обращена к людям спиной и только изредка оборачивалась, как тот же священник, чтобы возвестить слово Невидимой. А теперь она явно не знает, куда ползти. То направляется туда, то сюда, причем ее взгляды, обращенные к нише, полны сомнения и нерешительности. Ее лицо не преобразилось, это обычное лицо девочки Субиру. После чего она бродит по гроту, находит в углу траву, срывает ее и ест, начинает ногтями рыть землю, мажет себе лоб и щеки грязью и, в довершение всего, проглатывает комок земли, который затем с невероятной мукой извергает. К ней подбегают мать и тетки, чтобы мокрыми тряпками кое-как оттереть замарашку и привести в человеческий вид.

Вот и всё, что видят и понимают люди. Их глазам представляется не что иное, как картина отталкивающего душевного расстройства, подобную которой нечасто можно наблюдать и в сумасшедшем доме. И это чудо сегодняшнего четверга? Не только восторг или ярость огромной толпы, но и ее разочарование подобно буйству стихии. Если до того мгновения, как к измученной девочке подбежали мать и тетки, стояла мертвая тишина, то теперь толпа разражается долгим, мучительным, не приносящим облегчения смехом. Толпа смеется не столько над Бернадеттой, сколько над собой, над собственными легковерием и глупостью. Тысячи людей, поддавшись непонятному дурману, надеялись, что здесь, в Лурде, произойдет нечто, что придаст смысл их бессмысленному существованию, докажет их недоказуемую веру. Теперь их снова окружают будни, гнусная повседневность; «чудо розы» не прорвало пелену реальности. Бернадетта – всего лишь несчастная безумица, а дама – «блуждающий огонек», порождение ее больного мозга. Декан и комиссар полиции, напротив, трезвые и умные головы, на них можно положиться.

– Явно спятила! – говорят теперь наиболее рьяные защитники Бернадетты. – Кто бы мог подумать?

Жакоме дождался своего часа. Теперь или никогда он должен пресечь это безобразие в корне, затоптать его, как тлеющий костерок. Чего не смогли добиться министерства, префектура, супрефектура, имперская прокуратура и мэр, сумеет сделать он один, простой полицейский комиссар. Его будет хвалить начальство, его узнает вся просвещенная Франция, он снимет тяжкий груз с духовенства, а в газетах, которые выписывает месье Дюран, прочтет о себе: «Простой комиссар полиции отрубает голову гидре суеверия!» Жакоме в сопровождении сво-

его вооруженного отряда находит некое возвышение, использует его как ораторскую трибуну, и вот уже его пронзительный, натренированный на допросах голос оглашает окрестность:

– Эх вы, люди! Не смогли раскумекать, что вас дурачат и водят за нос? Несколько мошенников, которых мы еще обнаружим, смеются над вами и производят смятение в умах. Наконец-то вы своими глазами увидели, что малышка Субиру – несчастная помешанная, которую в ближайшие дни поместят в закрытое заведение. А с Пресвятой Девой, земляки, все было надувательство и подлый обман. Что ей, делать больше нечего, Пресвятой Деве, как отрывать вас всех от работы в обычный четверг, да еще в конце февраля, когда дел полным-полно? Пресвятая Дева желает вам добра и не хочет, чтобы вы теряли время и терпели убытки. Она вполне довольна, когда вы исправно молитесь по четкам. Так же думает и духовенство. Пресвятая Дева не хочет, чтобы у полиции были лишние затруднения и расходы. Взгляните-ка на этих жандармов! Из-за ваших дурацких выдумок нам пришлось затребовать еще троих из Аржелеса. У жандармов и так служба тяжелая, день и ночь на посту, а вы еще добавляете им трудности. Те деньги, которые мы пустили на ветер из-за вас, можно было бы потратить с большим толком. Поэтому образумьтесь наконец, добрые люди! Подумайте: возможно ли чудо в будний день? Да разве такое бывает? Чуда и в воскресенье-то не дождешься! Господь Бог не терпит непорядка в природе, как его величество император не терпит непорядка в государстве. Надеюсь, вы меня поняли, и завтра в нашей местности опять воцарятся спокойствие и порядок...

После этой яркой, сдобренной народным юмором речи присмиревшая и растерянная толпа начинает расходиться. Большинство и так знало, что все это обман и безумие. Некоторые угрюмо молчат, так как им трудно примириться с разочарованием и позором. Между гротом и ручьем сидит на раскладном стульчике тучная мадам Милле – последнее время она всегда носит его с собой. Ее окружили мадам Бо, мадемуазель Эстрад, портниха Пере и еще одна дама, принадлежащая к высшему обществу Лурда. Последнюю зовут Эльфрида Лакрамп, она племянница доктора, пользующегося авторитетом в этом кругу. Милле не сдерживает слез.

– У меня на душе так тяжело, будто я потеряла любимое дитя... – всхлипывает она.

– Моей вины тут нет, дорогая мадам Милле... Я всегда советовала вам не доверять девчонке, – внушает ей кривобокая Пере. А мадам Лакрамп обращает свой блеклый взор к Небесам.

– Вы не должны были уговаривать меня пойти с вами, дорогая мадам Милле, – вздыхает она. – Вы же знаете, как хрупка моя вера. Из-за этой аферы она, к сожалению, пошатнулась.

Доктор Дозу и налоговый инспектор Эстрад вместе возвращаются в город. Они не разговаривают. Только у лесопилки Эстрад произносит:

– Удивительно, что даже люди нашего круга так поддаются массовому гипнозу...

Глава двадцатая Зарница

Поведение Бернадетты после этого позора многим вновь представляется загадочным. Когда в прошлый понедельник дама не появилась, она готова была умереть от отчаяния, хотя ее неудача в тот день не отвратила от нее сердца приверженцев. Но сегодня, после такого провала, после того как ее вырвало в присутствии стольких свидетелей ее возвышения, она совершенно спокойна, невозмутима и даже – надо признать – полна какой-то радостной уверенности.

Люди не понимают Бернадетту, потому что все они, стоящие высоко или низко, одинаково привыкли измерять свою жизнь успехом. Девочка Субиру, благодаря невероятному соединению сказки с давно подавленными, оттесненными в глубину чаяниями простого люда, стала средоточием жизни города и округа, предметом разговоров и споров во всех, без исключения, домах. Она стала «звездой», как становится «звездой» всякий властитель, завоеватель, герой, первооткрыватель, художник, попавший под лучи прожекторов успеха. Успех автоматически

делает человека актером, разыгрывающим собственную жизненную роль, что и соответствует профессиональному термину «звезда». Кто не потеряет своей неосознанной естественности, когда на него устремлены сотни тысяч глаз?

Так вот, Бернадетта естественности не теряет. Ее невинность во всем, что касается успеха, настолько непостижимо велика, что сохранение естественности даже не является особой заслугой. Если люди ее не понимают, то и Бернадетта не понимает людей. Зачем надо было всем этим тысячам подсматривать за ее встречами с дамой? Что это им дает? Если бы никто не приходил, было бы гораздо лучше! Тогда, может быть, декан, прокурор и комиссар полиции оставили бы ее в покое. Вся эта навязчивая свита приносит ей одну досаду и муку. Важна любовь! Важна Единственная, Бесконечно Любимая! И никто больше. В глубине души у Бернадетты нет ни малейшей потребности убеждать кого-то, что дама действительно существует, а не является плодом ее фантазии. Лишь по принуждению, а не по доброй воле ей приходится спорить на эту тему. Что же ей делать, если священник и чиновник устраивают ей перекрестный допрос? Люди все время говорят о Пресвятой Деве. Но кто бы ни была дама, для Бернадетты она просто дама, и в этом слове для нее в тысячу раз больше личного и значительного, чем в самом святом имени. Бернадетта хорошо понимает, что причиной всеобщего смятения явились далеко идущие тайные планы дамы, ее послания и приказы. Если бы Дарующая Счастье пеклась лишь о ней, Бернадетте, ей было бы куда легче. Но Бернадетта, испытывавшая такую бездну блаженства в часы экстаза, достаточно скромна, чтобы не роптать на побочные цели дамы, хотя сегодня из-за источника действительно попала в дурацкое положение. Но делать нечего. Приказы дамы должны исполняться в точности, что бы люди ни говорили.

Кашо весь день полон посетителей. Не успеет тяжелая входная дверь захлопнуться за одним, ее тут же открывает следующий. Люди сидят на кроватях, на столе, даже на полу, который госпожа Субиру ежедневно моет. Но здесь не царит, как прежде, восторженное настроение, здесь уже не курят фимиами супругам Субиру вопросами: «Как вы должны быть счастливы, мадам, имея такого ребенка!» или «Кто мог предположить, что в кашо родится такой ангел?» Сегодня взгляды посетителей полны грустного укора, будто в кашо родился не ангел, а возмутительный урод и семья не может не чувствовать за собой вины. Плохой знак, что тетя Бернарда вместе с послушной тетей Люсиль распрощалась так рано. Тетушка Сажу грустно качает головой:

– Нет, этого не должно было случиться... Только не это!

Кума Пигуно, напротив, отводит Луизу Субиру в сторонку:

– Знаешь, моя милая, что сказала мадам Лакрамп? А у нее большой опыт, ведь ее собственная слабоумная дочь в сумасшедшем доме. Она сказала: «Это состояние продлится еще месяца два, затем появится дрожание глазного яблока, наступит прогрессирующий паралич, откажет речь. Да-да, моя милая, это огромное несчастье, но вы должны заранее похлопотать о месте в сумасшедшем доме в Тарбе. Нужно перенести это стойко, да-да, уж я-то знаю...»

– Pgaoubo de jou! – несколько раз восклицает Луиза голосом, полным рыданий. Между тем в кашо появляется портниха Пере и перед всей публикой берет в оборот Бернадетту.

– У бедной мадам Милле, – сообщает она, – такая чудовищная мигрень, какой не было уже полгода. Она велела позвать сразу двух врачей: доктора Перю и доктора Дозу... Дитя мое, как можно было так неприлично себя вести? Лопать траву, лопать грязь, да еще и допустить, чтобы тебя вырвало?

Бернадетта как ни в чем не бывало объясняет:

– Но дама потребовала, чтобы я пошла к источнику, напилась воды, омыла лицо и руки. А там не было источника. Тогда я стала копать и нашла немного воды. Но воду можно было проглотить только вместе с землей...

Портниха дергается, словно укушенная гадюкой:

– Так ты утверждаешь, что это Святая Дева превратила тебя в скотину! Нет, вы только послушайте! Эта ненормальная хочет нас уверить, что Богоматерь вела себя как дьяволица и велела ей жрать землю и траву! Это уже слишком! О таком святотатстве следовало бы сообщить господину кюре...

– Вы говорите неправду, мадемуазель, – совершенно спокойно объясняет Бернадетта и повторяет, наверное, в сотый раз: – Я не знаю, кто эта дама.

– Зато я знаю, что ты хитра не по годам, – парирует Пере, подмигнув присутствующим.

Пигюно бросает сокрушенный взгляд на Луизу:

– Хитра? Это бедная больная девчушка хитра?..

Бернадетта деловым тоном продолжает защищать даму:

– К тому же она не говорила мне, что я должна есть землю, она только сказала, что надо напиться из источника...

Дядюшка Сажу закуривает трубку, чего, из уважения к обитателям этого жилища, давно уже здесь не делал. Откашлявшись, он заключает хриплым голосом каменотеса:

– Но поскольку источника нет, значит дама солгала!

– В самом деле, солгала, – вторят ему другие голоса.

Глаза Бернадетты загораются гневом.

– Дама не лжет!

У сапожника Барренга, которого скандал у грота очень взволновал, трясутся не только руки, но и голова.

– В горах источники текут всегда сверху вниз, а не снизу вверх, – уверяет он. – Это вам скажет любой ребенок. Внизу только грунтовые воды...

Своими ответами Бернадетта все же достигает того, что ее нелепое поведение этим утром уже не кажется присутствующим таким абсурдным. Как всегда, побеждает непосредственность, с какой девочка изображает даму как человеческое существо, странные желания и приказы которого надо выполнять беспрекословно, даже если они неудобны и неприятны. Ее логика, опирающаяся на убедительную силу любви, в сотни раз превосходит критические способности этих простых людей. Они сами не замечают, как девочка вновь навязывает им предпосылку, что Прекраснейшая существует, что она в высшей степени разумна и не может иметь в голове ничего коварного или противного разуму. История с источником, которого не было, ни в малейшей степени не тревожит девочку. Лицо ее кажется сегодня необыкновенно свежим, свежее, чем четырнадцать дней назад. Щеки, оцарапанные поцелуем тернового куста, покрывает нежный розовый румянец. Заплаканная Луиза Субиру не сводит с дочери испуганных глаз. Нет, не может быть правдой то, что говорит Пигюно: что через месяц-другой Бернадетту разобьет паралич и она утратит речь. Подлая ведьма эта Пигюно, и поразительно, что в этот час величайшего разочарования мать начинает верить, что Бернадетте в самом деле является Пресвятая Дева в образе очаровательной и своенравной дамы.

Только один человек еще не произнес в это утро ни слова. Это Франсуа Субиру, отец семейства. Но тут происходит нечто, чего едва ли можно было ожидать от этого нерешительного, зависимого от чужих мнений человека. Он выставляет всех собравшихся за дверь. Делает он это, конечно, со всем присущим ему достоинством и тактом, раскланиваясь во все стороны и прижимая руку к сердцу.

– Я бедный человек, – говорит он, – и как будто мало мне было обрушившихся на меня несчастий. Бог послал мне под конец еще и это испытание. Я не могу проникнуть в душу своего ребенка. Я не знаю, действительно ли Бернадетта не в себе. Одно я знаю твердо: она нас не обманывает. Но что мне делать? Надо жить дальше. Однако в такой обстановке мы жить не можем. В этой комнате, дорогие соседи и родственники, очень мало воздуха, а нас здесь шестеро. Поэтому я прошу вас, не обижайтесь, но сейчас уходите и больше не приходите...

Эти слова порождены такой душевной болью, что непрощенные гости тут же спешат исчезнуть, не затаив зла, кроме Пере и Пигюно, которые тотчас отправляются разносить дурные новости. Последним из кашо выбирается одноглазый Луи Бурьет, тот, кто выполняет отдельные поручения хозяина почтовой станции Казенава. Субиру просит его сообщить хозяину, что он болен. Затем, впервые за долгое время, вновь привычно укладывается в постель, хотя в два окошка кашо еще заглядывает бледное солнце.

Мария, которой хочется утешить сестру, садится рядом с ней за стол и открывает катехизис. Девочки начинают вслух учить урок, как будто ничего не случилось. Жан Мари и Жюстен, которые благодаря даме переживают время упоительной, ничем не ограниченной свободы, отправляются в одну из своих исследовательских экспедиций...

Нередко великие мысли, чтобы родиться на свет, выбирают отнюдь не великие головы.

Бурьет, бывший каменотес, не совсем слеп на правый глаз. Если бы этот глаз ничего не видел, он не так бы ему досаждал, или, говоря словами Евангелия, не так бы его «соблазнял». Но правый глаз мучает Бурьета непрестанно, он чешется, горит, он почти всегда воспален. Кроме того, мутное темно-серое пятно, от которого правый глаз не может освободиться, нарушает ясность восприятия левым глазом. Бурьет сделал свой недуг центром собственной жизни. С одной стороны, этот недуг привлекает к нему сочувствие людей, с другой – позволяет постоянно жалеть себя и испытывать от этого приятное чувство успокоения. «Что можно требовать от слепого?» – любимая присказка этого инвалида. Бурьет действительно не слишком много от себя требует, в расцвете сил он отказался от тяжелой мужской работы, чтобы перебиваться случайными заработками посыльного. Это легче, а перед семьей и миром у него есть надежное оправдание – его увечье.

Хотя исцеление вроде бы не сулит Бурьету никакой практической выгоды, но по дороге от Субиру к Казенаву ему приходит в голову неожиданная мысль. Подобно всем больным, страдающим от постоянного недомогания, Бурьет считает, что если лекарство не вредит, то оно уже полезно. Он поворачивает обратно и возвращается на улицу Пти-Фоссе, где проживает он сам и его семья. У двери ему попадает на глаза его шестилетняя дочурка.

– Послушай-ка, детка, – спрашивает ее Бурьет, – ты знаешь грот Массабель, где Бернадетте Субиру является ее дама?

– Конечно, знаю, папочка, – обиженно заверяет малышка тоном завсегдатая, которого ошибочно приняли за новичка. – Я была там уже целых три раза...

– Послушай, деточка, – говорит отец. – Беги к маме! Попроси у нее большой кусок мешковины. Потом сбегай в грот и набери мне сырой земли, той, что там накопана в правом углу, в глубине. Не ошибись: в правом углу, в глубине! Затем принеси мне ее на почтовую станцию! Поняла?

Через полчаса, завернув в платок немного земли – теперь уже довольно мокрой кашеобразной грязи, – Бурьет забирается в самую темную часть конюшни Казенава. Там он находит пустое стойло, садится на солому и прислоняется спиной к кирпичной стене. Затем плотно прижимает платок с сырой землей к правому глазу. Вода из узелка сочится у него по лицу. Считая, что лекарство подействует не скоро, Бурьет сидит в своем темном укрытии, пока часы на башне Святого Петра не бьют два. За часы, проведенные в конюшне, земля в платке все еще не высохла.

Когда Луи Бурьет выходит из ворот конюшни, он в испуге отшатывается, так много света льется ему в глаза. Он торопливо закрывает здоровый левый глаз. Неподвижное темно-серое пятно в правом глазу стало молочно-белым и начало рассасываться. Плотный туман превратился в тонкую, прозрачную гряду облаков, в которой мелькают огненные зарницы. Сквозь эти перистые облака Бурьет может отчетливо различать очертания людей и предметов. Он приходит в необыкновенное волнение, не столько от состояния своего глаза, сколько от своего открытия, и опрометью бежит через площадь Маркадаль к доктору Дозу.

В это время Дозу проводит свой ежедневный прием. Сегодня у него полно пациентов. Но Бурьета невозможно удержать. Он без стука врывается в святая святых врача, в его кабинет.

– Что вы себе позволяете, Бурьет? – напускается на него Дозу. – Будьте добры выйти за дверь и дождаться своей очереди!

– Но я не могу ждать! – выпаливает Бурьет в полной растерянности. – Мой правый глаз прозрел! Я прикладывал к нему сырую землю из грота и теперь вижу, доктор! Это чудо...

– Вам всем не терпится дождаться чуда, – ворчит Дозу. Затем плотно занавешивает окна, зажигает керосиновую лампу с сильным отражателем и принимается исследовать глаз Бурьета.

– Четыре больших рубца на роговице. Значительное отслоение сетчатки. Тем не менее вы им немножко видите, разве не так? Иногда лучше, иногда хуже...

– Да, иногда лучше, иногда хуже, – соглашается Бурьет, которого, как любого человека, страдающего глазами, легко поколебать в оценке его зрения.

– И сегодня вы видите им лучше, не так ли?

– Да, доктор, гораздо лучше, будто вспыхивает зарница и в ее свете я все вижу.

– Зарница, мой дорогой, – еще не настоящее зрение. Просто вы несколько часов нажимали на глазное яблоко и сильно раздражили нерв. – Дозу поворачивает лампу так, чтобы она ярко осветила таблицу на противоположной стене. Затем указывает на первую букву в верхнем ряду:

– Можете прочесть мне эту букву правым глазом, Бурьет?

– Нет, доктор, не могу.

– А левым глазом можете?

– Нет, доктор, не могу.

– Черт возьми! И левым не можете? А двумя глазами?

– И двумя глазами не могу, доктор, потому что я совсем не умею читать.

Дозу отдергивает занавески.

– Приходите завтра, Бурьет, когда вы будете спокойнее.

Выходя из комнаты, инвалид упрямо бормочет:

– И все-таки это чудо.

Но доктор Дозу не знает, относить ли данный случай к офтальмологии или к психиатрии.

Часть третья Источник

Глава двадцать первая День после позора

Луиза Субиру твердо решила отныне быть на стороне дочери. Она решила так не ради дамы. К даме она относится не слишком благосклонно. Дама сманила ее любимое дитя, похитила Бернадетту. Кто может отрицать, что с одиннадцатого февраля ее девочка уже не прежняя Бернадетта. Если сейчас в кашо живет несколько беззаботнее, чем раньше, то это ничтожная плата за все волнения, опасности, оскорбления, выпавшие им на долю. Но особенно сердится Луиза на даму за ту зловещую фразу, что она сказала Бернадетте во время третьего явления: «Не могу обещать вам, что сделаю вас счастливой на этом свете, только на том».

Нельзя сказать, что Луиза Субиру была плохой христианкой и недооценивала важность счастья на том свете, нельзя хотя бы потому, что пребывание там несомненно продолжительнее пребывания здесь. Но здоровый девиз Луизы: немножко счастья на этом свете и немножко на том, не слишком много и не слишком мало, серединка на половинку! Главное, не надо чересчур резких переходов между «здесь» и «там». Нет уж, увольте! Зачем малышке Бернадетте мучиться здесь от нужды и астмы, терпеть судебное преследование, насмешки и подозрения ради того, чтобы там, наверху, вести изысканную жизнь, к которой она не привыкла и к которой не стремится? Такое обращение с Бернадеттой матушка Субиру считает несправедливым. Они с мужем всю жизнь бьются за то, чтобы обрести право на обычную, заурядную жизнь. Не надо им есть фазанов и пить бургундское, только бы не голодать! Предел их мечтаний – вновь приобрести небольшую мельничку, вроде той, что была у них в Боли.

Но с тех пор как в кашо вошла слава, скромный диапазон чувств госпожи Субиру несколько расширился: к прежним добавилось новое – тщеславие! Луиза стала чем-то похожа на мать одаренного ребенка, какой-нибудь маленькой музыкантши, которая ежедневно дает концерты. Пока Бернадетта всецело отдается встречам с дамой, ничуть не тревожась об одобрении общества, Луиза недоверчиво наблюдает за публикой, ревниво отмечая рост или падение общественного интереса, бурные или жидкие аплодисменты. Провал в четверг был для нее настоящим ударом. Как все матери вундеркиндов, она особенно нетерпима к самым приближенным из их свиты. Они для нее как бы на ролях апостолов, и это обязывает их к неизменному безусловному восхищению. Сегодня она особенно зла на Круазин Бугугорт. Эта никчемная особа, которая даже не умеет обихаживать своего полуживого уродца и по любому поводу обращается к Луизе, не жалеющей для нее ни времени, ни сил, так вот, эта особа осмелилась соорудить отвратительную гримасу, когда Бернадетте пришлось есть землю. Ничего, Луиза ей покажет! Пусть только позовет ее еще раз на помощь! А высокомерная толстуха Милле с ее вечной мигренью! А Бернарда Кастеро, родная сестра! Поведение Бернарды Кастеро мучит ее так сильно, что она вручает поварешку Марии, накидывает платок и мчится к сестре. С непривычной резкостью набрасывается она на «семейного оракула»:

– Ну что, ты тоже предала мою Бернадетту?

– Не ори, идиотка! – высокомерно обрезает ее Бернарда.

Луиза совсем выходит из себя:

– Я скажу тебе: ничто, ничто не заставит меня отступить от моего ребенка! Вы все можете сидеть по домам, а я завтра пойду с ней к гроту!

Урожденная Кастеро, носящая фамилию покойного мужа, Тарбе, презрительно смеется:

– Как была душой, так душой и осталась! Ты родная мать, а я всего лишь крестная. Но кто был рядом с твоим ребенком, когда ты от страха пряталась под одеяло и боялась пикнуть?

Это чистая правда. Луиза быстро сникает перед всегдашним превосходством сестры. Массивная Бернарда с бельевым вальком в руках угрожающе надвигается на Луизу:

– Само собой разумеется, мы все пойдем к гроту, глупая курица! Еще девять раз! Так хочет дама. И надеюсь, весь этот птичник останется дома и лазанье по горам прекратится. Тебе, конечно, это придется не по вкусу...

В пятницу надежда Кастеро сбывается. Большинство зрителей остаются дома. Среди пришедших, число которых едва превышает сотню, много недоброжелателей, завистников, сомневающих, которые пришли поглазеть на продолжение вчерашнего позора. Не обходится без Пере и Пигино, маячит также группа школьников под предводительством Жанны Абади. Из приверженцев Бернадетты присутствуют только мать и сын Николо. Бернадетта рада, что зрителей собралось мало. Так ей гораздо свободнее, взгляды сотен и тысяч не жгут спину.

Она становится на колени перед нишей и вынимает четки, хотя дамы не видно. Бернадетта сразу понимает, что сегодня дама не придет. Пропуск свидания для Бернадетты уже не такой удар, как в прошлый понедельник. Девочка сделала большие успехи в познании дамы. Бернадетта знает теперь, что дама не так своенравна, как она предположила вначале. У дамы, безусловно, есть и другие обязательства, договоренности и дела. Вероятно, она тоже соблюдает какой-то определенный порядок и подчиняется правилам, которые не хочет нарушать. Просто она не всегда может прийти на свидание. Иногда и ей мешают какие-то другие дела. Несмотря на сегодняшнее отсутствие Благодатной, Бернадетта уже не мучится подозрением, что дама вероломно ее покинула, даже не попрощавшись. Любовь девочки обрела бо́льшую уверенность. В глубине души она допускает, что дама, возможно, не пришла на свидание из-за обычной усталости. Вполне вероятно, что у дамы сегодня мигрень. Благородные дамы часто страдают от этой болезни с благозвучным названием, о сути которой Бернадетта ничего не знает. Зато она знает, какое терпение требуется от дамы каждый раз, когда та решает посетить Массабель. Бернадетта тихо молится по четкам. Затем встает и с уверенной улыбкой обращается к присутствующим:

– Сегодня дама не пришла... – И после небольшой паузы пытается объяснить поточнее: – Наверное, вчера она очень утомилась...

Это одно из тех высказываний, с помощью которых Бернадетте замечательно удается очеловечить Невидимую и приблизить ее к людям. Кто слышит такие слова, слетающие с губ девочки, кто смотрит в ее темно-карие, спокойные детские глаза, тот не может ей противостоять и усомниться в ее искренности. Да, вчера она ела землю, давилась, сотрясалась от рвоты, но сегодня это уже не кажется таким унижительным. Видно, дама имела в виду что-то непонятное, но целесообразное, бог ее знает что, и, побудив посредницу к действию, несколько переоценила ее и свои возможности. Поживем – увидим! У некоторых женщин снова на глазах слезы. Фраза Бернадетты передается из уст в уста. И никого не волнует клочок мокрой земли в правом углу грота.

Зарница в глазу Бурьета уже не вспыхивает. Но светлые перистые облака вместо темно-серого тумана остались. Сквозь эти легкие облака он довольно ясно различает предметы. И не сомневается, что чудесное исцеление произошло благодаря сырой земле из Массабеля. К доктору он, естественно, больше не идет. Тот опять лишит его уверенности и помешает продолжению чуда. Бурьет твердо намерен продолжать лечение. Он уже рассказал нескольким людям о внезапном улучшении зрения. Большинство подняло его на смех. Станным образом, больше всего ему поверили двое или трое из бывших коллег. Каменотесы и дорожные рабочие составляют особый цех, который славится своей солидарностью. Как правило, все это бедняки, люди с подорванным здоровьем. Но если один из них крупно выигрывает в лотерею – такой случай был недавно, – он угощает своих друзей, пока от выигрыша не остается ни монетки.

Каменотесы и дорожные рабочие в провинции Бигорр не более благочестивы, чем все прочие. Но если с одним из них случится чудо, другие будут приветствовать его как успех всего цеха. Поэтому старые друзья, которым инвалид рассказал о своем необыкновенном исцелении, радостно переглянулись и оценили это по достоинству.

Около трех часов Луи Бурьет отправляется в Массабьель, чтобы принести новый узелок с землей. У грота он застаёт группу женщин, склонившихся над маленьким ручейком, вытекающим как раз из того места в гроте, где находится мокрая земля, и прокладывающим себе путь по песку к ручью Сави. Ручеек очень узок, не шире струйки воды, бегущей вдоль садовой дорожки после летнего ливня. Но течет он быстро и целеустремленно, видимо, питающий его ключ вполне надежен.

– Что это такое? – недоуменно спрашивает Бурьет.

– Мы здесь молились по четкам, – рассказывает одна из женщин, – и вдруг появилась вода. Мы сперва даже не заметили...

– Черт побери! – Бурьет даже присвистнул от удивления. – Похоже, это не грунтовые воды, а настоящий родничок...

Глаза старой крестьянки из Оме сияют.

– Сказала же Пресвятая Дева Бернадетте: «Идите к источнику, напейтесь и омойте лицо и руки...» Вот вам и источник!

– Клянусь Господом, это не грунтовые воды, – восклицает все более взволнованный Бурьет и со всех ног бежит на мельницу Сави поделиться новостью с Антуаном Николо. Любой опытный мельник хорошо разбирается в трех вещах: в зерне, во выючных животных, то есть в лошадях и ослах, и, не в последнюю очередь, в воде. Если потребуется, хороший мельник может запрудить ручей, управлять лодкой и расчистить источник. Николо со знанием дела склоняется над струйкой воды и нащупывает пальцами то место, откуда она вытекает.

– Если уж Бернадетта что сказала, – заявляет он, – то все без обмана... Это родник, и течет он из скалы...

– Значит, Пресвятая все же сотворила чудо! – вырывается у одной из женщин.

– Направить источник в русло – непростое дело, – объясняет мельник, – и я этому делу не обучался. Родник состоит обычно из нескольких водяных жил, их надо соединить вместе. Эти струйки легко засыпать землей, и источник исчезнет без следа... Было бы хорошо, женщины, если бы вы пока держали язык за зубами...

Антуан Николо и Бурьет коротко совещаются. Затем вместе доходят до проезжей дороги в Тарб, которая за перевалом Трущобной горы поднимается круто вверх. Там на высоте сейчас трудятся каменотесы и дорожники, укрепляя полотно дороги щебенкой. Из благодарности Пресвятой Деве коллеги Бурьета готовы потрудиться над благоустройством источника. Окончив работу, они с кирками на плечах направляются к гроту. Большая часть пришедших принимается улучшать крутую и опасную тропу к гроту и огораживать ее деревянной балюстрадой.

Дневной свет еще не вполне угас, когда Антуан послал на мельницу за смоляными факелами. При их мерцающем свете он принимается за свою искусную рискованную работу. Все получается даже легче, чем он надеялся. Как только он, проследившая водяную жилу, углубился в скалу всего на два фута, оттуда внезапно вырвалась сильная струя толщиной с детскую руку. Выкопанная яма вмиг до краев заполняется водой. Теперь каменщики начинают выкладывать камнями стенки круглого бассейна размером с церковную купель. Они выбирают на берегу самые гладкие, отшлифованные камешки, умело пригоняют их друг к другу и замазывают щели известковым раствором. Затем так же выкладывают дно, оставляя лишь дыру для входного желоба, а пока Антуан силится удержать струю рукой, как удерживают под уздцы непокорную лошадь. И вот уже готовый каменный бассейн заполняется чистой прозрачной водой. Все жадно пьют. Обычная свежая вода из горного источника, без малейшего привкуса. Чуть позже Бурьет и Николо вновь идут на мельницу – надо притащить деревянные желоба,

которые обычно есть в запасе у каждого мельника. По ним воды нового источника устремляются наружу и весело журчат, словно радуясь своему выходу на свет. Только после окончания всей работы Антуан спешит в кашо, чтобы принести победную весть Бернадетте.

Вечером Лафит и Кларан отправляются на прогулку по острову Шале. Февраль уже близок к концу, в воздухе чувствуется весна. На небе сияет ослепительная полная луна. Выйдя за ворота парка, они замечают вдали мерцающий красный свет факелов возле Массабьяля.

– Увидите, – говорит Кларан, – не будет покоя, пока...

– Что «пока»? – спрашивает Лафит, но ответа не получает.

– Увидите, – повторяет Кларан, – покоя не будет никогда.

Кларан был вчера свидетелем позорного провала Бернадетты. Оба господина подходят к рабочим, которые только что закончили свое дело и любуются результатом.

– Эй, друзья, – удивленно спрашивает их учитель, – что вы здесь делаете?

– Вот вам и источник! – ликуя говорит Бурьет и показывает на него гордым жестом фокусника.

Антуан Николо погружает руку в бассейн почти по локоть.

– Бернадетта обещала источник. И источник появился. Да какой мощный! Не меньше сотни литров в минуту, клянусь...

Лафит трогает Кларана за плечо:

– Ну, друг мой, что вы скажете о моем предвидении? Я уже три недели назад говорил, что это будет не ореада и не дриада, а именно нимфа источника...

Кларан обращается к рабочим:

– Кто заказал вам эту работу и кто ее оплачивает?

– О, месье, – подмигивает один из каменотесов, – мы потрудились два лишних часика для дамы. Она наш хозяин. Когда-нибудь заплатит...

Среди общего смеха звучит голос мельника:

– Это, господа, и есть настоящее чудо. Им мы обязаны Бернадетте, над которой вчера все так насмехались.

– Спокойнее, Николо, – прерывает его Кларан. – О каком чуде вы говорите? Источник – не чудо. Он был здесь с незапамятных времен в недрах горы. Бернадетта его не сотворила, а только открыла...

Лафит величественным жестом указывает на небо:

– Взгляните на луну, господа! Разве луна, эта мертвая звезда, что вечно кружит над нами, не чудо? Вы не замечаете больших чудес, поэтому вам требуются малые...

Этот пантеистский жест вызывает явное недовольство присутствующих. Седой дорожный рабочий насмешливо качает головой:

– Что вы говорите, месье? Какое же луна чудо? И почему? Мы ее хорошо знаем. Она была всегда. Что было всегда, не может быть чудом.

Друзья поворачивают назад к острову Шале.

– Сегодняшние писатели, – замечает педагог, – к сожалению, разучились говорить с народом.

– Вы, возможно, правы, мой друг, – отвечает Лафит. – Я не могу объяснить свою точку зрения не только народу, но и вам. Бог знает, что с вами всеми произошло. Я скоро исчезну. Сбегу от этой дамы из грота и от всех моих дорогих родственников, которые уже известили меня о своем приезде...

Глава двадцать вторая

Обмен четками, или: «она меня любит»

Возникновение в Массабьеле источника – не только триумф Бернадетты, но и победа всего простого народа провинции Бигорр над светскими властями и Церковью. Теперь не только утром тысячи людей стекаются к Массабьелю, чтобы благодаря экстазу девочки Субиру потрясенно наслаждаться присутствием Божественного и видимостью Невидимого, но и по вечерам туда же направляются длинные вереницы людей с горящими факелами. Дама для большинства уже не просто дама, неведомая молодая женщина, являющаяся на встречи с Бернадеттой, о которой можно гадать, есть она или нет. Она теперь Дама, именно так ее воспринимают люди всех убеждений, точно так же, как грот Массабьель стал для всех просто Гротом. И желание Дамы, столь категорично отвергнутое священником, исполнилось в полной мере: люди процессиями идут к Гроту.

Хотя простое появление прежде скрытого родника, с точки зрения теологического начальства, не может быть признано чудом, все вокруг без конца говорят о Чуде. Даже такие просвещенные и трезвые головы, как Эстрад, Кларан и Дозу, находят обстоятельства, связанные с появлением источника, в высшей степени удивительными. Что касается широких масс, которые еще в четверг признали Бернадетту душевнобольной, а ее поведение отвратительным фарсом, то теперь они полны восхищения, усиленного чувством вины. Недоверчивые, сомневающиеся, враждебные наперебой стремятся продемонстрировать свою веру. Антуанетта Пере, например, каждое утро ровно в шесть часов появляется перед кашо и прямо на улице становится на колени, чтобы почтить бедное жилище чудотворицы. Таким образом она старается вернуть себе благосклонность мадам Милле, которая считает себя как бы матерью Чуда, так как уверовала в Бернадетту с самого начала. Пигюно, исполненная смирения, просит Луизу разрешить дочери благословить ее четки. Бернадетта с гневом отказывается. Жанна Абади, бросившая первый камень в избранницу Небес, и та пытается поцеловать ее руку, что ей не удается. А для народа, особенно для пиренейских крестьян, оживают далекие, забытые времена, оживает то, что не решился бы перенести в современность самый смелый фантаст и романтик. Как будто в Лурде и его окрестностях вдруг забурился вулкан сверхъестественных явлений и в давно заброшенном месте извергся огненной лавой. А люди здесь такие же, как повсюду. Правда, бедные, возможно еще беднее, чем в других областях Франции. Они живут в ветхих лачугах. Нередко спят в хлеву вместе со скотиной. Монетка в двадцать су – для них большая редкость. Мысли мужчин крутятся вокруг этой монетки. Мысли женщин заняты ежедневной похлебкой, вожделенным куском масла или сала, лоскутом красной или белой фланели на новый капюле. Не богатство, а бедность – оплот материализма. Только нужда и лишения обрекают человека на преувеличение ценности материального, насущного, само собой разумеющегося.

Девочке Субиру с помощью неведомых сил удалось совершить еще большее чудо, чем открытие источника. Сама того не сознавая и не желая, Бернадетта передает беднякам нечто от своей сострадательной удовлетворенности, от сладостного спокойствия, переполняющего ее душу, когда она может видаться с дамой. Непостижимым образом ей удается также передать людям частицу неземного блаженства своей любви. Людская масса в целом и каждый человек в отдельности вдруг ощутили, что произошло некое смягчение нужды и гнета, понять которое они не в состоянии. Благодаря Бернадетте они почувствовали, что за стертыми словами, формулами и обрядами священников скрывается не только туманная возможность, как было прежде, но и поразительная, почти осязаемая реальность. Приближение того света к этому множеству меняет. Нужда – уже не гранитная глыба, которую тащат на своем горбу от мгновения бессмысленного рождения до мгновения бессмысленной смерти. Гранит сделался пористым и

непривычно легким. Даже тупой ум свинопаса Лериса причастен к этому ликующему осознанию праздничной двойственности жизни, которое переполняет буквально всех. Пастух давно уже не пасет свиней возле Массабьеля. Зато он целый день распевает своим звонким переливчатым голосом песни родных гор. Вся жизнь, ненависть, вражда, страх, недоверие, ревность – все в значительной мере теряет свою важность. Ведь каждое утро является Дама, чтобы доказать, что существует иная жизнь, кроме земной. Дело, следовательно, не в том, чтобы рыскать, как голодный пес, в поисках куска хлеба. К труду начинает примешиваться элемент игры. Женщины по-иному доят коз. По-иному стирают белье. И все сердца трепещут от ожидания: завтра! Что произойдет в Гроуте завтра?

Лурд становится эпицентром землетрясения, которое охватывает всю Францию. Францию, которая прошла через три революции, сражавшиеся за свободу разума и против засилья креста, ибо крест несли перед собой высшие сословия, желавшие сохранить свои привилегии. Эта Франция сейчас ярится по поводу событий в Лурде, ибо считает их рецидивом опасной болезни, возвратом к преодолённым предрассудкам и ложным ценностям. Человек, как объяснял своим ученикам Кларан, живет еще в самом начале времен. Земля еще полностью не завоевана и не освоена. Промышленность со своими новыми машинами обеспечит счастье и процветание всему человечеству. Нет более важной задачи, чем окончательно освоить землю и создать на ней условия для всеобщего счастья и благоденствия. Кто мешает выполнению этой задачи своими сверхчувственными фантазиями, тот смертельный враг прогресса и всего человечества. Так думает господин Дюран, принимая во внимание высказывания парижской прессы; так же думает и парижская пресса, принимая во внимание мнение господина Дюрана. Пресса не поднимается даже до утверждения поэта Лафита, что луна есть чудо. Чудо для нее – это отсталость, это обскурантизм, который не желает видеть, что Вселенная организована достаточно элементарно. Небо – пустое неподвижное пространство, в котором носятся несколько триллионов разнообразных галактик. Небо так же естественно и материально, как и вся Вселенная, и там, где между изолированными огненными шарами зияет беспредельная пустота, нет и не может быть места для сверхъестественного. На второстепенном спутнике в одной из второстепенных галактик влачит свое существование особая порода обезьян, называемая «человек». Представление, что мужские и женские особи этой жалкой породы являются подобиями тех существ, что управляют Вселенной (*управляют* – тоже вполне антропоморфное понятие), столь же нелепо, как взгляды дикарей, которые не причастны еще к величайшей победе большей части людского племени – к отказу от своих фантомов. Только когда будет преодолена недобросовестная и злонамеренная глупость, лежащая в основе всякого иллюзионизма, когда человек отречется от первобытного заблуждения, что Земля вместе с ним самим есть центр Вселенной, и признает, что дух – всего лишь обусловленная необходимой потребностью целесообразная функция материи, когда человек перестанет считать свою жизнь чем-то необычайным и согласится, что она всего лишь физико-химический и биологический процесс – что, по существу, так и есть, – только тогда человек станет истинно человеком, а не жалким полуживотным, одержимым верой в демонов. Это очеловечивание приведет к всеобщей терпимости, к верховенству разума и к полному отмиранию всех темных и страшных инстинктов. Посему лурдская афера есть несомненное зло, которое нельзя недооценивать, ведь она, забрасывая дорогу допотопным мусором, пытается преградить человечеству ясный путь к освобождению от бедности, предрассудков и невежества здесь, на Земле. Так открыто газеты, конечно, писать не решаются – ни «Сьекль», ни «Пти републик», ведь церковные власти еще сильны, и нельзя рисковать быть обвиненным в богохульстве. А вот маленький «Лаведан» в последнем номере помещает насмешливую статью об источнике, инспирированную, как говорят, мэром Лакаде. В ней проводится мысль, что в Лурде и его окрестностях полным-полно минеральных и целебных источников и не требуется никакой прекрасной дамы, чтобы их найти и обратить на пользу людям.

Но, наряду с Францией этих воинственных передовиц, существует и другая Франция. Это даже не Франция верующих масс и клерикальной аристократии, это страна восторженных и склонных к потрясению душ, преимущественно страна женщин. Затаив дыхание, они жадно ждут ежедневных вестей из Лурда. История о девочке-пастушке и Даме, чисто французская история, радостно будоражит их сердца. Бернадетта находит в рядах этих людей защитников, которые тоже пишут в газетах. Борьба набирает силу. «Видения в Лурде» становятся аферой национального масштаба.

Афера национального масштаба! Именно так! Императорское правительство ожидало нападения с любой стороны, только не со стороны Небес. Пусть бы социалисты, якобинцы, масоны, роялисты, сторонники Орлеанской династии напали на него из засады, придравшись к какому-нибудь политическому процессу или факту коррупции, их легко было бы утихомирить обычными средствами. Но на совете министров узкого состава, где уже вторично на повестке дня стоит вопрос о пресловутых «лурдских видениях», господа министры отделиваются все той же шуткой, которую впервые две недели назад произнес мэр Лакаде: «Нельзя же от нас требовать, чтобы мы посадили в кутузку Пресвятую Деву».

Между тем императорская канцелярия затребовала срочный доклад от Министерства по делам культов. Господин Руллан подает подробный доклад и заключает его коварной просьбой о высочайшем волеизъявлении. Однако сверху спускается только указание в общей форме: как можно быстрее положить конец видениям в Массабьеле и всем вытекающим отсюда неприятным последствиям! Каким образом это сделать, императорская канцелярия знает так же мало, как и все прочие инстанции. Канцелярия даже несколько смягчает категоричность своего указания отчетливо выраженным пожеланием всячески избегать жестких мер и считаться с религиозными чувствами народа Пиренеев. Министр Руллан не может удержаться от ехидной улыбки, безошибочно узнав в пышном документе двусмысленную манеру своего господина и повелителя, маленького Наполеона. Теперь пресса может бесноваться, сколько пожелает. Он практически прикрыт. Таким образом, все государственные авторитеты, начиная от императора и кончая комиссаром полиции Жакоме, объединены одним чувством, мешающим им действовать решительно, и это чувство – растерянность.

Руллан спешит осчастливить префекта департамента Высокие Пиренеи барона Масси двусмысленным волеизъявлением императора. О бароне Масси свет не может сказать ничего иного, кроме того, что это человек в высшей степени корректный. Барон всегда носит корректный фрак и даже на службе появляется в лаковых ботинках и лайковых перчатках. Его высокий стоячий воротничок с острыми углами более чем корректен. Барон – потомок одного из наиболее корректных семейств Франции, и он самым корректным образом имеет все мыслимые ордена и награды своего ранга, включая ватиканский орден Святого Григория. И вообще он выглядит воплощенной формулировкой из заграничного паспорта: «Особых примет не имеется». Департамент, в котором служит барон Масси, почему-то считается в тайной науке французской администрации прекрасным трамплином для прыжка в префектуру департамента Сены – того самого, который включает в себя Париж. Из Тарба ведет прямой путь к высочайшим должностям Франции. Барон знает, что для него поставлено на карту. Если ему не удастся разрешить вопрос с лурдской аферой к удовольствию начальства и к удовлетворению других сторон, тогда прощай Париж и вся его дальнейшая карьера.

Едва пробежав глазами длинную депешу министра, барон вызывает экипаж. Путь от здания префектуры до епископского дворца недалек, но префект из принципа не желает представлять перед своими подданными в роли пешехода. Собственно, отношения барона Масси с епископом Тарбским нельзя назвать натянутыми, но вполне можно назвать холодными. Его милость монсеньор Бертран Север Лоранс точно знает, сколько пробили часы, и не без удовольствия заставляет его превосходительство четверть часика подождать. Монсеньор, так докладывают барону, уединился в своей личной епископской молельне. Епископа Тарбского при всем

желании нельзя назвать корректным господином, происходящим из корректной семьи. Совсем наоборот! Епископ – типичный плебей, пролетарий, выбившийся из низов, сын дорожного рабочего из Беарна. Его враги даже болтают, что к пятнадцати годам его милость едва умел читать и писать. Затем, правда, этот невежественный, но одаренный юноша с невероятным желанием пробиться, свойственным всем выходцам из низов, успешно прошел курс семинарии в Эре и с отличием по всем предметам окончил университет. Барон Масси скрежещет зубами от возмущения, что его заставляют ждать. «Старый подлый лис», – думает он о епископе и пугается, заметив, что слишком сильно сдвинул коленями свой цилиндр. Когда затем перед ним предстает высокая мужиковатая фигура монсеньора, он тем не менее кланяется и даже пытается обозначить поцелуй в перстень, что епископ кротким жестом отклоняет.

– Ваше преосвященство, – обращается к нему барон, – я вынужден просить вас о помощи. События в Лурде перерастают в бунт. Вы один можете предотвратить включение с нашей стороны других регистров...

Углы губ епископа от природы опущены вниз, отчего его лицо редко теряет саркастически-гордое выражение.

– Что же, включите другие регистры, ваше превосходительство, – сочувственно вздыхает он. – Это было бы только желательно...

– Я защищаю честь и святость религии, монсеньор, которая находится под угрозой из-за этой недостойной комедии.

Епископ поднимает густые седые брови:

– Духовенство лурдского кантона получило от своего декана строгий запрет участвовать в этой недостойной комедии, как вы изволили выразиться...

– Этого недостаточно, монсеньор. Вы должны сами запретить эту комедию. Вы должны помешать тому, чтобы эти так называемые явления делали смешной в глазах верующих и неверующих саму веру.

Бертран Север откидывается назад в своем кресле, его грубая рабочая рука опирается на посох из слоновой кости.

– А если в этих явлениях все же скрывается сверхъестественная сущность? – медленно спрашивает он.

Корректному барону Масси вдруг становится тесен его крахмальный воротничок.

– Сверхъестественная сущность? Но кто может это определить?

– Единственная инстанция, наделенная таким правом, ваше превосходительство, – слегка улыбается епископ, – Святая церковь.

Префект решает немного ослабить узел на галстуке.

– Ваше преосвященство, у меня сложилось впечатление, что вы все же не верите в сверхъестественную сущность и осуждаете этот фарс наравне с нами.

– Быть может, быть может, любезный барон, – улыбается монсеньор, и его улыбка вновь становится непроницаемой. – Но согласитесь, епископ – последняя инстанция, которая встанет на пути возможного чуда. А чудо, то есть проявление сверхъестественного, не исключено никогда и нигде, даже в моей скромной епархии. И моя задача в этом случае – быть прежде всего осмотрительным и сдержанным. От вас же, ваше превосходительство, мы, напротив, ожидаем решительных действий, как всегда...

И в знак прощания священник низко склоняет седую голову перед светской властью.

Вернувшись несолоно хлебавши к себе в кабинет, барон Масси тут же диктует циркулярное письмо, направляемое одновременно супрефекту, комиссару полиции в Лурде, тамошнему прокурору и мэру. Барон требует продолжать усиленное наблюдение за семьей Субиру, в особенности обращая внимание на возможные факты денежных подарков. Проступком, влекущим за собой арест, может быть признана, кроме факта подарков, незаконная продажа святых предметов (а также благословение четок за деньги или иное вознаграждение). Буде такие факты

станут известны, следует незамедлительно взять под арест всю семью. В конце письма барон отдает еще специальное распоряжение, чтобы жандармы, стоящие на посту у грота, появлялись там в полном вооружении и обязательно в перчатках. Эти перчатки (из желтой замши, согласно предписанию о жандармской форме) возникают в корректном мозгу барона лишь потому, что он хочет доказать невидимой Даме, что он сам, а в его лице государственная власть, отныне шутить не будет.

Наступил март. «Еще четыре раза, – думает Бернадетта, – и пятнадцать дней пройдут, наступит последний четверг, и больше она не придет. Неужели она больше не придет? Ведь она же не сказала, что после пятнадцати дней больше не придет». На этом настаивает тетя Бернарда, но ведь тетя Бернарда – сильная личность, а сильные личности обычно не ждут от жизни ничего хорошего. В отличие от супругов Субиру, тетя Бернарда всегда все видит в мрачном свете и питает какую-то особую любовь к неприятностям. Бернадетта разрывается между нескончаемым страхом и нескончаемой надеждой. Разве исключено, что Дама будет хранить ей верность всю жизнь? Разве Дама не может постепенно стареть вместе с ней, Бернадеттой, ежедневно появляясь в Массабьеле? Люди постепенно к этому привыкнут, перестанут приходить и глазеть на их встречи. Бернадетта весь день будет работать, как остальные. Месье Филипп уже очень стар. Может быть, мадам Милле возьмет ее к себе в служанки. Впрочем, она не боится никакой работы. Если Дама будет приходить к ней каждое утро, Бернадетта готова даже стирать отвратительное грязное белье, а это для нее самая неприятная из всех работ. Всеми силами она цепляется за радостное предположение, что ее общение с Любимой будет длиться столько же, сколько будет длиться ее жизнь. Другое предположение, что уже в следующий четверг все будет кончено, настолько неестественно и ужасно, что она не может его допустить. Разве в состоянии она будет жить дальше без ежедневного дара любви? Перед этими тревожными вопросами в сознании девочки бледнеет и отходит на задний план даже ее чудесное деяние – пробуждение источника. Бернадетта хотела бы остановить и удержать навечно каждый час из дарованных ей дней. Утром в Гроте ее сердце каждый раз беззвучно молит:

– Пожалуйста, мадам, побудьте сегодня подольше!

В ответ на эту мольбу Дама каждый раз приветливо улыбается и кивает. Но желания девочки она никогда в полной мере не выполняет, так как ее пребывание никогда не продолжается более трех четвертей часа, самое большее час. Вероятно, Дама точно знает, чего можно требовать от физических сил девочки, а чего нельзя. Если для самой Дарующей Счастье, по мнению Бернадетты, вызывать экстаз утомительно и сопряжено с большой тратой сил, то насколько утомительней для Бернадетты переносить состояние экстаза.

Обязательный ритуал в Гроте несколько расширен. Теперь Дама ежедневно в начале явления требует от Бернадетты, чтобы та ела траву, пила воду из источника и мыла в нем лицо и руки. Странно, что люди, которые во время последнего видения постепенно приучились подражать жестам юной ясновидицы, повторять вырывающиеся у нее слова, пока еще не спешат воспользоваться новым, все более бурно струящимся источником. Хотя история исцеления Бурьета обошла весь Лурд, по-настоящему никто в нее не верит. Бурьет всегда говорил о себе как о слепом, хотя совсем слепым не был и по-своему хитро и жадно смотрел на мир. Бурьет – сомнительный тип, не очень подходящий объект чудесного исцеления. Поэтому появление источника воспринимают не иначе, как остроумный ответ Дамы на требование декана сотворить «чудо розы». Дама – не церковный служака, чтобы в точности исполнять приказ священника. Она следует собственным фантазиям. Выдумка холерического буяна ей не указ. Вот как, ты требуешь от меня, чтобы роза расцвела в феврале в качестве доказательства моей силы? Погоди, дружок! Розы не расцветут, на такие мелочи я не размениваюсь. Зато я сотворю нечто, о чем ни ты, ни другие вовсе не помышляют. Поймите же наконец, я вам не ровня! Поэтому источник воспринимается всеми как убедительная победа живой Дамы над косным и враждебным духовенством. Практической пользы в источнике никто, кроме Бурьета, не видит. А

тот уже несколько дней не раскрывает рта и промывает свой глаз скрытно от всех, так как ему кажется, что если и другие будут пользоваться источником, то сила его, пожалуй, ослабнет.

Тысячи зрителей каждое утро видят одно и то же: как Бернадетта в начале своего отрешенного состояния по приказу Дамы моет в источнике лицо и руки и пьет из ладоней воду. Всем этим действиям приписывают исключительно ритуальное и мистическое значение. Так, считают люди, Бернадетта особым образом причащается Даме. Никому не приходит в голову, что Дама, открывая источник, могла преследовать определенную, в высшей степени соответствующую назначению источника цель. Никто не понимает, что Дама лишь затем ежедневно повторяет свой приказ Бернадетте, чтобы на примере девочки показать им, что надо делать, и направить их на верный путь. Только Бернадетта, Видящая и Любящая, уже достаточно познала Даму, чтобы понять, что Обожаемая не всегда может выражать свою волю прямо. Так же как она никогда не называет имена, она не может открыто сказать: «Сделай то или иное, чтобы произошло то или это!» Какая-то придворная королевская стыдливость заставляет ее избирать загадочные окольные пути. А для самой Бернадетты важен не окружающий мир, но единственно Дама, до других ей нет никакого дела. Поэтому девочка тоже не ломает себе голову над смыслом и целью источника. Она являет собой послушание в чистом виде, не задающее вопросов.

Однако и Бернадетте не чужды некоторые маленькие хитрости. Это невинные уловки любви, к которым она прибегает время от времени, чтобы испытать Даму. Молитвы, отсчитываемые по четкам, – самая приятная, самая обворожительная часть ее общения с Дамой. Это взаимное проникновение, ясная, спокойная поглощенность друг другом, когда Бернадетта бормочет свои «Богородицы» и по окончании очередной молитвы передвигает черные бусины дешевеньких четок, а Дама, не разжимая губ и не отводя глаз, зорко следит за ее движениями и в свою очередь пропускает между пальцами очередную сверкающую жемчужину. Это больше чем совместная молитва – это упоительная форма любовного соприкосновения вполне в духе этой любви. Будто каждый из партнеров держит в руке конец одного и того же невидимого жезла, и эта связующая материальная субстанция позволяет ощутить с обеих сторон жаркий ток крови и страстный духовный порыв друг к другу. Все, чего касается Бернадетта, направляемая Дамой, обретает новое, непредсказуемое значение, как будто прежде на земле ничего подобного не было, даже если речь идет всего лишь о стареньких четках Бернадетты.

Накануне вечером произошло следующее: в кашо явилась Пере вместе с одной из своих молодых помощниц. Девушку зовут Полин Сан, и она всего на два года старше Бернадетты. (Кривобокая Пере уже не подмигивает и не глядит заносчиво, а держится смущенно и работлепно.) Портниха всячески расхваливает Полин, рекомендуя ее как свою лучшую работницу и хорошую подругу. Не может ли Бернадетта выполнить заветное желание девушки? Полин Сан густо краснеет и объясняет Бернадетте, что ей хотелось бы обменяться с ней четками. Для нее нет большей награды, чем молиться по четкам, на которых покоился взгляд Дамы. Самое лучшее, чем она владеет, – это ее четки, унаследованные от матери, они сделаны из настоящих крупных темно-красных кораллов. Каким бы блестящим ни казался этот обмен, Бернадетта в первую минуту резко и решительно отказывается. Но позже она глубоко задумывается и решает иначе, объясняя, что завтра воспользуется четками Полин, но пусть та все время находится рядом. На следующее утро, после первых приветствий, после неизменного питья и умывания в источнике, Бернадетта становится на колени на большой плоский камень напротив ниши и медленно, колеблясь и в то же время стараясь не привлечь ничьего внимания, вынимает из сумки роскошные коралловые четки. Сердце у нее бешено стучит от волнения. Теперь она узнает, насколько дорожит ею Дама. Черные дешевенькие четки Бернадетты – единственный материальный предмет, связующий ее с Любимой. Поэтому даже когда Бернадетта ложится спать, она всегда кладет четки под подушку. Девочка сама страшится своей

неслыханной дерзости, расставляя Даме эту ловушку: «Если она ничего не заметит, значит я ей безразлична; если заметит, значит она меня любит».

Затем она почти сразу же падает духом, ибо ее натуре свойственно вечно сомневаться в том, что ее любят. Она уже не осмеливается устроить такую серьезную проверку. Она хочет немножко подыграть счастью. Поэтому нарочно вертит в руках коралловые четки и всячески выставляет их напоказ, чтобы Дама не могла их не заметить. Дама медлит, эта игра привлекает ее внимание, она опускает свои четки, и чуть заметная тень огорчения, которую Бернадетта уже хорошо знает, ложится на ее лицо. Ее губы произносят:

– Но это не ваши четки...

Из дрожащего сердца Бернадетты вырывается стон:

– Нет, мадам, не мои. Мадемуазель Сан попросила меня обменять мои старые четки на ее, такие красивые. Я подумала, может быть, эти будут вам приятнее...

Дама делает обиженный шагжок назад и спрашивает:

– Где же ваши?

Бернадетта мгновенно оборачивается к Полин, стоящей на коленях позади нее, и буквально вырывает у нее из рук свои старые четки. Она торжествующе поднимает их высоко над головой. Люди не понимают ее жеста, но восторженно его копируют. По рядам пробегает волнение: «Дама благословляет наши четки».

Но то, что для столь многих является священным ритуалом, для Бернадетты – священная действительность. Ее тело и душу сотрясает дрожь: «Она меня любит».

Глава двадцать третья

Луидор и пощечина

Прокурор Виталь Дютур усердно массирует свою пергаментную лысину. Предложение Жакоме ему решительно не по вкусу. Типичное порождение полицейского мозга. Странно, вообще-то, этот Жакоме казался ему немного простоватым, но добродушным и честным парнем. До сих пор он исполнял свою службу к полному удовлетворению вышестоящих инстанций, поскольку умел одновременно внушать людям как страх, так и любовь. Семейная жизнь Жакоме является образцовой. Его дочь, мадемуазель Жакоме, слывет добрым ангелом. День за днем она неустанно вяжет теплые фуфаячки и шарфики, а затем сама раздает их на улице беднякам. Жану Мари и Жюстену Субиру, как «самым бедным детям Лурда», не раз перепадало от щедрот этой сострадательной души. Правда, аббат Помьян утверждает, что барышня Жакоме употребляет для вязки настоящую «полицейскую шерсть», а такая шерсть, дескать, не столько греет, сколько царапает. Но ведь злоречие Помьяна известно всем. Ради острого словца он всегда готов поступиться своей пасторской кротостью. Мари Доминик Перамаль, сам далеко не кроткий агнец, не раз выговаривал Помьяну за его остроты. «Прошли те времена, любезный, – обычно говорит Перамаль, – когда наш брат священник мог себе позволить острословить и прихлебательствовать в модных салонах». Итак, Дютур считает Жакоме ограниченным, но порядочным. Однако последняя выдумка комиссара весьма далека от того, что можно назвать порядочным. Она подтверждает старое наблюдение Дютура, что образ мыслей полицейских недалеко ушел от образа мыслей преступников. Полицейские и преступники в известном смысле представители одной и той же профессии. А провокатор, или так называемая «подсадная утка», находится где-то посередине и тем самым уравнивает оба полюса этой профессии. И вот новая идея Жакоме как раз и заключается в том, чтобы использовать «подсадную утку».

Какую мысль настойчиво проводит префект из Тарба в последнем письме? Мысль о том, что было бы желательно выявить факты, что члены семейства Субиру пользуются легковерием своих сограждан и извлекают из «явлений» ощутимую денежную выгоду. Ибо ни о чем люди

не судят так беспощадно, как о том, что не прочь были бы сделать сами, а именно: поживиться за счет наивности своих сограждан. Разве реклама во всем мире не основана именно на этом принципе? Если бы можно было уличить супругов Субиру в том, что «явления» в Гроде приносят им реальный доход, тогда Лурд и Франция одним ударом освободились бы от этого бедствия. Чтобы понять это, Дютуру не требовалось подсказки барона Масси. Но ему не так-то легко решиться на грубое средство, предложенное Жакоме. Конечно, на следующий четверг пророчат великие события, окончательную победу Бернадетты и Дамы над государством. Так что удар должен быть нанесен непременно до этого четверга, и для этой цели у них осталось, к сожалению, всего два дня.

Виталь Дютур хочет использовать еще один, последний шанс, прежде чем предоставить полную свободу действий комиссару полиции. Как ему доносят, последний раз Бернадетта благословила четки всех присутствующих. Правда, она сразу же, со свойственной ей уклончивостью, придумала отговорку: Дама, дескать, потребовала от нее, чтобы она использовала свои старые четки, и она только подняла их вверх и показала Даме. Ничего! Это всего лишь отговорка, а факт благословения четок мирянкой можно, с согласия духовенства, расценить как незаконное посягательство на прерогативы Церкви. К этому следует присовокупить тот факт, что на средства мадам Милле в Гроде сооружено нечто вроде алтаря, на котором установлено распятие, несколько изображений Мадонны и большое количество свечей. Как известно, конкордат, подписанный императором и папой, запрещает сооружение новых объектов поклонения без санкции Министерства культов.

Прокурор делает то же, что раньше сделал префект: обращается за содействием к Церкви. Но декан Перамаль так же не терпит прокурора, как епископ – барона. Прокурор растолковывает декану: масштабы этой истории настолько разрослись, что акция протеста со стороны Церкви стала не только желательна, но и крайне необходима. Благословение четок, возведение алтарей не посвященными и не уполномоченными на то мирянами – все это серьезные преступления, направленные как против духовной, так и против светской власти. Перамаль беседует с Дютуром, едва оправившимся от тяжелого гриппа, в своей ледяной приемной зале. У Дютура тотчас начинают мерзнуть ноги и возникает страх перед рецидивом болезни. Но грубый чурбан Перамаль не догадывается предложить даже рюмку водки. Настроение Дютура заметно портится. Он знает точно, что Перамаль столь же мало расположен к малышке Субиру, как он сам или мэр Лакаде. Знает также, что тщеславный декан рассматривает его посещение как акт самоуничтожения и все же не делает ни шага навстречу прокурору. Прокурор ошибается только в мотивах его поведения. Дело в том, что Перамаль остался верен своей юношеской склонности: в борьбе между разбойниками и их преследователями всегда становиться на сторону разбойников. Он по горло сыт шумихой вокруг осточертевшей ему Дамы и по-прежнему считает Бернадетту обманщицей и аферисткой. (Однако что-то в нем все же дрогнуло, он сам не знает почему, когда во время утренней мессы двадцать восьмого февраля он наткнулся на следующие слова пророка: «И вот, из-под порога храма течет вода... и вода текла из-под правого бока храма... и куда войдет этот поток, все будет живо там».) Но если суд и полиция требуют, чтобы он таскал им каштаны из огня, это уж слишком! Он поднимает свое изборожденное морщинами лицо исследователя и безжалостным взглядом рассматривает прокурора, приподнявшего коленки, чтобы не касаться ступнями каменного пола.

– Милостивый государь, – говорит ему Перамаль, – что касается посягательства на прерогативы Церкви, то тут вы сильно ошибаетесь. Деревянный столик, на который поставили свечи и несколько картинок, – это всего лишь деревянный столик и никакой не алтарь. Возведение алтаря требует вполне определенных предпосылок. А поставить деревянный стол со свечками, крестами, цветами, не знаю, с чем еще, имеет право каждый, дома или на свежем воздухе, где пожелает, конечно, если власти не имеют против этого обоснованных претензий.

Мэрия или прокуратура могут убрать стол из Грота. Я не могу вам в этом помочь, как не могу помочь наводить порядок в доме мадам Милле...

Эти недвусмысленные слова декана окончательно побуждают прокурора согласиться на план Жакоме.

Во вторник около одиннадцати утра в кашо появляется новый гость. Он явно не из местных. На нем шерстяной костюм в крупную клетку, на плечи наброшен шотландский плед, в руках зонтик, на голове серый цилиндр, словом – типичный путешественник-англичанин, какие дюжинами приезжают летом на воды в Котре или Гаварни. Прибытие этого клетчатого в Лурд не прошло незамеченным. Дело в том, что кучер почтовой кареты Дутрелу, который привез его из Тарба, немало подивился, что такой богач, с тремя бриллиантовыми перстнями, трясется в почтовой карете вместе с бедняками, вместо того чтобы нанять экипаж, не говоря уже о собственном выезде с четверкой породистых лошадей. Дутрелу не привык держать язык за зубами и выражает свое удивление, на что получает ответ, что Лурд теперь место паломничества, а паломнику полагается путешествовать скромно, без породистых лошадей и блестящей упряжи. При слове «паломничество» Дутрелу даже присвистнул и подумал: «Субиру следовало бы отлупить свою Бернадетту, чтобы она не доставляла ему таких святых хлопот».

Приезжий с бриллиантовыми перстнями застает в кашо только Луизу и Франсуа Субиру, последний опять велел известить Казенава, что он болен. Мария находится в школе, а Бернадетте поручено найти и привести домой братьев, чья жажда свободы стала поистине безграничной. Уже не однажды в дом Субиру забредали любопытные путешественники. Что удивительного, если их фамилию ежедневно «перемалывают» все газеты, как выражается бывший мельник. Приезжие глядят на родительский дом ясновидицы иногда сочувственно, иногда удивленно. Они ходят по кашо, все осматривают, относятся к нему не как к помещению, где живут люди, но как к музею, где обстановка ужасающей бедности заботливо сохраняется для будущих поколений. Как в присутствии детей люди часто говорят много лишнего, так и эти посетители не могут удержаться от обидных замечаний о жилище Субиру, что заставляет гордого Франсуа страдать и давать вымышленные объяснения: дескать, они живут здесь временно и скоро переедут на одну из мельниц в верховьях Лапака. Время от времени какой-нибудь посетитель сует в руку отцу или матери Субиру монетку. Они берут ее без особых церемоний. Кто может их за это упрекнуть, ведь они тратят собственное время, поневоле выставя напоказ свою бедность перед этими праздными людьми. Приезжий в клетчатом костюме кажется настойчивее, хотя и обходительнее других посетителей. Он не критикует кашо с высоты своего богатства, напротив, хвалит за чистоту и порядок, чем сразу завоевывает доверие мадам Субиру. Его бойкие глазки шарят вокруг и одобрительно заглядывают во все кастрюли. Ни Луиза, ни Франсуа почему-то не удивляются, что этот миллионер запросто говорит на пиренейском диалекте, да еще в самой грубой простонародной манере. Это обстоятельство, наоборот, увеличивает их симпатии к незнакомцу. Во время разговора знатный иностранец вытаскивает дорожную флягу, в которой сверкает выдержанный янтарно-золотой коньяк. Франсуа, которому тут же наливают рюмочку, способен по достоинству оценить этот благородный напиток. Наконец приезжий заговаривает о своем деле.

– Выслушайте меня, добрые люди, – начинает он. – Я приехал из Биаррица, где у меня собственный дом рядом с императорской виллой. Моей дочурке столько же годочков, сколько и вашей, осенью Жинетте минуло пятнадцать. Это доброе дитя, только всегда грустное, она больна, у нее слабая грудь, и есть у нее одно-единственное желание – получить четки вашей маленькой ясновидицы, о которой мы так много слышим. Для этого мне не жаль никаких денег...

– Бернадетта не отдаст своих четок, – резко прерывает его матушка Субиру.

– Тогда пусть она благословит четки моей дочурки, я привез их с собой...

Франсуа отодвигает подальше соблазнительный напиток.

– Вы благородный господин, месье, – говорит он, – и знаете свет куда лучше, чем я. Но я знаю одно: моя жена и я – обычные люди, и мои дети поэтому тоже могут быть только обычными людьми. Бернадетта видит свою Даму. Пусть так! Люди говорят о Даме то и это, но никто не знает, кто эта Дамы на самом деле. А в остальном моя Бернадетта – обычный ребенок. Она не священник, не носит рясу и не может ничего благословить...

– Не верьте ему, господин, – вмешивается Луиза. – Моя Бернадетта – не обычный ребенок. Уже когда я ее ждала, у меня были странные сны. Моя сестра Бернарда может подтвердить. И матушка Лагес из Бартреса всегда мне говорила: «Твоя малышка, милая Луиза, кажется глуповатой, но что таится в ее головке, не знает никто...»

Из грубого красного кулака миллионера, как по волшебству, выкатились на стол несколько золотых монет.

– Этого будет достаточно за благословение от вашей дочери?

Луиза и Франсуа смотрят на монеты расширенными от удивления глазами. Луидоры, наполеондоры, дукаты и прочие золотые монеты Субиру доводилось видеть очень редко. Две монетки по двадцать су для них уже целое богатство, символ благосостояния. Головокружительная куча золота на столе могла бы в один миг изменить их судьбу. Можно было бы найти приличную квартиру, думает Франсуа. Наверное, хватило бы даже на аренду мельницы. Мысли Луизы также приходят в полное смятение. У нее вырывается тяжелый вздох.

– Нет, Бернадетта никогда не благословит ваши четки...

– Моей дочке было бы достаточно, мадам, – продолжает соблазнитель, – если бы вы сами приложили четки к чему-нибудь, что носит на теле ваше дитя. За это я мог бы дать два луидора...

Луиза смотрит на Франсуа. Франсуа смотрит на Луизу. Внезапно Луиза вскакивает, выхватывает четки из рук этого странного просителя и сует их под подушку Бернадетты.

– Она всегда, когда здесь спит, кладет свои четки под подушку, – шепотом сообщает она. Приезжий с удовлетворением сует получившие благословение четки в карман.

– Я очень вам благодарен, мадам Субиру. Моя дочурка будет счастлива. Два луидора по сегодняшнему курсу составляют пятьдесят два серебряных франка сорок сантимов. Было бы хорошо, Субиру, если бы вы расписались на этом листочке, что получили деньги. Порядок есть порядок.

– Папа и мама, только не берите денег, пожалуйста! – отчаянным голосом кричит от дверей Бернадетта, услышавшая последнюю фразу. – Дамы рассердится... – Затем, чтобы загладить свой крик, она приседает перед незнакомцем и сообщает матери: – Мальчики сейчас будут здесь, мама.

Дальше происходит то, что Луиза мысленно называет «выходом на сцену Франсуа Субиру». К отцу семейства возвращается вся его внушительность, и он небрежным жестом подвигает крупноклетчатому субъекту золото, которое как бы после совершения сделки лежало посередине стола. Затем Франсуа поворачивается к Бернадетте.

– Я не имею к этому делу никакого отношения, – величественно заявляет он. – Просто сердце твоей матери поддалось минутной слабости. Ведь на несколько су, которые я зарабатываю на почтовой станции, ей приходится кормить так много ртов. А вас, сударь, благодарю за доброту, хотя принять эти деньги не могу...

– Сделка есть сделка, Субиру, – горячится незнакомец, выпадая из роли миллионера. – Я получил товар, вы забираете деньги...

– У нас здесь нет никакого товара, – поясняет отец семейства с учтивостью испанца.

– Если вам мало двух луидоров, возьмите пять, – кричит миллионер, чей план, кажется, окончательно провалился. – Я обязан это сделать ради моей дочери, а вы – ради вашей семьи.

Бернадетте становится тошно при взгляде на бычью шею незнакомца, красную, как у индюка, и испещренную шрамами и прыщами. Незнакомец наконец берет себя в руки и меняет тон.

– Но вы все же дали мне, что я просил, Субиру, – бормочет он, подмигивая. – Я не должен был действовать так открыто...

Эти слова уже не слышны в суматохе, воцарившейся в кашо, когда туда врываются два мальчика, затем приходит из школы Мария, заглядывают в дверь любопытные соседи, прослышавшие о визите «английского миллионера». Тот, ввиду отсутствия лучших перспектив, принимает решение. Согласно желанию его нанимателей, полная сумма или хотя бы часть суммы должна остаться в кашо. Поэтому незнакомец с сердечной благодарностью и рукопожатиями прощается с супругами Субиру, по-отцовски щиплет за щеку маленькую ясновидицу, берет свой плед, цилиндр и зонтик, намеренно оставляет на столе фляжку и удаляется. У самой двери стоит маленькая деревянная скамеечка, на которую матушка Субиру обычно кладет всякий хлам. С ловкостью опытного фокусника, у которого предметы мгновенно исчезают и появляются, клетчатый на ходу кладет на край скамеечки один из соблазнительных луидоров.

Никто не заметил фокуса, проделанного незнакомцем, за исключением семилетнего Жана Мари. Жан Мари олицетворяет в этой семье практическую хватку, каковую он недавно продемонстрировал, притащив матери для варки комочки воска от церковных свечей. Жан Мари не более склонен к воровству, чем весь остальной мир, когда представляется возможность совершить его безнаказанно. Заметив блестящий луидор, настоящую сорочью приманку, о ценности которой он не имеет ни малейшего представления, мальчик вовсе не хочет сохранить эту блестящую вещицу для себя. Но он инстинктивно чувствует, что с появлением Дамы его родными овладела какая-то странная лихость, нередко заставляющая их действовать вопреки собственной выгоде. Паренек сует луидор в карман, чтобы защитить его от опасного идеализма своего семейства. Завтра он с торжеством вручит его матери, когда останется с ней наедине и Бернадетта не сможет их видеть. Проходит несколько минут, и незнакомец с множеством извинений возвращается в кашо взять забытую на столе фляжку. Он навязывает хозяину еще одну прощальную рюмку. Быстрый взгляд на скамеечку убеждает его, что визит не был таким уж безрезультатным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.